

Карло Кремона



АВГУСТИН ИЗ ГИППОНА

РАЗУМ И ВЕРА



ДОЧЕРИ СВ. ПАВЛА

АВГУСТИН ИЗ ГИППОНА



Amedeo
Brogli

Карло Кремона

АВГУСТИН ИЗ ГИППОНА

РАЗУМ И ВЕРА

"Книжный мир экумены" © 2012



ДОЧЕРИ СВ. ПАВЛА

ДАР АВТОРА НАРОДУ РОССИИ

Перевод Леонида Харитонова

© 1986 - Carlo Cremona, «*Agostino di Ippona*»
Rusconi Libri s.r.l., viale Sarca 235, Milano (Italia)

© Для русского издания: 1995 Дочери св. Павла, Москва

ПРЕДИСЛОВИЕ

Вот уже шестнадцать веков личность Августина, одна из самых внутренне богатых и значительных в истории Церкви, освещает путь людям, захваченным его проникновенными писаниями, заворуженно следящим за его насыщенной и пылкой мыслью.

Но чередой совпадений и исторических дат привлекают сегодня наше внимание именно к жизни, биографии Августина — к перипетиям его земного бытия, в котором нашлось место для самых различных проявлений человеческого опыта и которое в своей высшей точке озарилось сиянием духа, преобразившем его в нового человека.

Это нашумевшее обращение произошло здесь, в Милане, в 386 году, так что со времени этого исторического события прошло ровно тысяча шестьсот лет. Но мы переживаем его как нечто очень близкое, ведь столько отголосков дают пищу для размышлений в наши дни и словно обступают нас: Августин в Милане, Августин и Амвросий, Августин и купель, полуразрушенная и наконец-то, после раскопок, представшая взорам и поклонению посетителей нашего Собора. Да и сам Собор, которому исполняется шестьсот лет: начало его строительства точно совпадает с тысячелетним юбилеем обращения Августина (1386 год).

Как обрадовался бы певец «града Божия», получи он возможность рассмотреть и соединить эти провиденциальные нити, из которых соткана человеческая история! Его присутствие во дни торжеств, посвященных шестисотлетию главного миланского храма будет ощущаться особенно явно, поскольку его обращение стало как бы тем камнем, который сам Господь положил, чрез служение Амвросия, в основание этой церкви.

Цель настоящей книги, появление которой приурочено к этим знаменательным датам, — предложить современному читателю, даже самому невнимательному, просто и очень увлекательно изложенное жизнеописание Августина, человека, мыслителя, епископа.

Перо и голос отца Карло Кремоны хорошо известны, благодаря его почти ежедневным выступлениям в печати и по радио. Поэтому

му повествование похоже на беседу между людьми, привыкшими общаться, и несет явный отпечаток восхищения человеком столь необыкновенным, который, при всей своей исключительности, пережил многое из того, что хорошо знакомо людям совершенно обычным, так что в тех или иных обстоятельствах жизни Августина каждый с легкостью может узнать самого себя и свои поступки.

Автор, так ярко и убедительно рассказывающий современникам о том, что происходит в наши дни, теперь, с тем же искусством, воскрешает события времен давно ушедших, прокладывая путь к их наиболее полному пониманию.

От всей души желаю, чтобы вдохновенный труд автора этой книги стал важным стимулом для нового осмысления произведений великого Учителя и вместе с тем побудил читателя к более внимательному рассмотрению его жизненного пути.

✠ *Кард. КАРЛО МАРИЯ МАРТИНИ,*
Архиепископ Миланский

Не отвергни, Господи, меня,
Твою жаждущую травинку!*

(Исповедь, XI, 23)

Поздно полюбил я Тебя,
Красота, такая древняя и
такая юная, поздно полюбил я Тебя... Ты позвал,
крикнул и прорвал глухоту мою; Ты сверкнул, засиял и
прогнал слепоту мою; Ты разлил благоухание Свое, я
вдохнул и задыхаюсь без Тебя. Я отведал Тебя и Тебя
алчу и жажду; Ты коснулся меня, и я загорелся о мире
Твоем... **

(Исповедь, X, 27, 38)

* Цит. по изд. Cremona C. Agostino d'Ippona p. 7 (*прим. перев.*).

** Здесь и далее, как правило, перевод «Исповеди» цитируется по изданию: Богословские труды, сб. 19 (*прим. перев.*).

НОЧЬ В ГИППОНЕ

Той ночью, 13 ноября 398 года, у мола Гиппона (теперь это алжирский город Аннаба), расположенного на северном побережье Африки, рыбацьи лодки толкались бортами, но больше это было похоже на поцелуи.

В своей комнате (мы в доме епископа, просторном жилище, обставленном по-монашески) монах лет сорока подливал масла в светильник. Роста он был не очень внушительного, и одеянье было ему, пожалуй, великовато. В эту самую ночь (приходящуюся на его день рождения) он хотел возобновить работу над рукописью, которая была ему очень дорога. Он привык писать по ночам. Одни свитки пергамента были аккуратно сложены в шкафу, другие — ждали своего часа на столе, новые и еще не разлинованные, отливающие слоновой костью.

Он пощупал лист и, расправляя ладонью, словно погладил его. Монах этот был писателем, и мыслил плодотворно: он быстро отбирал нужные идеи и тут же претворял их в слова. Он стремился передать то, что чувствует душа, не прибегая к бесполезным стилевым красотам. Порой фраза уподоблялась стреле, пущенной из лука («Люби и поступай, как знаешь»); короткий ряд раскаленных добела слов, искр, отлетающих от кузнечного горна и не успевающих остыть.

Обилие дел вынуждало его дорожить минутой. Он не мог позволить себе писать медленно, мучительно, начерно: это отнимало бы у него драгоценные часы. Но, заполняя страницу за страницей со смирением и усердием, он твердо сознавал, что трудится и для грядущих веков. Он писал, чтобы оживить в памяти события собственной жизни. Писал о вещах сокровенных, которых человек обычно стыдится; теперь он был другим человеком, и кроме того, давнего стыда, ему приходилось преодолевать иное чувство, — ложный стыд показаться нескромным. Пишущий о себе, даже если он взялся за перо, чтобы отречься от сделанного в прошлом, объявить себя «раскаявшимся» и испо-

ведовать перед всеми, что он изменил жизнь, может пасть жертвой самолюбования.

Книга, над которой работал этот монах, была настоящей исповедью. Он был убежден, что нельзя исповедоваться перед людьми, не исповедуясь вместе с тем перед Богом, или даже в первую очередь — перед Богом, чтобы засвидетельствовать читателям, что доверяемое им уже было предъявлено Богу, без обмана и предельно искренне, в истинном покаянии. Он извлекал из памяти поступки, быть может, известные, но, возможно, забытые людьми и, более того, выкапывал из тайников души не только поступки, но и намерения, которые могли оказаться более постыдными, чем поступки.

Перед нами — нечто вроде интимной биографии человека, который внезапно, несколько лет назад, стал весьма известен. Интерес к его персоне проявляли и люди из народа, любопытные и болтливые, среди которых он с некоторых пор жил и трудился.

Бесспорно, он был обаятельным человеком, этот монах, а теперь еще и пастырь. У таких людей появляются фанатичные поклонники, которые создают миф о своем кумире; другие испытывают смутное любопытство, тем более, что ходившие о нем слухи были так пикантны! В самом деле, об этом епископе говорили всякое (да, это не кто иной, как молодой епископ Гиппонский, знаменитый Августин, сын Моники), причем слухи злонамеренно распространяли его бывшие друзья, а ныне — противники, весьма многочисленные. Говорили, что те религиозные верования, с которыми он теперь яростно сражался и обличал, как «ересь», когда-то он же истово исповедовал и распространял, а потом взял и изменил им, перейдя из одной партии в другую, как настоящий перевертыш. Полноте, разве не был он убежденнейшим манихеем, пропагандистом секты, для которой завоевал стольких прозелитов? Верно, в секте он предпочитал оставаться среди «аудиторов», хотя иерархи уговаривали его войти в число «избранных». Но «аудиторам» дозволялось жить с женщиной, в то время как «избранные», во всяком случае, явно, себе этого позволить не могли; а этот Августин, теперешний епископ, прежде был такой страстный, что просто уснуть не мог без женщины...

Ходил еще такой слух, что лет в тридцать этот закоренелый бабник, устав от сожительницы, бросил ее и стал ухаживать за

девчонкой всего-то двенадцати лет, но очень богатой. Рассказывали, что он воспользовался помощью влиятельных друзей, чтобы сделать карьеру, но потом, добившись цели, он, как говорится, плюнул в колодезь; а еще мать довел: у нее разорвалось сердце.

Другие говорили, что он изумительный человек, и таких было большинство.

«И вот теперь он стал христианином! — говорил на углу площади какой-то человек, вокруг которого собрались любопытные. — И монахом! Да кто в это поверит?! Ну, он своего добился! Всё хотел сделать карьеру — и вот получил кафедру. По всему видно, попал в точку! Быть кафоликом* нынче модно, правительство покровительствует Церкви, все у них должны стать кафоликами, чуть ли не силой заставляют... Кафолик, потом тут же священник, а потом, в два счета, епископ: молниеносная карьера! В мирской жизни ему пришлось бы долго томиться... И, хотя он теперь такой фанатичный христианин, кто поручится, что он кончит свои дни епископом? Этот вполне способен опять превратиться в манихея... Чего же теперь ожидать нам от человека с таким честолубием? Следующего сюрприза? А может, мало ему быть епископом Гиппонским, и он метит в папы Римские?»

В основе многих слухов лежали неоспоримые факты, и Августин не собирался их отрицать. Писал он совсем не апологию! Наоборот, он даже преувеличивал значение собственных ошибок. Из мальчишеской шалости (когда он со своими юными товарищами обтряс не успевшие созреть груши с соседского дерева) он извлек целый психоаналитический трактат. Он сознавал, что только Бог, и никто иной вывел его на таинственные пути истины, как блудного сына. И вот он решил написать эту, такую необычную книгу (единственную в своем роде), чтобы исследовать изгибы собственной души, как хирург, который скальпелем исследует плоть, зараженную злым недугом; чтобы определить, что же в этих изгибах было от Бога. Он сам относился к себе строже, чем недруги, осуждавшие его. Он обладал той стро-

* Здесь и далее термины «кафолик», «кафолический» употребляются в значении «правверный христианин», принадлежащий «единой, соборной, апостольской Церкви»; во времена Августина христианами именовали себя и донатисты, и ариане, и пелагиане (прим. перев.).

гостью к себе, которая так способствует трезвой самооценке и помогает противостоять всем подвохам тщеславия.

Словно по внезапному вдохновению (он прервал работу над всеми другими сочинениями), он начал писать эти воспоминания год назад, в 397 году, и намеревался вскоре завершить их, написать в один присест: ведь так и создаются книги, идущие от сердца.

То, что о нем говорили, во многом соответствовало истине; более того, это была далеко не вся истина,— во всяком случае, так ему казалось теперь, когда он чувствовал отвращение ко всякой нравственной нечистоте. Но в основе всех его метаний, всех этих странствий от секты к секте, от философии к философии, лежал не расчет ума, а тоска по истине, подавленное страстное томление, которое однажды вырвалось наружу каким-то взрывом, бросившим его к Богу с неодолимой силой. Кто-то словно таинственно побуждал его пройти через самый различный опыт. Он не очень понимал, зачем это нужно, что порой доводило его до отчаяния. Только теперь он узнал, зачем. Таинственная тяга! Он не находил иного объяснения. Он вспоминал козочку, воспетую Вергилием, его любимым поэтом. Пастушок приманивал ее, помахивая пучком нежнейшей травы и приговаривая: «Всякий влеком своею таинственной страстью». Высшее вожделение влекло его. Вожделение или закон тяготения: словно камень, который должен упасть, словно пламя, вздымающееся до небес: «О, любовь, мой закон тяготения, влекущая меня, куда ей угодно!».

«Confessiones»!* — вот название для новой книги! Есть исповедание греха и есть исповедание хвалы. И грехи превращаются в крупички ладана в кадильнице, возженной, чтобы воздать хвалу Богу.

В детстве он жил в Тагасте, небольшом местечке, стремящемся обзавестись курией**. Затем, чтобы продолжить учебу, которая его чрезвычайно увлекала, он переселился в Мадауру, городок, располагавший средней школой, и наконец, оказался в Карфагене, единственном университетском городе в проконсульской Африке. Окончив курс, остался в Карфагене преподавателем. Но прославился он в Италии, в Риме и в Милане. Оттуда вернулся в Африку, где находился уже десять лет. На первых порах он нашел тихое пристанище в Тагасте, где жил полуотшельником. В

* «Исповедь» (лат.).

** Здесь — место заседаний высших органов в римских провинциях (прим. перев.).

Гиппоне его однажды поймали и не выпустили, пока не сделали священником, и вот теперь он был уже епископом. Тем временем его имя чаще и чаще звучало за пределами африканских провинций. Все, что молва приписывала ему, плохое и хорошее, подстегивало людское любопытство. Иные рассказы о человеке, которому следует целовать перстень и который в соборе носит епископскую митру, представлялись весьма пикантными. Острой приправой становилась растущая известность: кому не приятно перемыть косточки видному деятелю. И все разделялись на тех, кто его хвалил, и тех, кто критиковал. Хвалы было больше, чем хулы. При этом в Гиппоне, Карфагене и в других африканских городах, в которых жилал Августин, люди были те же, что и везде, будь они трижды язычники, еретики, схизматики, опровергатели основ христианства; и жили эти люди бок о бок с христианами, которые тоже не всегда отличались безупречным поведением. И вот, всех их объединяло любопытство, то восхищающееся, то сочувствующее, то осуждающее, то изображающее возмущение.

Если бы дело ограничивалось ответом на критику, «Исповедь» никогда не была бы написана. Августина хвалили, он ощущал свою популярность, восторженное отношение к себе: все это ставило под удар его глубочайшее смирение, и именно это (а не обыкновенная скромность) заставило его исповедоваться. Он не мог не сознавать свою исключительную одаренность, глубокую образованность, как экклезиологическую, так и светскую, устремленность к Богу, как христианина и епископа. А его обращение состояло вот в чем: он понял, что должен укоренить в Боге сердце, чтобы не умереть в отчаянии. Он мог бы даже принять хвалу за свою тогдашнюю жизнь, но только как нечто «переходящее», с тем условием, что вся хвала как бы перельется на Бога. Если и было в нем нечто исключительное, ни на одно мгновение хвала не должна была задерживаться на его особе. Он ощущал свою исключительность только в том смысле, что Бог действовал в его жизни исключительным образом. Из всего его богословствования, из непрестанной проповеди люди понимали следующее: Бог свободен, и это от Него исходит всякое доброе движение в человеке; вместе с тем, и человек совершенно свободен.

Великая проблема благодати была лейтмотивом всех полемических баталий, всех мистических прозрений Августина: *добро может исходить только от Бога*. Ты можешь быть умным, об-

разованным, святым, но все это не имеет значения. Значение имеет благодать, которая вначале появляется как искорка, но если ты разожжешь ее (а это тоже дается по благодати), она превращается в пожар, а ты обращаешься в пламя и не сгораешь. Как Моисеева неопалимая купина. Две свободы, несотворенная и сотворенная, подобны двум камешкам кремния, из которых, при сильном трении, высекается огонь любви.

С тех пор, как Августин был поставлен, словно свеча, на подсвечнике Африканской Церкви, он не обращал внимания на критику, и даже собирал ее со всех сторон, как причудливое проявление любви. Страдал он от другого: от того, что в глазах людей может стать мифом, героем без Бога. Не быть соблазном для народа, который любит его и наблюдает за ним с ревнивым интересом, именно потому, что сейчас он — их епископ, наделенный таким талантом и такой святостью, — будто колокольня, летящая над домами. Нужно было, чтобы в нем видели только дело Божие.

Итак, в ту ночь он устроился поудобнее на табуретке перед столом, очистил его от того небольшого, что на нем еще оставалось, долил светильник, чтобы он ярче освещал чистый лист пергамента и зажал между большим и указательным пальцем перо. Он уже окончил четыре книги «Исповеди» и начал пятую.

Ему предстояло продолжить повествование с того места, которое заставило его прерваться. Это было такое тяжелое воспоминание, что он не мог вновь пережить его без слез. Самое болезненное воспоминание из всей истории его отношений с матерью. И все же, именно с этой злополучной затее начался решительный поворот в его нравственном и религиозном перерождении. Теперь, когда Господь дал ему познать истину и мир, он видел: если бы не это жестокое тайное бегство сентябрьской ночью 383 года из Карфагена вроде бы в Рим, но на деле — в неизвестность, может быть, он не нашел бы спасения. План (безусловно, начертанный рукой Провидения) теперь казался ему ясным: Рим... Милан... Церковь, Христос, Бог... Теперь план этот виделся ему, как оконченная вышивка, на которую можно посмотреть уже с прямой, а не с изнаночной, путаной стороны. Поразительный план; за него стоило пострадать всей душой и ему, и матери. Но каково вспоминать этот насильственный разрыв, сознательный удар по чувству, соединявшему его с матерью, этот отъезд, совершенный тайком, чтобы обмануть неусыпную материнскую тревогу?

Несколько дней назад, записывая воспоминание об этом, он остановился: не справился с нахлынувшим волнением и прервал работу. Но всю эту неделю, сквозь водоворот дел, он постоянно слышал ободряющий голос: «Пиши, пиши! Ты должен скорее закончить эту вещь, надвигается столько других дел, трудных, одно запутанней другого. Мир рушится, пиши... Это будет самая твоя человеческая книга, самая читаемая, настоящее свидетельство, «Послание Богу», которое люди будут читать и которое никогда не исчезнет...». Может, это был голос матери, не оставляющей его? Ведь наступало 13 ноября, воскресенье. Именно в этот день сорок четыре года назад Моника родила его!

Епископский дом был погружен в мистическую тишину, как монастырь. Да он и был монастырем, по желанию епископа Августина, — монастырем священников.

Восхищаясь монашеской жизнью (Антоний пустынный сыграл свою роль в его обращении), Августин никогда не смог бы жить в одиночестве, в преосвященнейшем уединении, без друзей, на попечении старухи-экономки. Удивительно! Созерцатель по устремлениям и по натуре, беззаветно любящий книги (читать или писать в покое), человек, который по своей воле ни за что не взвалил бы на себя хлопоты священства и тем более, епископства, он не умел жить в одиночестве.

А в ту ночь он чувствовал, что сдвинуть исповедь с этого болезненного места ему помогает состояние благодати — таинственная тяга, мягко влекущая твою волю к воле Божьей.

Ночь. Тих дом-монастырь, тих весь Гиппон, умолкла трескотня портового люда, захлопнулись ворота амфитеатра.

Августин долго писал в эту ночь 13 ноября 398 года, воспоминания теснились в сердце. Сначала, когда он только приступил к рассказу, еще слышен был шум шагов в коридоре и скрип закрывающихся дверей. Наконец, он остался совершенно один — вспоминать перед всезнающим Богом о том горе, которое причинил матери.

В тиши африканской ночи лодки у мола толкались бортами, будто целуясь, а гусиное перо чертило буквы на пергаменте «Исповеди».

БЕСПОКОЙНЫЙ УМ

Августин добрался в собственном жизнеописании до того места, где он должен был поведать читателю обо всех перипетиях долгого странствия, предпринятого ради карьеры, вопреки воле матери, которую сильно тревожило его нравственное состояние.

«Мать моя горько плакала о моем отъезде и провожала меня до самого моря. Она крепко ухватила за меня, желая или вернуть обратно, или отправиться вместе со мной, но я обманул ее, сочинив, что хочу остаться вместе с приятелем, пока он не отплывет с поднявшимся ветром. Я солгал матери — и такой матери! С трудом убедил я ее провести эту ночь в часовне св. Киприана, поблизости от нашего корабля. Подул ветер и наполнил паруса наши, и в эту ночь я тайком отбыл, она же осталась, молясь и плача...» («Исповедь» V, 8, 15).

Он перестал писать, положил перо на стол; на левую ладонь оперся лбом, а правую поднес к сердцу, как будто хотел защитить его. Теперь на него самого с новой силой нахлынула боль, которую он доставил тогда матери.

Моника в тот далекий день все же поверила ему, потому что этот дерзковатый юноша спорить любил, но лгать обычно не лгал. Но на сей раз он все же обманул ее. Поддавшись его уговорам, она отправилась в часовню, где ее подстерег сон. На рассвете пробудилась и сразу же побежала на пристань. Корабля уже не было... Когда она спросила, где же он, ей ответили, что торговый давно на всех парусах поспешает в Италию. А сын? Вне всякого сомнения, предал ее. Гавань огласилась ее безумным криком. Она звала Бога, чуть ли не упрекая Его, бранила Августина за жестокость...

Ее отчаяние и смятение, наверно, смогут лучше других понять сегодняшние матери латиноамериканских *desaparecidos**, или матери наркоманов.

* Молодые люди, выступавшие против правящих тоталитарных режимов и пропавшие без вести (*прим. перев.*).

Потрясенная случившимся, она побрела домой. Город только просыпался. Первые редкие прохожие на улицах...

На корабле перед Августином все время стояла картина расставания, которую ему никогда не выбросить из памяти. Иначе разве мог бы он с такой точностью восстановить ее пятнадцать лет спустя, когда уже десять лет как матери его Моники не было в живых. Теперь он ясно видел все сразу: и отъезд, и ее смерть, и все, что пережил между этими событиями,— все слилось в одно воспоминание.

Но теперь уже мы, в свою очередь, должны на время оставить Августина на корабле, с его тяжкими мыслями, а Монику на берегу, с ее горем, чтобы вернуться назад и лучше познакомиться с ними, главными действующими лицами нашего повествования. Ведь рассказанный эпизод это итог многих важных событий, ему предшествовавших. Не следует забывать, что епископ Гиппонский уже довольно далеко продвинулся в своей «Исповеди», и в его предыдущих записях можно обнаружить предпосылки описанного происшествия. Конечно, мы застали его в драматический момент, но драма началась значительно раньше.

Мы хотим изучить одну из самых великих «личностей», человека, в жизни которого есть тайна, который и сам себя изучал. О человеке вообще он скажет: «Человек!.. Это бездна. Трудно исчислить волосы у него на голове, но движениям его сердца и вовсе нет числа». И чтобы, оказавшись в этой бездне, там не потеряться, мы должны пройти дорогами его эпохи, родины, дома, детства и отрочества. И поскольку в «Исповеди» этот путь проделал он сам, доверимся его руководству.

Моника родила Августина 13 ноября 354 года в Тагасте, муниципии проконсульской Африки, в цветущей провинции Римской империи.

И, быть может, начало драме было положено именно в Тагасте. Тогдашнее общество было религиозно неоднородным: христианство только набирало силу; языческий культ еще не сошел со сцены, но язычники поклонялись уже не столько богам, сколько великим писателям и философам. И если человека не интересовали вопросы культуры, это становилось для него оправданием несерьезного отношения и к новой религии, поддерживаемой государством. Моника, мать Августина, была ревностной

христианкой и выросла в кафолической семье. Отец, скромный муниципальный чиновник, был язычником по рождению; религия его просто не интересовала. Августин набрасывает его портрет, скупыми мазками выделяя в нем главное: перед нами муж, отец, гражданин. Звали его Патриций, но патрицием он не был, как, впрочем, и плебеем. Был он, скорее,— по своим личным устремлениям, размерам недвижимого имущества, семейному быту — мещанином.

В те времена браки между язычниками и христианами ни у кого не вызвали удивления. Больше, чем язычество, христианству вредили ереси, разрывавшие его изнутри. В Африке действовали манихеи и более воинственные донатисты; в других местах — ариане, да еще ариане из варваров, которые обратились, ничего не зная об этом учении, просто подчинившись своему королю.

Безразличие Патриция к религии проявлялось как вне дома, так и в его пределах. В семье он отдал все «религиозное» на откуп жене, и это нельзя даже назвать терпимостью. Ему просто не было никакого дела до всех этих религий. При этом он не был человеком непорядочным. Патриций уважал и, может быть, даже любил свою жену Монику, хотя и позволял себе известные вольности в отношениях с другими женщинами. Он был настолько темпераментным, что христианское терпение Моники порой подвергалось весьма серьезным испытаниям, но это не мешало ей оставаться любящей и достойной супругой. Она никогда не увещевала его во время «загулов», но пыталась воздействовать на него в тех ситуациях, в которых женщина имеет превосходство,— когда проявлялась их взаимная привязанность.

Моника была христианкой и шла по пути веры, стремясь обрести мир в душе. О том, что ей должно духовно расти, исправляясь и улучшая собственный характер, она узнала еще в детстве. В те времена, по свидетельству сына, ею владела настоящая страсть к вину, побуждавшая ее лакомиться им во все возрастающих количествах всякий раз, когда она спускалась в погреб вместе с верной служанкой, чтобы нацедить вина к столу. Но однажды маленькая Моника поссорилась со служанкой, и та, прежде такая сговорчивая и снисходительная, выкрикнула обидные и резкие слова: «Пьянчужка ты, и больше никто!», пригрозив рассказать обо всем родителям. Девочку это задело за жи-

вое, и с тех пор она рассталась с привычкой, которая могла бы со временем перерасти в настоящий порок.

Августин никогда не перестанет славить твердую добродетель своей матери, которая, судя по всему, сполна проявилась уже тогда, когда Моника была молодой женой и матерью. Это была умная, верующая женщина с характером. Она любила Бога, Христа, Церковь, и хотела передать эту любовь детям. Детей у нее было трое: Августин, Навигий и их сестра, имя которой до нас не дошло и которая, оставшись вдовой, последовала за братом в его стремлении к монашескому идеалу и стала настоятельницей женского монастыря в Гиппоне.

Цену веры Моника можно измерить страдальческой молитвой и твердым стремлением помочь обрести эту веру утратившему ее сыну. Она следовала за ним и преследовала его везде, не обольщаясь ни его успехами на профессиональном поприще, ни интеллектуальной мощью, пока он был далек от истинной веры; его обращение стало для нее великой радостью и наградой, ведь для этого она и жила многие годы... Сын свидетельствует перед Богом и людьми о ее вере, твердой, как алмаз: «Она вынашивала меня в душе своей с гораздо большей тревогой, чем когда-то носила в теле своем»; «она воспитывала сыновей своих, мучаясь, как при родах, всякий раз, когда видела, что они сбиваются с Твоего пути» («Исповедь» V, 9, 16; IX, 9, 22).

Ее страстное стремление всех привести к Богу одолело в конце концов даже Патриция, со всем его безразличием к религии и распущенностью: незадолго до смерти он принял крещение. «Наконец, приобрела она Тебе [Богу] своего мужа напоследок дней его; от него, христианина, она уже не плакала над тем, что терпела от него, нехристианина» («Исповедь» IX, 9, 22).

Как указывает сам Августин, в те годы, когда Моника только начинала понимать, что такое материнская ответственность, вера ее была по-человечески ограниченной. Например, она не крестила его в младенчестве, а только причислила к оглашенным, возможно, следуя корыстному обычаю многих христиан, которые полагали, что, если крестить детей в более позднем возрасте, купель очистит нравственные провинности отроческой поры. Но она не учла одной опасности: в жизни оглашенного часто бывает так, что без знака благодати эти нравственные провин-

ности просто нагромождаются друг на друга, а крещение оказывается окончательно отвергнутым.

Еще в детстве, серьезно заболев (у него была непроходимость кишечника), Августин сам умолял окрестить его; и уже было все готово для ритуала *in extremis**, когда кризис миновал. И крещение вновь отложили. Эту просьбу, такую непосредственную и настоятельную, исходящую от ребенка, неожиданно осознавшего проблему спасения, позднее Августин воспринимал, как нечто паразитическое. Рассказывая о другой тяжелой болезни, которую он пережил в двадцать девять лет, когда был далек от веры своей матери, епископ Гиппонский говорит: «Был я лучше мальчиком, когда требовал от благочестивой матери своей, чтобы она окрестила меня» («Исповедь» V, 9, 16). В своих расчетах по поводу жизни Августина Моника допустила и другую ошибку: она не направила в сторону брака естественное, но весьма бурное пробуждение чувственности в юном сыне. Перед лицом возможного появления невесток, не давая ему и помыслить о браке, Моника, с ее умом и невероятной привязанностью к сыну, повела себя, с обычной человеческой точки зрения, весьма прозорливо. Но она попала пальцем в небо. Может быть, и Моника, и Патриция ввели в заблуждение необычайные способности юноши, и они рассчитывали, что он так и будет повышать свой умственный и профессиональный уровень, не отвлекаясь на женщин. Впрочем, какой спрос с Патриция, для которого плотские радости, в браке ли или вне брака, всегда были лакомым кусочком. Наивной оказалась прежде всего Моника, которой захотелось (пусть даже в высшей степени благими средствами — верой и молитвой) сделать из своего пылкого Августина эдакого Луиджи Гонзага** *ante litteram****, воплощенную невинность в обрамлении высокой культуры. Добрый Господь, конечно, заставляет платить по счетам негодяев, но со святых спрашивает вдвойне. И думаю, что за эти немного тщеславные помыслы, уводящие в сторону, Моника заплатила Ему очень дорогую цену, хотя, конечно, результат получился грандиозный. На самом деле, как мне кажется, Августин упрекает мать не в том, что, когда ему было шестнадцать лет или

* Перед самой кончиной; в момент приближения смерти (*лат.*).

** Католический святой (1568—1591), считается покровителем юношества и олицетворением Чистоты и Невинности (*прим. перев.*).

*** Здесь: до его появления на свет (*лат.*).

чуть больше, она не устроила сыночку пышную свадьбу. Думаю, скорее, он имел в виду, что она должна была бы дать ему доброе воспитание, то, что в наши дни мы именуем «половым воспитанием молодежи», или же, возможно, незаметно руководить его дружбой с какой-нибудь хорошей девушкой. Но не рассуждать про себя: «Сначала закончи университет и получи хорошее место, а потом уж будешь думать о женщине...». Мысли о женщине, или о женщинах появились у Августина в положенное время вне зависимости от материнских планов, и блестящая учеба совершенно не отвлекала его от этих мыслей.

В любом случае у Моники не отнять одной несомненной заслуги: женщина, круг интересов которой ограничивался домом и глубокой христианской верой, смогла понять, насколько велико значение культуры.

С Патриция же спрос невелик. Он понятия не имел о проблематике целомудрия. Если и была на нем вина в том, что сын в юности предался плотским страстям, то он смыл ее, крестившись *in extremis* и умерев раньше срока. Но пока он был еще полон сил и мог гордиться умом и способностями сына, две вещи имели для него особое значение: чтобы Августин получал хорошее образование (на это Патриций не жалел средств, несмотря на свой скромный достаток), для чего он послал его из Тагаста в соседнюю Мадауру; и второе, чтобы Августин, обретая все новые знания, ощущал себя настоящим мужчиной, подобно своему отцу... И поскольку мальчик должен был вот-вот выйти из детской поры, перейдя границу созревания, Патриций пристально наблюдал за ним, подстерегая первые признаки мужественности. Однажды он повел сына в бани, взглянул на него, когда они мылись, и заметил, что маленький петушок уже хорохорится, так что не сегодня завтра закукарекает в курятнике. Вернувшись домой, он объявил жене: «Все, считай, мы с тобой уже дед и бабка!» И Моника вовсе не стала ему отвечать: «Патриций, что ты делаешь..., ты мне испортишь нашего мальчика!..» Язычник и христианка не перечили друг другу: оба они относились серьезно к развитию тела и сокрытых в нем сил. В общем, и этому доброму малому, человеку темпераментному и чувственному, который, как бы там ни было, любил свою семью, мы кое-чем обязаны в становлении Августина. И сын был ему за это благодарен: «Отец мой тратился на сына сверх своих средств, предо-

ставляя ему даже возможность далеко уехать ради учения. Очень многие, гораздо более состоятельные горожане, не делали для детей своих ничего подобного» («Исповедь» II, 3, 5).

Завтра этот маленький африканец станет знаменитым учителем риторики, великим епископом Церкви, а пока он только мальчуган школьного возраста.

Ни одно воспоминание о тех временах не пропало: они хранились в его памяти, как в архиве. Он вновь переживает, радуется, страдает, вспоминая свое ученье и то, как насаждали в школе дисциплину, и порицает эту дисциплину, в той форме, в какой ее навязывали ученикам. Перед нами предстает умный, живой мальчик, сочувственно вглядывающийся в жизнь людей и природы.

Заслуга его родителей в том, что они сразу распознали в нем необыкновенный ум, и поняли, что его необходимо развивать. О других своих детях они заботились не так, как об Августине, понимая, что у этого ребенка особые способности. Он был не из тех мальчиков, которые прилежны в учебе по обязанности. Он любил некоторые предметы, но не все в равной степени, а некоторые терпеть не мог. Ему доставляли удовольствие латинский язык и литература, а греческий он по-школярски ненавидел. Он ощущал художественные достоинства стихотворных сочинений, но по-другому судил об их нравственном и воспитательном содержании. Он учился и одновременно познавал искусство преподавания. Некоторые его произведения, как и все речения, обращенные к подросткам, взрослым, людям простым и образованным, свидетельствуют об его удивительном педагогическом даре.

Он знает, как важно, чтобы в жизни ребенка учеба перемежалась игрой, сколь значительна роль вымысла в вызревании фантазии, как существенно также дать представление о реальном, о точных науках (математике) и об абстрактном (геометрии). Он полагает, что долг воспитателя — поощрять ученика и что ложное понимание этого долга ведет к диктату и необоснованным наказаниям; он замечает, что страсть к учебе может сопровождаться у ребенка минутным или устойчивым нежеланием, учась, тяжело трудиться.

В книге I «Исповеди», в особенности, с двенадцатой по восемнадцатую главу, мы знакомимся с реакциями юного Августина, которые послужили взрослому Августину материалом для выработки суждения о школе тогдашней эпохи. Эти познания и

размышления вовсе не бесполезны для нас, сегодняшних. Ведь люди нашего времени возомнили о себе, что это они придумали школу, и мы потрясаем ее основы своими бесконечными, пешными и безрезультатными реформами.

Когда Августин блестяще закончил учебу в Мадауре, ему было шестнадцать лет. Конечно, по типу восприятия материала он был не столько типичным школьником, который из-под палки выучивает урок от корки до корки, сколько самоучкой, жадно поглощающим знания. Но школьная система необходима для того, чтобы вводить в берега даже самые острые умы. Впрочем, ему достаточно было взять в руки книгу, и она становилась для него всем — школой, учителем, учеником...

В двадцать лет он самостоятельно прочитал и усвоил «Категории» Аристотеля, весьма непростой философский труд.

Но полученное им в Мадауре образование было лишь чуть выше среднего... Теперь ему хотелось получить настоящее высшее образование.

Безусловно, порой ему бывало скучно в школе, но не из-за того, что притушился его интерес к учебе. Ему досаждало, что надо ждать, пока другие выучат то, что он уже знает!

Итак, высшее образование, а значит — университет. Но где его искать? Только в одном месте, в Карфагене, городе культуры... А деньги? Чем платить профессорам? На что жить самому? Оставалось только уповать на Провидение... Может быть, Романиан, богатый и щедрый Романиан, друг Патриция... Если бы этот человек оценил исключительные дарования юноши и понял, что, благодаря его щедрости, родной город, а возможно, и вся Африканская провинция обретут великолепного юриста, а сам он прославится, тогда, может быть, Романиан стал бы для Августина меценатом?

Апулей, автор книги «Метаморфозы» (которую не кто иной, как Августин, переименовал в «Золотого осла» из-за персонажа, подобно Пиноккио превращенного в осла, а потом обратно в человека), Апулей из Мадауры стал писателем-классиком, знаменитым во всем латинском мире. Если бы Романиан только захотел...

Но и на то, чтобы подготовить почву для поступления в университет, требовалось некоторое время. Так что в год 370 шестнадцатилетний, умный и развитый не по годам Августин,

который мог бы уже возглавлять кафедру, со своим детским лицом, усеянным прыщами и поросшим пушком, был «безработным» и пребывал в стадии ускоренного полового созревания. Это походило на стихийное бедствие. «Я пустился во все тяжкие», — пишет он.

Всей второй книге «Исповеди», состоящей из восьми глав, можно дать такое название: «Шестнадцатый год». Августин здесь строг к своим родителям: «Моя мать по плоти, уговаривавшая меня соблюдать чистоту, не позаботилась, однако, обуздать супружеской привязанностью мое возмужание. Она не позаботилась о моей женитьбе из боязни, как бы брачные колодки не помешали осуществиться надеждам на успехи в науках, изучить которые я должен был по горячему желанию и отца, и матери: отец хотел этого потому что о Тебе [о Боге] у него почти не было мыслей, а обо мне были пустые; мать же считала, что эти занятия в будущем не только не принесут мне вреда, но до некоторой степени и помогут найти Тебя» («Исповедь» II, 3, 8).

К себе самому он беспощаден. Среди прочего он пишет: «В шестнадцатилетнем возрасте моей плоти... надо мною подъяла скипетр свой целиком меня покорившая безумная похоть, людским неблагообразием дозволенная, законами Твоими неразрешенная» («Исповедь» II, 2,4). И записывает это прекрасное и печальное изречение: «За мглою похоти уже не различался ясный свет привязанности» («Исповедь» II, 2, 2).

Теперь уже не только Моника была серьезно встревожена, но и Патриций, принявший тем временем крещение, стал проявлять беспокойство. Один в семье остался мятежник — Августин!

Патриций заболел и умер, уже и не зная, чего желать для этого сына, гения, обуянного страстью. Умер он добрым христианином, благодаря Монике. Если бы он дожил до всех тех событий, которые прославили его семью, вполне вероятно, что мы узнали бы о Патриции-монахе в Тагасте или Патриции-пресвитере в Гиппоне. Да, то была особая семья: Господь не обделял ее Своею благодатью!

После смерти Патриция спорящих осталось двое: мать и сын. Борьба между ними шла без намека на ненависть, в этой борьбе господствовала трогательная взаимная любовь.

Моника заложила в его душу основу, краеугольный камень — глубинную религиозность, которую Августин до поры не

мог в себе распознать. В самом деле, оказавшись в Карфагене, он как-то по-своему молился: в качестве учебного пособия по красноречию ему попала книга Цицерона «Гортензий» (ныне утраченная), о которой он говорит так: «Эта вот книга изменила состояние мое, изменила *молитвы* мои и обратила их к Тебе, Господи...» («Исповедь» III, 4, 7).

«Гортензий» воспламенил сердце юного Августина: «... мой пыл ослабляло только одно: там не было имени Христа, а это имя... впитал я с молоком матери моей: оно глубоко запало в мое детское сердце...» («Исповедь» III, 4, 8). Вот так тот, кто отказывался от веры своей матери, рассчитывал найти ее у Цицерона.

И все же Моника, вдова сильная духом и смиренная, ревнительница веры, открытая ценностям культуры, не пожелала перечеркнуть устремления сына: она раздобыла ему средства для продолжения учебы. Как ей это удалось, если, когда был еще жив Патриций, и мальчика посылали учиться в Мадауру, семья испытывала материальные затруднения? Может быть, незаметно для постороннего взгляда, пришел на помощь Романиан?..

Так или иначе, нам известно, что в 373 году, в девятнадцать лет, Августин уже находится в Карфагене и учится в тамошнем университете «на материнские деньги» (ср. «Исповедь» III, 4, 7). Поначалу Моника не хотела с ним жить, не одобряя его поведение, но затем, по вдохновению свыше, она согласилась разделить с ним кров и трапезу.

Тем временем, в его жизни произошли два новых и значительных события: он примкнул к секте манихеев и встретил женщину. О манихеях он пишет так: «... постепенно и потихоньку меня довели до абсурдной веры, например, в то, что винная ягода, когда ее срывают, и дерево, с которого она сорвана, плачут слезами, похожими на молоко. Если какой-то «святой» съест эту винную ягоду, сорванную, конечно, не им самим, а чужой преступной рукой, и она смешается с его внутренностями, то он выдохнет из нее за молитвой, вздыхая и рыгая, ангелов, или вернее частички Божества: эти частички истинного и высшего Божества так и остались бы заключенными в винной ягоде, если бы «святые избранники» не освободили их зубами и кишками» («Исповедь» IV, 2, 2). И как только Моника, со своей простой верой, выносила уверенность высокообразованного сына в правдоподобии этих бредней?!

А в его личную жизнь вошла женщина: «В эти годы я жил с одной женщиной, но не в союзе, который зовется законным: я выследил ее в моих безрассудных любовных скитаниях». Впрочем, он хочет подчеркнуть, что вел себя тогда не совсем уж распущенно: «Все-таки она была одна, и я сохранял верность даже этому ложу» («Исповедь» IV, 2, 2). Но где он ее выследил? «Я осмелился даже во время совершения службы Твоей в церковных стенах гореть желанием и улаживать дело, верным доходом с которого была смерть...» («Исповедь» III, 3, 5). Так что она была христианкой!

Из дальнейшего рассказа выясняется, что она происходила из низов общества. Но она была рядом с Августином не один год, и роль ее весьма значительна. Не только потому, что от их союза родился сын, Адеодат, одаривший Августина чувством отцовства; дело здесь и в ней самой, потому что Августин глубоко любил ее и был ей верен (значит, она помогала ему держать в узде плотскую страсть) и еще потому, что ее жертвенный отказ от дальнейшего сожительства с Августином заставил его пережить человеческую драму накануне обращения.

Что же касается отношений между матерью и сыном, их духовная брань продолжалась, пока он делил себя между высоким знанием и разрушительной манихейской верой, которая оправдывала его предосудительное поведение; а Моника терпела и увещевала, молилась и проливала слезы: «эта чистая вдова... продолжала в часы всех своих молитв горевать обо мне перед Тобой, Господи...» («Исповедь» III, 11, 20).

Однажды Моника, которой стало как-то особенно тревожно за сына, отправилась к одному епископу, чтобы упросить его побеседовать с Августином и попытаться в споре склонить на свою сторону. Однако тот, зная, что молодой преподаватель был весьма силен в диалектике и что гордыня пока владела им, отказался. Но поскольку Моника продолжала настаивать на своем, прежде чем отправить ее восвояси, он произнес такие слова, ставшие знаменитыми: «Ступай, как верно, что ты живешь, так верно и то, что сын таких слез не погибнет» («Исповедь» III, 12, 21).

«Африка огромна, прекрасна, благодатна», — говорили колонисты, строившие там свои виллы. Тертуллиан гордился своею землей: «Ласкающие взор имения пришли на смену пустыням, возделан-

ные поля возникли на месте чащоб, шеренги рабов обратили в бегство диких зверей». На всем побережье Африки, от Мавритании и Триполитании до Киренаики человек вел наступление на леса и пустыни и разбивал сады. Эта часть Африки вошла в состав Империи, с которой ее соединяло море, — римляне называли его *postum* (наше). В музее Гиппона (Аннабы) хранится древняя мозаика с изображением роскошных вилл; на другой запечатлена сцена охоты. В ходе раскопок из песка извлекаются статуи, мозаики, инкрустации из слоновой кости, украшавшие диваны.

В одной из проповедей Августин противопоставляет суетной жизни мирное состояние человека в африканском доме: «Его покой — дом, семья, клочок земли, огородик, насаженный его же рукою: жилье, которое он устроил с любовью...» (На Псалом XL, 5).

Обилие солнечного света расцветивало пейзаж яркими красками. Августин называет этот свет «царем красок» («Исповедь» X, 34, 51).

Карфаген мог поспорить с Римом своими учебными заведениями, храмами, библиотеками, театрами, термами, палестрами. Так воспел африканскую столицу Апулей: «Во всем городе видишь только людей образованных, сведущих в науках, отроков, жаждущих выучиться, юношей, стремящихся к знанию, зрелых мужей, их наставляющих. О, Карфаген, досточтимая школа провинции нашей, небесная Муза Африки, мать всех носящих тогу!»

Тогдашние африканцы и в самом деле носили римские тоги; вместе с тем, женщины одевались весьма просто.

Августину такая жизнь нравилась. Он учился, участвовал в поэтических состязаниях, получил от проконсула лавровый венок, был первым в риторской школе, посещал театры, любил веселые компании. С другой стороны, он терпеть не мог грубый галдеж, ему были отвратительны поступки «совратителей» (*eversores*), которые сбивали с прямого пути не таких бойких, как они, исключительно «в насыщение своей злобной радости». Себя он по-прежнему судит очень строго: «Гноем какой неправды не был я покрыт!» («Исповедь» III, 3, 5).

Он чувствовал, как щедро изливается на него милосердие Божие: «По милости Твоей Ты не допустил меня совершить некоторых злодеяний, — а чего бы я не наделал...» («Исповедь» II, 7, 15).

Однажды во время состязания поэтов некий чародей послал узнать у Августина, сколько он готов заплатить ему за победу. Юный ритор с возмущением ответил, что презирает «это мерзкое колдовство», и что если бы даже ожидал его «венец из нетленного золота», он не позволит «ради собственной победы убить муху» (ср. «Исповедь» IV, 2, 3), меж тем чародей собирался для этой цели принести в жертву животных... Окончив курс в Карфагене, Августин получил диплом преподавателя риторики и вернулся в Тагаст, где открыл школу. Но быстро понял, что способен на большее, и отправился с матерью, подругой жизни и сыном Адеодатом обратно в Карфаген. Здесь в течение примерно девяти лет он преподавал словесность, и снискал себе на этом поприще громкую славу. Учитель риторики в те времена был выше специалиста по юриспруденции. Не пренебрегая юридическими штудиями, ритор накапливал обширные знания в области философии и литературы. Быть хорошим ритором значило быть гуманистом, «специалистом по наукам о человеке». Какую же пользу оказали эти занятия тому Августину, которым этот юноша стал позднее!

Здесь, в Карфагене, мы оставили его в начале этой главы. Точнее, мы оставили его на судне, поспешающем в Рим. Теперь нужно объяснить, почему и как попал он на этот парусник...

ЧЕРЕЗ МОРЕ

Корабль, уносящий Августина из Африки, плывет. Для истории это совсем не рядовое путешествие. Никто из заинтересованных лиц об этом не знает: ни Августин, которого раздирают угрызания совести и морская болезнь, ни Моника, которая безутешно плачет и молится. Быть может, как-то ощущают это природные стихии, «ответственные» за то, чтобы подгонять события человеческой жизни: например, горячий ветер — дыхание Сахары — который несется над морем, надувая крепкие паруса корабля.

Из карфагенского порта опытный рулевой взял курс на Сицилию, намереваясь вначале пройти вдоль ее западных берегов, ближайших к Африке, подняться к северу острова, двигаться параллельно ему вплоть до восточной его оконечности, где находится город Мессина, и пересечь пролив, а затем идти вдоль полуострова вверх, от Калабрии до Рима. В те времена это был обычный морской путь, которым пользовались с весны до осени, когда время года и состояние моря позволяли путешественникам чувствовать себя в безопасности (все время держась берегов).

Движение по морю из Рима в Африку и обратно было тогда весьма оживленным. Как известно, Африка была житницей Рима. Большие суда (*frumentariae**) с грузом зерна, растительного масла и всякого прочего добра, которое произрастало на африканских землях, торопились использовать месяцы, благоприятные для навигации, чтобы насытить многочисленные утробы римского плебса. Спокойствие народа Вечного Города (с древних времен власти улещивали его, обеспечивая *panem et circences***) и общественный порядок во многом зависели от бесперебойности этих поставок. И особенно это относится ко второй половине

* «зерновые» (лат.).

** хлеб и зрелища (лат.).

IV века. Африканская земля, можно сказать, оставалась единственным надежным и бесперебойным источником снабжения продуктами, потому что в Африке господствующему положению Рима все еще ничего не угрожало, в отличие от других частей Империи. Когда поток, текущий по этому «каналу», прерывался — как правило, из-за саботажа со стороны какого-нибудь мятежного наместника — начинались неурядицы, и Сенат прибегал к срочным и чрезвычайным мерам, направляя в соответствующие провинции военные экспедиции для скорейшего восстановления порядка. Кроме того, зимой морское судоходство практически прекращалось, если не считать военных операций с участием боевых кораблей.

Помимо плавания вдоль берегов, можно было следовать из проконсульской Африки в римский порт другим, более прямым курсом, который сразу выводил судно в открытое море. Сначала оно направлялось к Сардинии, а оттуда путь лежал к Риму. Этим маршрутом пользовались торговые суда большого водоизмещения (*naves onerariae*), способные справиться с морской стихией и вдали от берегов. Прямой путь составлял около 660 километров и занимал пять-шесть дней.

Следуя другим, «прибрежным» маршрутом, корабль должен был преодолеть уже около 1000 километров, по ночам непременно заходя в порты или известные морякам естественные гавани с ночевками в тавернах, расположенных в местах стоянок. Такой переход продолжался дней десять. Эти суда, более легкие, чем *onerariae*, назывались *naves horariae* (почасовые суда), и своим названием как раз и обязаны тому, что время в пути делилось на собственно плавание и остановки.

Чисто пассажирских судов не существовало; приходилось как-то устраиваться на торговых, естественно, лишенных каких бы то ни было удобств, если, конечно, вы не владели собственным кораблем.

Но морские перевозки, как для нужд торговли, так и для лиц, отправляющихся в деловые поездки, были очень хорошо организованы с коммерческой точки зрения. Интересны мозаичные надписи в порту Остии, которые представляют собой нечто вроде рекламного перечня компаний, морских (*navicularii*) и коммерческих, с Сицилии, из Галлии, из Испании, из Египта... Но особенно поражает, сколь много в этом списке компаний из

Африки. Это были самые настоящие рекламные объявления различных «агентств» (перечислена семьдесят одна «станция» [stationes]), упоминаемых в надписях. Иногда это только условные обозначения, выложенные черно-белыми мозаичными буквами на полу помещения: DOMINI NAVIUM CARTHAGINENTIUM EX AFRICA*. Они находятся на так называемой «площадке гильдий» за театром. Другие надписи, обнаруженные в различных гробницах, свидетельствуют о том, что покойный был судовладельцем, например, надпись, посвященная М. Юнию Фавсту, патрону CORPUS CURATORUM NAVIUM MARINARUM**. Надпись эта была выполнена за счет компании DOMINI NAVIUM AFRARUM UNIVERSARUM***. Встречаем мы здесь и некоего П. Авфидия Фортиса. Этот Авфидий интересует нас, поскольку он был «возлюбленным головою» (desurio) Гиппона, морского городка в проконсульской Африке, который станет для нашего беглеца истинной родиной.

Августин совершал длительные морские путешествия лишь дважды: из Карфагена в Рим и обратно. У меня, как у человека, изучающего его биографию, сложилось впечатление, что переносил он их не очень хорошо. Возможно, из-за своей хрупкой комплекции и из-за тех неудобств, с которыми был сопряжен этот способ передвижения, он, судя по всему, страдал от морской болезни; в тот раз ее усугубляло его тяжелое психологическое состояние.

Никакого нашего воображения не хватит, чтобы представить себе, как путешествовали по земле и по морю те древние, которым приходилось это делать. Их путевые заметки не оставляют сомнений в одном: путешествия, как дело весьма рискованное, внушали людям страх. Позднее, когда Августину придется наставлять обширную паству, он обнаружит, по крайней мере, косвенное знакомство с опытом мореходства: «Взгляните на упорство любящих золото. Они бороздят море до самой зимы, подгоняемые жаждой наживы. Им не страшна зимняя стужа. Огромные волны то возносят, то низвергают их, они рискуют жизнью и устремляются к неведомому...» (На псалом CXXXVI, 3). И в другом месте: «“Не принуждай себя мерзнуть, отдохни!” И тут

* «Владельцы карфагенских судов из Африки» (лат.).

** «Гильдия зрителей морских судов» (лат.).

*** «Владельцы судов по всей Африке» (лат.).

же манящий глас наживы возражает: «Перейди море, ищи неведомые страны, вези свои товары в далекую Индию. Что, что, ты не знаешь индийского? Но любовь к деньгам говорит на всех языках! Незнакомец, ты встречаешь другого, тебе незнакомого: ты даешь, тот тебе платит; ты покупаешь и увозишь!». Ты отправлялся в путь посреди опасностей и посреди опасностей возвращаешься. А когда море бушует? Ты хватаешься за молитву: «Господи, спаси меня!» Слушай же, что Он отвечает тебе: «Я ли заставлял тебя пускаться в путь? Жажда золота толкала тебя за порог, чтобы ты искал то, чем не владеешь. Я же просил тебя просто подать бедному, который стучится в дверь твою, от имени твоего, не слишком утруждаясь. Жажда золота отправила тебя в Индию, и привез ли ты золото? И Я рад этому! Христос стоит при дверях твоих, чтобы ныне же ты мог приобрести у Него Царство Небесное!»» (На псалом CXXXVIII, 4).

За тридцать девять лет, проведенных в Гиппоне, не одна трагедия прошла перед глазами у Августина. Немало историй о кораблекрушениях на памяти у приморского городка. Августину придется утешать вдову и детей рыбака, утонувшего при кораблекрушении. Море выбросит на берег его тело вместе с жалкими останками суденышка. Иным отважным купцам, для которых корабль стал вторым домом, уже никогда не ступить на землю.

Следующие слова, которые он произнес однажды с амвона, вполне возможно, навеяны его собственными реальными впечатлениями: «Когда случается видеть на берегу бездыханное тело купца, потерпевшего кораблекрушение, ты плачешь от жалости. Тебе так и хочется воскликнуть: “Бедняга! Из-за денег он расстался с жизнью... Увы, деньги не вернут ему ее...”» (Проповедь CCCXLIV, 7). Но эти слова будут сказаны, когда сам он уже встанет у руля иного корабля.

Сейчас же он только неопытный мореплаватель, получающий первое крещение морем. Скорее всего, плыл он на торговом судне малого водоизмещения, одного из тех самых *naves horariae*, тогдашних «скорых», то и дело встающих на якорь. Обессиленный, он сидел у груды амфор, его тошнило от качки и нестерпимого запаха битума; голова отяжелела, безотрадные мысли одолевали будущего епископа. Его отбытие по лону вод и в самом деле едва ли напоминало хрестоматийное «Прощайте горы, встающие из

вод...»*. В крепкие льняные паруса судна, вытканые ремесленниками-берберами, дул ветер судьбы.

С той ночи, когда корабль оторвался от причала в карфагенском порту, и в течение всего первого промежутка пути Августин из всех сил старался отвлечься от мыслей, которые кипели у него в голове, как в переполненной кастрюле. Когда показался сицилийский берег, первая увиденная им земля за пределами Африки, это немного приободрило его. Наверно, он чувствовал себя путешественником-первопроходцем, которому, как и ему, приходится идти на жертвы, чтобы быть на высоте собственного предназначения. Усиливаясь развеять тяжкие думы, Августин попробовал освежить в памяти историю и мифы огибаемого острова. Он заговорил об этом с купцом Марием, занимающимся организацией морских пассажирских перевозок, который, как настоящий сообщник, устроил его бегство из Карфагена. Августин беззаботно болтал с Марием, притворяясь сильным; но он прекрасно знал, что, начини он диалог с самим собою, с теми мыслями, которые ему никак не удавалось отогнать, он вышел бы из этого словесного поединка проигравшим. Он старался дышать как можно глубже, чтобы справиться с накатывающей дурнотой, и всячески демонстрировал судовой команде полное самообладание. Вообще-то моряки кое-что слышали о нем. Они знали, что у них на борту известный карфагенский ритор, то ли посланный, то ли приглашенный в Рим, чтобы занять там кафедру красноречия: с весом человек! А Марий говорил, что его ждет блестящее будущее. Ему ведь тоже совсем не хотелось, чтобы его ученого попутчика хватил столбняк: как никак он нес за него ответственность. Зачем ему такие неприятности?! Поддерживать веселую беседу и всячески отвлекать его — больше ничего не оставалось. Днем, на верхней палубе, Марий, уже не раз ходивший этим маршрутом, показывал Августину красивые виды, сообщал названия прибрежных городов, рассказывал о традициях той или иной местности, знакомил его со своими, нередко романтическими, приключениями во время предыдущих путешествий.

Августин из всех сил старался поддерживать эти разговоры, но все меньше говорил и все больше слушал. И не раз Марий замечал, что его собеседник словно отсутствует.

* Начало фрагмента восьмой главы романа Алессандро Мандзони «Обрученные» (прим. перев.).

«Сегодня вечером,— сказал он ему, когда они поднимались вдоль калабрийского побережья, и по небу побежали подозрительные тучи,— корабль бросит якорь в одном портишке. Я его знаю, как свои пять пальцев. Сойдем на берег, поужинаем и заночуем в таверне, проведем прекрасную, спокойную ночь, хоть потоп случись...» Но он увидел, что особого восторга у Августина это известие не вызвало. И в самом деле, у него не было никакого желания участвовать в веселых пирушках, потому что его постоянно подташнивало, и желудок был готов скорее к извержению, чем к восприятию чего бы то ни было. Да и вообще, менее, чем когда-либо, он имел право требовать от своего тела, чтобы оно доставляло ему удовольствие. Чувства утратили заряд страстности. И в этой ситуации не имело никакого смысла молить, как бывало: «Господи, даруй мне целомудрие, но не сейчас!» Эта проблема для него в тот момент не существовала.

Ночи были ужасны. В подсознании то и дело возникал образ любимой женщины, которую ему пришлось оставить в карфагенском доме вместе с маленьким Адеодатом. С нею он открыто обсуждал свои планы, связанные с отъездом, объясняя, что только так сможет занять подобающее положение в обществе. Как всегда, она поняла его и полностью поддержала, несмотря на то, что от нее требовалась огромная жертва: предстояло целый год провести вдали от любимого. Ведь так он и обещал ей: «Или дело пойдет, и я пошлю за вами, или ровно через год вернусь к вам...». И вот теперь он представлял себе, как ей там, дома, одиноко... Перед глазами стоял мальчуган, которого он нежно любил и с которым так много играл. Наверно, он спрашивал у мамы или у бабушки: «А когда же папа придет?».

Во сне Августина страшной укоризной преследовал кошмар — мать. Она снилась ему такой, какой была, провожая его на пристань; он вновь и вновь повторял во сне обманные слова: «Я не уезжаю, прощаюсь с другом, он плывет в Италию, не хочу оставлять его одного... Подожди меня в церкви св. Киприана; корабль отойдет, я тебя там найду, и мы вернемся домой...». Он лежал, как в могиле, свернувшись калачиком на откидной койке, и в грезах видел мать рядом, то мягко умоляющую его вернуться с ней домой, то суровую, как сыщик, заставший преступника с поличным. Потом он внезапно пробуждался и обнаруживал вокруг одни дребезжащие глиняные амфоры.

Он вспоминал обо всех хитростях, к которым ему пришлось прибегнуть, чтобы обмануть бедную женщину. Она догадывалась о его намерениях, но он всегда все отрицал.

Собираясь в путь, он был очень предусмотрителен, заручившись поддержкой сообщника, купца Мария. Вещи, без которых не мог обойтись, и в первую очередь, некоторые школьные кодексы, он постепенно перенес к Марию, исподволь готовя дорожную кладь. И не кто иной, как Марий, договорился с владельцем торгового судна о его пребывании на борту.

К его отъезду приложили руку друзья-манихеи. Это они посоветовали ему попытаться устроиться в Риме, и они же подпитывали его устремления. Как и все тайные общества, которых наполовину избегают, наполовину боятся, и которые все же, в конечном счете, добиваются определенной поддержки и влияния, манихейская община лелеяла мысль иметь в Риме своего адепта: они полагали, что уровень образования наверняка позволит ему занять там высокое положение. Он должен был стать для секты своего рода оплотом ее идей в столице.

В Риме имперские власти не доверяли манихеям и даже преследовали их по закону. Но кое-кто и на этом уровне их защищал. В любом случае, с ними считались, а такие люди, если их полностью не искоренить, извлекают пользу даже из политических преследований,— чтобы заставить себя бояться, кого-то шантажировать, и в конечном счете — увеличить собственную «проникающую способность».

Но операцию с переездом следовало провести без всякой огласки, тихо,— так, как и делаются дела не вполне ясные и не вполне чистые. Никому ничего не говорить, даже другу Романиану, который, конечно, под влиянием Моники, разубедил бы его, чтобы он не причинил боль этой святой женщине. И Августин и не подумал довериться своему покровителю и земляку Романиану.

Предложение «избранных» отправиться в Рим вполне совпадалось с устремлениями молодого «аудитора» секты, хотя Августин в глубине души осознавал всю нелепость их учения. Но именно эта отстраненность позволяла ему с некоторым даже удовольствием пользоваться их услугами. Он считал, что, коль скоро им удалось обвести его вокруг пальца, завлечь в ловушку

пылкий молодой ум, то и ему позволено, не особо церемонясь, отплатить им той же монетой.

А корабль плывет, и ему спокойно на волнах морских, чего нельзя сказать о душе пребывающего на нем путешественника.

Августину тогда было двадцать девять лет. Десятью годами раньше (и он как раз об этом думал) его удивила одна книга Цицерона. Он прочитал «Гортензия». Что за чудо! Цицерон воздвигал хвалу духовной жизни и глубокими философскими доказательствами разрушал любые поползновения найти счастье в материальных ценностях жизни.

Августина воодушевляли фразы, которые сегодня мы знаем только из его собственных произведений (потому что «Гортензий» утрачен), такие, как, например, эти: «Все говорят, что счастливы те, кто живет, как хочет. Но это ложно! В действительности, хотеть того, что недостойно человека, это дело самое презренное. И не в том отсутствие счастья, что мы не можем достичь того, чего желаем, а скорее в том, что мы желаем и достигаем того, чего и желать-то недостойно!» (ср. «О Троице» XIII, 5, 8).

Но сейчас он, Августин, с таким воодушевлением ищущий этой Премудрости, чего пытается достичь? Как ищет этой истинной Премудрости жизни, которая неодолимо влечет его? Какой же он философ? Какой ученик Цицерона? Цицерона, язычника! Что за путаница: влюблен в Премудрость, влюблен в чувственные удовольствия до того, что никак не может без них обойтись, влюблен в собственный мирской успех! Подвергая себя этому допросу, он словно прикасался к каждой из взаимно противоречивых личностей, которые в нем жили.

Через несколько дней, когда у них перед глазами медленно проплывал прекрасный амальфитанский пейзаж, Августин, стоя на палубе, доверял Марию свои сокровенные мысли. Это были воспоминания о Тагасте, об его детстве, отрочестве, первых влюбленностях, о той самой девушке, о том самом друге... Да... Ближайший друг, с которым они были неразлучны и в учебе, и в играх, умер... «Какое горе принесла мне эта потеря! — говорил Августин. — Моя душа и его душа были одной душой в двух телах. У нас были одни идеалы, одни литературные вкусы. Мы не могли друг без друга обходиться. И когда он умер, как стало пусто! А ведь рядом со мной уже была любимая женщина, и уже родился Адеодат! И все же — какая пустота! Куда бы я ни пос-

мотрел — смерть! Нигде я не находил его, ничто пережившее его не могло мне больше сказать: «Вот он!» Половина жизни моей... Я хотел жить, чтобы жила вместе со мною хотя бы половина моего друга; но я хотел и умереть, чтобы воссоединиться с другой своей половиной, которой был он. Я не выдержал и бежал, да-да, именно бежал, из Тагаста, нашего с ним города, в Карфаген».

«Но как же он умер?» — спросил Марий.

«Не знаю; даже врачи не знали. Только-только исполнился год этой нашей теснейшей дружбе (мы и в детстве росли вместе, но тогда такой дружбы не было), как он заболел лихорадкой. Он был из семьи горячо верующих христиан, но я научил его смеяться над всякими предрассудками, например, над обрядом крещения, которое ему предстояло рано или поздно принять: ну можно ли, выкупав человека, превратить его из плохого в хорошего!.. И мы смеялись над этим! Но в тот день, когда он лежал без памяти, его мать позвала священника, и он окрестил его. Потом он пришел в себя и даже выздоровел, и я смог поговорить с ним; казалось, нездоровье ушло безвозвратно. Я начал было смеяться над крещением, которое он принял в бессознательном состоянии, как над какой-нибудь театральной комедией. Лучше бы я этого никогда не делал! В глазах его я увидел негодование, он смотрел на меня, как на врага. С твердостью он сказал мне, что, если я хочу оставаться его другом, то должен немедленно прекратить подобные речи. Пораженный, я решил, что это следствие слабости, перенесенного страха... Совсем оправившись, он, конечно, снова будет разделять мои взгляды... Но вышло по-другому: через несколько дней, когда я отсутствовал и был совершенно спокоен, он внезапно умер. И вот, его смерть, то, что мы расстались в последний раз, разойдясь во мнениях, да еще тоска по нему, по живому, все это, в общем... страшно потрясло меня...»

«И когда же это произошло?» — прервал молчание Марий.

«Одиннадцать лет назад, — ответил Августин, — но мне кажется, что это было вчера... (ср. «Исповедь» IV, 4 след.).

Марио удивился: как можно быть таким чувствительным! «Ты так долго не проживешь, — изрек он. — Ты замечательный человек, но, если не нарастишь броню, любой комар сможет тебя проткнуть насквозь...»

Августин промолчал и задумался.

Африка была уже далеко. Она напоминала о себе только благоприятным теплым ветром, надувающим паруса. Но Августин хранил в ощущениях ее цвета и пейзажи: Тагаст, устроившийся на взгорье, на высоте шестисот метров над уровнем моря, с его лесами, которые он мальчиком облазил в поисках птичьих гнезд; полную достоинства Мадауру, маленькую «столицу» области, где крестьяне и мелкие служащие могли научиться грамоте; Кесарию Мавританскую, защищающую Проконсульскую Африку от набегов бедуинов, и возрожденный, величественный Карфаген, столицу провинции; переменчивый цвет пшеничных полей, виноградников, оливковых рощ, и вершины гор, то прозрачные, словно из хрусталя, то темные, налитые суровой густотой, и быстрые реки, разбухающие зимой.

Волшебница-Африка, молодой Августин набрался мужества оставить тебя за спиной, но придет день, когда ты примешь его вновь и пленишь навсегда.

Покидая Карфаген, он покидал целый мир: там оставались «общая беседа и веселье, взаимная благожелательная услужливость, совместное чтение сладкоречивых книг, совместные забавы и взаимное уважение; порою дружеские размолвки, какие бывают у человека с самим собой,— самая редкость разногласий как бы приправляет согласие длительное,— взаимное обучение, когда один учит другого и в свою очередь у него учится; тоскливое ожидание отсутствующих и радостная встреча прибывших» («Исповедь» IV, 8). Это был мир его религиозных исканий, его постепенного увязания в манихейской секте, его сомнений в связи с этим учением. Он обратился с вопросами к манихейским священникам, они не смогли ответить, но пообещали: «Приедет Фавст!», и Фавст, их духовный руководитель, явился, со своей гладкой речью, которая приятно щекотала ушные раковины, но ничем не обогатила пылливый ум юного ритора.

Насколько же убедительнее, неопровержимее были доводы Небридия, кротчайшего Небридия, в двух словах развенчавшего понятие о Боге как некой смеси материи и духа, которым Августина одурманили манихеи.

Наконец, Карфаген был тем миром, где он встретил женщину, которая сумела, так сказать, ввести в спокойное русло бу-

шевавшие в нем страсти, которая дала ему сына и создала для него семейный очаг, и все это,— когда им не было и двадцати.

Парусник шел уже по Тирренскому морю, Рим становился все ближе, а Карфаген — все дальше. Как бы хотел он, чтобы Рим и Карфаген слились в один город! Но все было наоборот: в его душе они соперничали... Там позади, в скромном карфагенском доме, молодая женщина неотрывно думала о нем и плакала. А в другой комнате смуглый мальчик все спрашивал у Моники: «Бабушка, а когда вернется папа?».

В том доме смолкли шутки и смех друзей и учеников ритора Августина.

РИМ: ПАЛОМНИЧЕСТВО К ИСТИНЕ

В ту сентябрьскую ночь 383 года, когда корабль был еще в пути, но уже совсем недалеко от римского порта (прибытие в столицу Империи намечалось на следующее утро), Августина разбудил хор грубоватых мужских голосов. Древние, путешествуя по морю и по суше, пели, чтобы снискать расположение судьбы. Придет день, и Августин, вспомнив об этом впечатлении, отчеканит один из своих знаменитых девизов: «Пой и иди!».

Некоторые из этих песен несли на себе отпечаток религиозности. Арий сочинил их специально для мореплавателей. В одной проповеди Августин говорит: «Когда силы человеческие на исходе, и рулевые, сменяющие друг друга, чтобы не дать кораблю уклониться от курса, уже не могут бороться с неистовством волн, и раскрывать паруса скорее опасно, чем полезно, когда орудия и усилия человеческие становятся тщетны, мореходам ничего не остается, кроме как прибегнуть к молитве и воплю, обращенному к Небесам!» (Проповедь LXXV, 3, 4).

В ту ночь они пели, чтобы беспрепятственно достичь близкой цели. А целью был Рим.

Кто же встретит его в Риме? Близкий друг, Алипий, который прежде учился у него, сначала в Тагасте, а потом в Карфагене. Алипий был моложе Августина, но уже отправлял в Риме видную судебскую должность.

Предвкушая дружеские объятия, которые сразу помогут ему почувствовать себя уютнее в незнакомом месте, Августин пустился в воспоминания об Алипии. «Однажды в Карфагене Алипий пришел в школу с небольшим опозданием, поздоровался, сел и углубился в наши занятия. У меня в руках оказался один текст, и мне показалось, что удобно будет пояснить его примером, заимствованным из цирковой жизни. Я едко осмелял особенно рьяных любителей этих игр. А я знал о том, что Алипий был подвержен этому безумию (к тому же, мне рассказали о неприятных происшествиях, случившихся с ним из-за страсти к цир-

ку). Я бы и хотел раньше серьезно поговорить с ним об этом, но боялся, что он отнесется ко мне с неприязнью, переняв ее у своего отца (не помню уж почему возникла между мною и его родителем натянутость), боялся, что он ответит мне: «Господин учитель, занимайтесь своими делами...». Но в тот раз вышло по-другому. Собственно, и прежде, увидев меня, он здоровался очень доброжелательно. И в тот день, он отнес мои язвительные насмешки на свой счет, словно мои слова были сказаны только ради него, но не выказал никакого возмущения. Не обращая внимания на нерасположение ко мне со стороны отца, который, впрочем, вскоре пошел на мировую, он стал регулярно посещать наши занятия, а в цирк больше не показывался» (Ср. «Исповедь» VI, 7). Естественно, Августин затащил его, как и других учеников, в манихейскую секту, хотя Алипий испытывал известное отвращение к этому учению. Он был родом из зажиточной семьи, во всем проявлял благоразумие, отличался редкой строгостью нравов.

Итак, этот самый Алипий постепенно стал блестящим специалистом в своей области; открытое, чистое лицо его отражало неколебимую порядочность. Истинный друг своему учителю, он испытывал к нему глубокую любовь и такое же уважение. В Риме он был магистратом, и весь город носил его на руках.

В утреннем тумане прорисовывается ровный берег там, где Тибр впадает в море. В нескольких милях отсюда стоит, в своем роскошном историческом убранстве, Рим. Сколь же много значит это имя для молодого африканца Августина, у которого каждая клеточка дышит культурой вечного города!

С ближних Холмов Лациума пеленою опускается на равнину прохладная дымка. Матросы уже поворачивают паруса в нужном направлении, корабль выравнивает ход, подчиняясь твердой руке рулевого, и подплывает с бесшумной почтительностью к этой земле, священной для всего мира. Виднеется портовый город.

Рим встречает гостей из заморских провинций обширной Империи великолепием порта. Еще во времена республики была построена рядом с Остией корабельная «станция» для первых римских флотилий, которые завоевывали средиземноморские страны. Суда, груженные зерном, приходя из Этрурии и с Сардинии, причаливали в Остии и становились на ремонт на верфи. Сципион отсюда отплыл в Испанию в 211 году, а во время вто-

рой пунической войны (219—201) против Ганнибала Остия вместе с Анцием получила освобождение от воинской повинности, чтобы все ее жители трудились на верфях. В 67 году до н.э. киликийские пираты напали на стоявший здесь отряд кораблей и некоторые из них вывели из строя, в связи с чем Цицерон отругал Сенат за недостаточную бдительность («В поддержку закона Манилия» XII, 33). Настоящий порт, грандиозное творение морского инженерного искусства, был возведен Клавдием, который присоединил к нему просторные помещения продовольственных складов (41—54 гг. н. э.). Траян (97—117 гг. н. э.) велел скрыть все, что было построено Клавдием, и соорудил новый порт с внутренним доком. Вокруг него вырос крупный по тем временам промышленный и торговый город с частными и общественными зерновыми складами, мельницами, лавками ремесленников.

В ходе раскопок вновь увидели свет Форум с Базиликой, храм императора Августа, Капитолий, памятники, общественные строения, магазины, улицы, пятиэтажные дома: все из обычного или обожженного кирпича, неоштукатуренного или с мраморным покрытием, украшенным декоративными элементами. Прекрасной сохранностью всего этого мы обязаны тому, что катастрофы обошли город стороной, он просто медленно угас от заброшенности и упадка, когда Рим перестал быть единственной столицей Империи. Но во времена Августина этот упадок еще не обозначился.

Корабль Августина царственно входит в римский порт. Матросы свернули все паруса (за исключением *артема*, паруса на бушприте, мачте, выступающей за нос судна), чтобы пришвартоваться. Голоса моряков нараспев сопровождают каждый этап этого маневра. Немногочисленные пассажиры и члены команды, не занятые делом, собрались на палубе. Всегда испытываешь волнение, причаливая, но представим себе, что ощущали все, находящиеся на борту, в те времена, когда, даже если путешествие было недалеким, оно все равно продолжалось долго и изобиловало опасностями, а здесь еще и конечный пункт был особым... Августин тоже стоял на палубе.

Солнечный свет смешивает краски: голубую (вода), зеленую (пинии), кирпичную (здания), белую (мрамор). Сильно волнуясь, Августин ищет среди людей на земле поддержки, а те тоже высматривают и уже видят своих; да вот же и он, его Алипий!

Паломник к истине может ненадолго остановиться и отдохнуть...

На молу Августина ждал не только Алипий. С ним был видный манихей по имени Констанций, у которого Августину предстояло поселиться. Подобно Августину и Алипию, он принадлежал к группе «аудиторов». Человек богатый, Констанций пытался приобрести вес, проявляя щедрость, и предложил свой прекрасный дом для устройства манихейского «интеллектуального центра» с пансионом. Он намеревался даже создать там нечто вроде монастыря, с уставом, разработанным самим Мани, вдохновителем и инициатором движения.

Августин сошел на землю со своим багажом, который тут же подхватили носильщики. Крепко обнялся с Алипием, обменялся положенными приветствиями с Констанцием. Последний был искренне рад возможности принять брата по манихейской вере и известного мыслителя, гордился тем, что сумел выступить в качестве благодетеля и заслужить одобрение особо просвещенных членов секты, по чьей рекомендации оказывал гостеприимство Августину, и, словно портной, стремящийся улестить любимого и выгодного клиента, вьюном вился вокруг прославленного профессора, не зная, чем еще ему угодить. Хороший был человек этот Констанций, честный и прямодушный, не мучался религиозными сомнениями, и в конце концов стал добрым христианином.

Море тогда находилось примерно в двадцати километрах от Рима (за шестнадцать веков оно уступило суше пять километров). Пешком можно было бы преодолеть это расстояние часа за четыре. Но для того, кто провел десять дней и ночей на корабле, пересекая морские просторы, это новое испытание ни к чему. Транспортные услуги были организованы у древних значительно лучше, чем мы себе представляем. Государство или частные наниматели предлагали путешественнику, желающему побыстрее добраться до цели, самые различные транспортные средства: лошадей, носилки, двухколесные коляски, «вереды» (коннопочтовые экипажи), «ангарии» (другая разновидность почтовых повозок), «клабулы» (грузовые повозки). *Currus publicus* (рейсовый экипаж) был учрежден Августом: легкие колесницы для перевозки людей (*raedae*), тяжелые повозки для доставки грузов (*clabularia*). Вдоль дорог встречались не только заведения,

в которых можно было перекусить и разместиться на ночь, но и тогдашние станции техобслуживания, *mulomedici* (ветеринарная скорая помощь для тяглового скота). Существовала даже... дорожная полиция (*stationarii*). Для поездок на *currus publicus* требовалось обзавестись особым билетом с подписью имперского уполномоченного.

Алипий в Риме был весьма уважаемым магистратом, и конечно, ему не составило труда раздобыть общественное или частное средство передвижения, чтобы подвезти профессора, которому семьи римских аристократов решили поручить своих детей на будущий учебный год.

Августин простился с купцом Марием (у того оказались дела в Остии) и уселся в колесницу рядом с Алипием и Констанцием. Возница пустил лошадей рысью по направлению к Риму.

РАЗОЧАРОВАНИЕ В МАНИХЕЙСТВЕ

Лошади чопорной рысью бежали по остийской улице, мощеной базальтом. Громом гремели колеса.

«Едем, едем, милый мой Августин! — воскликнул Алипий, обнимая друга за плечи. — Помнишь, когда гром гремит, это боги едут на колеснице по облакам...»

«Да-да, именно так говорят мальчишки в Тагасте...», — улыбнулся Августин.

«Расскажи об Адеодате и его матери...»

«Я оставил их в добром здравии. Но матери Адеодата пришлось сказать, чтобы она не провожала меня к кораблю...»

«А Моника, наша чудесная Моника?»

«Лучше не спрашивай, Алипий! Чтобы от нее оторваться... пришлось схитрить. Она не отходила от меня ни на шаг до самого причала. Не прибегни я к обману, прощай Рим! Пришлось поклясться ей, что я там только для того, чтобы с другом попрощаться. Потом уговорил ее пойти помолиться в церковь св. Киприана, где якобы я собирался отыскать ее позднее... Она отправилась туда, и больше я ее не видел...»

«Как уж она тебя, наверно, искала...»

«Я солгал ей... вынужден был солгать... и всю дорогу на душе было так тяжело».

«Ты ей напишешь, объяснишься с ней... В Риме ты сможешь многого добиться... и с матерью наладишь отношения...»

«Не скажи! Она-то от меня хочет совсем другого...»

Колесница подскакивала на ухабах. Августин, в свою очередь, спросил: «Ну а в Риме как жизнь? Главное, как твоя жизнь? Надеюсь, ты не оставил излюбленных литературных занятий?...»

«Нет, но я уже не могу проводить за ними столько же времени, сколько в Карфагене.»

«А игры в цирке, которыми ты так увлекался? Ты ведь обещал мне больше там не показываться...»

«Я сдержал обещание. Только вот однажды... друзья сыграли со мной злую шутку. Они насильно отвели меня туда, и мне захотелось доказать им, что «телом буду там, но глаза не открою!». И я сомкнул глаза. Но когда раздался единодушный вопль толпы (лучше бы уж я был глухой!), я открыл их. Все случилось в один миг: я увидел, как брызжет кровь и стал зверем среди зверей, опьяневшим от кровавого восторга... И словно все сначала: опять то же неистовое желание снова и снова смотреть на это. Страсть вся, без остатка, вернулась в мое тело! Но я подумал о тебе...»

«Алипий, Алипий!» — покачал головой Августин.

«Но не думай, что за пределами амфитеатра звери не водятся! Знаешь ли ты, что тебе едва не пришлось навещать меня в тюрьме? Я прогуливался перед судилищем один, что-то записывал стилем на дощечках, и вдруг вор (какой-то школьник) подошел незаметно с топором в руках к решетке ювелирной лавки и принялся ломать ее. Услышав стук топора, ювелиры, находившиеся внизу в мастерской, из окошка приказали стражам схватить того, кто будет застигнут перед решеткой. Вор, услышав голоса, бросил свое оружие и удрал. Я же в рассеянности наткнулся на топор и подобрал его. Стражи видят топор у меня в руках, хватают меня и тащат с собой на виду у всех, хвастаются, что поймали вора с поличным, ну и, в общем, в сопровождении толпы любопытных ведут меня в судилище...»

«Да, история очень неприятная,— заметил Августин.— Но чем же все это кончилось?»

«Кончилось это тем, что меня спас архитектор, с которым мы познакомились в доме одного сенатора. Итак, встречает он меня в окружении стражей, и те сразу заявляют ему: «Видишь, кто был вором?», потому что архитектор этот — главный надзиратель за общественными зданиями, и именно стражей он неизменно подозревал в кражах. Он спросил у меня, что произошло, и я разъяснил ему, как все было на самом деле. Тогда он приказал стражам следовать за ним, вместе с вопившей и грозно нависавшей надо мною толпой, и повел всех к дому преступника. У входа стоял раб-простофиля: он-то все и выложил, даже не подозревая, что этим может как-то повредить своему хозяину. Архитектор показал ему оружие преступления и спросил: «Чей это топор?» А тот тут же выпалил: «Наш, наш!». Когда его позже до-

просили, он раскрыл и все остальное. Вот так я чудом избежал тюрьмы...» (ср. «Исповедь» VI, 9).

Констанций так увлекся рассказом, что не замечал сильной тряски; конец истории рассмешил его, и он подметил про себя: «Какая у них хорошая речь!». Колесница катила вдоль Тибра. Констанций обратил внимание Августина на реку, как на важную достопримечательность: «Это Тибр!». Потом они ехали мимо Константиновой Базилики, построенной на месте упокоения апостола Павла, мимо пирамиды Гая Цестия, Колизея...

Они говорили о юном императоре Валентиниане II, об общей ситуации в империи, этой огромной бюрократической и военной организации, монолитной, одновременно жестокой и мудрой, которая жила за счет инерции от собственного прошлого. Гунны, готы, вестготы готовились стать ее наследниками, перемешиваясь в громадном этническом плавильном котле друг с другом и с коренными народами. Религия или религии, как предлог для предъявления претензий на власть со стороны новых и старых вождей; богословы, изощряющиеся в мудрствованиях; епископы, сменяющие друг друга: то арианин, то кафолик, то кафолик, то арианин; денежная инфляция в свободном полете и попытки государства усмирить ее: «*certa taxatio*» (установление твердых цен), «*imminutio solidi*» (девальвация); Грациан и Феодосий, *христианнейшие* императоры; упразднение обязательной девственности весталок; споры по поводу удаления алтаря Виктории из зала заседаний Сената; отказ императоров от титула Великого понтифика; Святой Дух, от Отца исходящий, без «*Filioque*» на Востоке, с «*Filioque*» на Западе; узурпация испанским военачальником Максимом, поднявшим мятеж в Британии, императорского престола, который Грациан занимал с девяти лет; убийство Грациана в Лионе в 383 году, когда Августин прибыл в Рим...

Подумать только: императоры интересовались теологией! Не успел епископ Авильский уклониться в ересь, как Максим казнил его: он стал первым в истории христианской церкви еретиком, приговоренным к смерти, и увы, не последним.

Августин выходит из колесницы и направляется к вилле Констанция. До всей этой теологии, которая в один прекрасный день станет для него хлебом насущным, ему пока нет никакого дела. Нет ему дела и до папы Дамаса, поэта, украшающего могилы мучеников изысканными эпитафиями; совершенно безразличен

ему и тот, кого можно назвать Государственным секретарем папы, далматиец Иероним, с которым спустя несколько лет он вступит в эпистолярный поединок, окончившийся дружеским общением далеких корреспондентов.

Одно имя чаще других повторял Алипий в разговоре с Августином: Симмах! Этот Симмах — образованный язычник, проливающий слезы над руинами древней религии, но смирившийся с ее окончательным поражением.

Констанций предоставил Августину самую уединенную комнату виллы. Можно дать волю фантазии, пытаясь отгадать, где именно располагался этот дом. В Риме в ту эпоху, очевидно, не было жилищного кризиса. Многие состоятельные люди, чувствуя приближение грозы, перебирались в загородные поместья. Кто-то из них, вероятно, переселялся в более безопасные провинции, например, в Римскую Африку. В любом случае, скорее всего, вилла Констанция находилась недалеко от центра, поскольку призвана была, по мысли хозяина, играть видную роль в культурной жизни города.

Алипий и Констанций помогли Августину разложить вещи, чтобы он сразу почувствовал себя, как дома. Потом Констанций ушел: ему надлежало позаботиться об ужине для нового гостя, а ужин в те времена был самой обильной трапезой дня. Он и сам собирался отужинать с африканскими друзьями.

Алипий и Августин остались одни. Рассказывая о том, о сем, знакомя бывшего наставника с особенностями римской жизни, останавливаясь подробнее на организации образования, на том, как поставлены занятия юношества с частным преподавателем, Алипий помогал другу сразу же освоиться в новой обстановке.

«Что до дисциплины,— сказал Алипий,— здесь тебе будет полегче, чем в Карфагене. В римских школах нет и следа всего этого отребья, которое учителя ни в грош не ставит. Но будь осторожен, Августин! И с учениками, и с их родителями об оплате договаривайся с самого начала, и крепко накрепко. А то тут в Риме у них есть одна неприятная привычка: они исправно посещают занятия, но в решающий момент, когда надо расплачиваться, вдруг исчезают, а потом бывает и так, что ты их обнаруживаешь в другой школе, у другого наставника...»

Они спустились в бани. В Риме было еще жарко, и они решили освежиться в бассейне. Здесь Алипий вновь заговорил о

Симмахе. «Во всей этой римской суете особняком стоит один человек, Симмах. Он все спрашивал у меня, когда ты приедешь. Теперь я с ним договорюсь о встрече, и мы навестим его; он, безусловно, будет рад с тобой познакомиться. Симмах любит африканцев. Помнишь? В 373 году он был проконсулом в Африке...»

Симмах и в самом деле был весьма образованным и утонченным человеком. Либеральный консерватор, он высоко ценил древнюю классическую культуру и языческий религиозный фольклор. Он обладал хорошим политическим чутьем, дипломатическим тактом, умел выпутываться из трудных ситуаций, оставлять о себе хорошее впечатление. По указу Сената удостоился общественных почестей, и как раз в это время готовился к вступлению в высокую должность префекта Рима. Он состоял в переписке с епископом Миланским Амвросием. Судя по этой переписке, Амвросий относился к нему с явным уважением. Симмах пытается защищать языческую культуру, и при этом демонстрирует тонкое поэтическое понимание прошлого; возражения Амвросия теплее, богаче фактами, они непредубежденно свидетельствуют о вере, возрастающей жертвой, вере, которая не допускает отвлеченных дискуссий, и устремлена в будущее (ср. Письма XVII, 6; LVII, 2).

«Я часто встречаюсь с Симмахом,— продолжал Алипий,— по делам службы, он меня уважает, и мы с ним друзья. И знаешь, Августин, такие отношения между нами, помимо всего прочего, помогают мне защищать свое доброе имя. Потому что..., потому что вокруг так много продажности! Выполняя свой долг, рискуешь каждый день. Вот только один пример. Живет здесь в Риме некий могущественный сенатор, очень влиятельный, благодаря... взяткам различного размера — их величина определяется значимостью требующейся ему протекции. Многие боятся его, я же — нисколько! Ты ведь знаешь, какими делами я ведаю в качестве асессора по итальянским финансам. Дела это деликатные, недолго и поскользнуться. Этот самый сенатор в который уже раз позволил себе грубо преступить закон. Приходит он ко мне, полагая, что сможет меня купить. Я ему ясно, без обиняков, говорю: «Нет, я не согласен». Он опять за свое, предлагает мне деньги. Я рассмеялся ему в лицо. Тогда он стал запугивать меня, прибег к угрозам. Я пристыдил его. Но он не отступает, отправ-

ляется на прием к моему прямому начальнику. Начальник — человек вообще-то честный, обычно подобные вещи внушают ему отвращение. Но на сей раз и он испугался: с такими наглецами сталкиваться ему не доводилось! Так что он и не подумал взять сенатора за плечико. Что же он сделал? Вместо того, чтобы арестовать взяточника, он заюлил и просто умыл руки. И вот что заявил ему: «Алипий такой дотошный, он меня связывает по рукам и ногам, если подпишу, он поднимет жуткий шум...». Только представь: они спихивают с себя всякую ответственность, а ты за них отдувайся. Но я не иду на сделки с совестью ни с другими, ни с самим собой. Как-то мне понадобилось заказать кое-какие книги, которых у меня не было, а ведь я, как известно, очень люблю иметь тексты под рукой, дома. И вот мне приходит в голову попросить писцов переписать их за счет средств налогового суда. Я же, в конце концов, состою на службе в суде, и просто обязан просвещаться. Если органы общественного управления располагают более образованным чиновником, это им на пользу, так что... Нет и еще раз нет! Я тотчас передумал и одернул себя: «Горе тебе, если ты так поступишь!» (ср. «Исповедь» VI, 10).

«Одобряю тебя безоговорочно, Алипий. Из чистого вандализма я еще в четырнадцать лет обтряс грушу, и стыжусь этого до сих пор...»

В этот первый вечер они поужинали вместе с Констанцием, и хозяин дома сумел порадовать их отличной кухней. Они говорили о том, как Констанций собирается устроить их совместную жизнь, и о том, какую комнату отвести Августину для его уроков...

Алипий пожелал Августину спокойной ночи, а потом добавил: «Завтра или послезавтра переговорю с Симмахом. Готовься к приятной встрече...»

Прошло несколько месяцев. Августин все больше осваивался с Римом, с которым он связывал надежды на полное осуществление собственных человеческих устремлений. Он открыл, как здесь было принято, частную школу.

Вот что замечал он в своих воспоминаниях, похожих в этом месте на дневниковые записи: «Я прилежно взялся за дело, ради которого я приехал: начал преподавать в Риме риторику и сперва собрал у себя дома несколько учеников, знакомство с кото-

рыми доставило мне и дальнейшую известность. И вот я узнаю, что в Риме бывает то, чего в Африке мне не доводилось испытывать: здесь, действительно, юные негодяи не ставили всего вверх дном — это я сам видел, но вдруг, как мне и говорили, чтобы не платить учителю, юноши начинают между собой сговариваться и толпой переходят к другому. Этим нарушителям слова дороги деньги; справедливость у них стоит дешево» («Исповедь» V, 12). Так Августин познакомился с нравами римлян поздней империи!

КРИЗИС ПРИЗВАНИЯ

Но не платят не только римские школьники. Нравственные представления о жизни, сложившиеся у Августина, манихейский компромисс, фанатичным пропагандистом которого он был, и который теперь вызывает у него глубокое разочарование, приносят еще меньший доход, чем прижимистые римские школьники.

Подобный ум, острый и диалектический, просто не смог бы сохранять длительную приверженность учению, которое в философском, теологическом и нравственном плане отличалось эклектичностью, сиюминутностью, шарлатанскими приемами. Вновь перед его мысленным взором возникали интуитивные, но более чем убедительные аргументы Небридия: что же это за бог такой у манихеев, отчасти дух, отчасти тонкая материя, бесконечно сражающиеся друг с другом? Этот бог, подвержен или не подвержен тлению? Если не подвержен, материя, какая бы она тонкая ни была, с ним не соприкасается, а значит никакой борьбы быть не может; если же он по природе изменяем и, соответственно, уязвим для материи, такой бог, как первоисточник добра, ничего не стоит... Нет, не может он существовать!

Сильное разочарование ждало его, когда он поделился своими сомнениями с учителями секты, словно послушник, доверяющий тайные думы духовному руководителю. «Избранные» преспокойно признались в собственной некомпетентности. По сути дела, нащупывая в своих раздумьях проблему, которую, в виде вопроса, он ставил перед своими некомпетентными учителями, молодой философ, в отличие от более поверхностных наставников, ощущал всю ее парадоксальную серьезность. Это была проблема зла! Если Бог есть добро, если ничто сотворенное не может возникнуть вне Его творящей воли, откуда же зло?

Именно на этот вопрос он мучительно искал ответа. «Кто создал меня? Разве не Бог мой, который не только добр, но есть само Добро? Откуда же у меня это желание плохого и нежела-

ние хорошего?» («Исповедь» VII, 3). В сущности, пытаясь найти объяснение этим противоречиям, он пытался объяснить самого себя, и даже не столько объяснить, сколько оправдать. Эта таинственная проблема будет сопровождать его всю жизнь в его философских и богословских исканиях; разрешив ее в свое время, он захочет помочь найти это решение другим. Ибо проблема эта не абстрактна: она мучительно конкретна. И одним ответом ее не разрешить; у Господа заготовлено много ответов, и к содержащейся в них истине можно пробиться через смирение: эти ответы — различные элементы благодати, из которых состоит спасение человека.

Последний удар по его манихейской вере нанес тот самый Фавст, с которым он так долго жаждал поговорить. Когда Фавст прибыл, они побеседовали совершенно откровенно; виднейший манихей прикрывал собственное невежество сладкими и искусными речами, а к концу разговора этот мнимый богач уже выклянчивал новые знания у своего вопрошающего собеседника. Это лишило Августина всякой надежды найти истину в лоне манихейского учения. Соглашаясь воспользоваться услугами манихеев, чтобы получить место преподавателя в Риме, он уже испытывал разочарование в их учении и раскаивался в том, что был таким ревностным его приверженцем.

О тайне и о судьбе человека Августин вопрошал и звезды, движимый все тем же стремлением понять, кто же, в действительности, диктует нам решение, когда мы делаем выбор в пользу нравственного или безнравственного поступка. Он чувствовал, что его поступки нехороши и хотел возложить за это ответственность на кого-то другого или что-то другое, внешнее по отношению к нему. Одним словом, ему нравилось грешить, но он хотел грешить и быть спокойным, оправдываясь тем, что поступить так, а не иначе его заставляет некая необходимость. И вот он ринулся в астрологию, которая не противоречила манихейскому учению. По обыкновению желая глубоко разобраться в предмете исследования, он раздобыл все нужные книги, наводил справки у сведущих в этой области людей, и прежде всего, у самого авторитетного из них, Виндициана.

Виндициан был блестящий медик, специалист по человеческой анатомии. Врач он был весьма здравомыслящий, и ставил диагноз, исходя из конкретного случая, замечая, что одна и та

же болезнь в зависимости от индивидуальных свойств пациента может протекать по-разному: существует не болезнь, а больной. В 380 году, занимая пост проконсула Африки, он вручил юному Августину венец победителя в соревновании драматических поэтов: значит, к моменту разговора он уже знал этого молодого человека и его способности. Он был с ним предельно честен: «Мой мальчик, выбрось поскорее эти книги, не теряя времени. Я тоже в юности изучал их, хотел сделать астрологию своим насущным занятием. Впоследствии же я понял, что не могу, оставаясь серьезным человеком, зарабатывать на хлеб обманом. Не нужно путать случайные совпадения с настоящей наукой. У тебя прекрасные способности, ты обучаешься занятию достохвальному, которым, конечно же, сможешь жить. Астрология увела бы тебя далеко от прямого пути...» (ср. «Исповедь» IV, 3).

Он рассказал об этой встрече своему другу Небридию. Но тот только посмеялся над ним, язвительно заметив: «Астролог! Человек, который самостоятельно прочитал и понял «Категории» Аристотеля, написал книгу по эстетике «О прекрасном и соответствующем», собирается посвятить себя астрологии!».

Потом пришла очередь Фирмина, который однажды явился к нему, чтобы рассказать поподробнее об астрологии. Августин стал было разуверять Фирмина в истинности этой науки. Тогда гость, полагая, что доказывает обратное, поведал Августину историю, произошедшую с его отцом. «Отец очень интересовался астрологией; у него был друг, также большой любитель узнавать будущее по звездам. Оба дошли до того, что отслеживали точное время появления на свет щенков у своих собак, чтобы соотнести это событие с положением звезд в тот момент. Когда моя мать была мной беременна, случилась в тягости и какая-то служанка отцова друга. Ты только представь себе эту парочку наблюдателей! Случилось так, что я и сын той служанки родились в один день, один час, одну минуту. Когда начались роды, между двумя домами забегали посланцы, призванные сообщать хозяевам о ходе дел в том и другом семействе. Расчет был такой точный, что в самый миг нашего одновременного появления на свет вестники встретились на равном расстоянии от одного и другого дома. И вот, как видишь, я, можно сказать, добился в жизни успеха; тот же, чье рождение совпало с моим, как родился рабом, так им и остался...»

Последовал вывод Августина: «Мне кажется, ты говоришь правду, звезды здесь не при чем...» (ср. «Исповедь» VII, 6).

Вот такой путаницей лихорадило его душу. С тех пор и начинается кризис, который будет усиливаться в течение двух с лишним лет, и который лишит Августина всякого интереса к мирскому успеху.

Мысль о трех существах, глубоко с ним связанных, сыне Адеодате, подруге жизни и матери Монике, с которыми он разлучился, часто приходила к Августину болезненным воспоминанием: он очень по ним скучал. Он представлял их за разными занятиями, в зависимости от времени суток,— эту маленькую семью, по сути дела, оставшуюся без мужской поддержки. Он видел горящую мать, которая, несмотря на нанесенную ей обиду, горячо молится о том, чтобы он был рядом, побуждаемая к этому естественным материнским чувством, свойственным не только ей, но и многим матерям, чьи дети далеко от них (правда, это чувство бывает нездоровым). Перед глазами стояла подруга, конечно же, тоскующая по тому теплу, которым он окружал ее, одинокая, как любая покинутая женщина; вряд ли она могла найти утешение у стареющей Монике, с которой, скорее всего, ей было психологически трудно общаться.

Имея перед собой цель — духовное спасение сына — и вообще, чтобы, в конечном счете, увидеть его таким, каким он должен был стать в ее мечтах, Моника вела свои расчеты и, как женщина умная и практичная, не могла не признать, что эта самая подруга жизни остановила или, во всяком случае, сдержала неистовый позыв юношеской плоти и оказалась «меньшим злом». А к тому же, наступая на горло собственной материнской ревности и постоянно заботясь о его спасении, она видела в этой женщине и в маленьком Адеодате стимул для скорейшего возвращения сына и плотины, призванную сдерживать напор его любовной страсти. Все это Августин принимал во внимание, но его все равно беспокоили личные отношения между двумя женщинами, чья совместная жизнь, по глубоким причинам, не могла быть идиллией. Все упиралось в ребенка! Очевидно, Моника была чрезвычайно любящей бабушкой. Мы еще сумеем убедиться в этом по некоторым реакциям Адеодата, свидетельствующим о сильной душевной привязанности к бабушке, — таким, как его безутешный плач, когда спустя несколько лет она умерла у него на глазах.

Августин, несмотря на повседневные заботы и тревобления, ни на минуту не забывал о трех родных душах.

Надо полагать, что, не имея другой возможности, он общался с ними в письмах, хотя ни одно такое послание до нас не дошло. Августину нужно было и о своих делах сообщать, и узнавать об их жизни.

Нам известно, что у тогдашней государственной почты или частной почтовой службы было достаточно возможностей, чтобы доставить письмо в Карфаген. Морское сообщение, во всяком случае, в благоприятное время года, было бесперебойным; среди пассажиров вполне могли оказаться знакомые (например, Романиан), для которых не составляло труда выполнить подобную просьбу. Тот факт, что подруга Августина, его мать и Адеодат, высадившись в Риме, его там не обнаружили и принуждены были отправиться в Милан, где он с некоторых пор поселился, не позволяет нам заключить, что в течение двух лет они считали Августина без вести пропавшим. Может быть, письма не всегда приходили вовремя, но вероятнее всего, существовали.

Он все более тяготился обязательствами по отношению к манихеям, учение которых душа его постепенно отторгала. Государственные власти смотрели на секту косо, адепты должны были действовать чуть ли не тайно, — мы уже говорили об этом.

Гостеприимство, которым пользовался Августин, было почти унижительным. Констанцию так и не удалось устроить в своем доме настоящий манихейский монастырь. Возможность иметь бесплатное жилье в Риме и гарантированную кормежку с единственным условием — объявить себя преданным членом секты, «избранным» или «аудитором», — в конечном счете превратила это пристанище в рассадник расхлябанных дармоедов. В том, что Августин долго был ярым манихеем, нет никаких сомнений; то, что его стало от них тошнить, он пока держал при себе; но сколько же людей проникало в секту обманом, лишь бы перебиться кое-как какое-то время!

Гостеприимство и щедрость Констанция помогли ему почувствовать себя значительным лицом и получить полномочия настоятеля «общежития». Он задумал заставить своих подопечных ходить по струнке, как монахов, и даже составил строгое правило, на основе сочинения Мани «Письмо об Основании». Он хо-

тел бы также заполучить к себе кого-нибудь из манихейских епископов, чтобы придать своему дому больший авторитет, но это ему никак не удавалось, потому что заведенный порядок управления приютом не обеспечивал... *свободу рук*. В конце концов Констанций отыскал одного иерарха, однако, *его преосвященство* оказался человеком грубым, требовательным по отношению к другим, а к себе снисходительным вплоть до лицемерия. Он не соблюдал обет бедности, налагаемый на всех, кто жил совместно в этом доме, скрывал в надежном месте пухлый кошелек и, поскольку общая трапеза была скудной, утолял голод разносолами, которые ему доставляли тайком.

Однажды вечером в ходе *капитула прегрешений* не кто иной, как «избранные» постыдно набросились друг на друга с кулаками, обвиняя противную сторону в разных мерзостях. Добрый Констанций восстановил, в какой-то мере, спокойствие и, отогнув сначала большой, а потом указательный палец правой руки, обнародовал такую дилемму: «Или эта затея — что-то серьезное, и тогда нужно, чтобы все соблюдали правило; или это повод повеселиться, и тогда вся ответственность ложится на Мани, который был ее вдохновителем. И если так дело и обстоит, знаете, что я вам скажу? Это мой дом, а вы идите на все четыре стороны...» Слегка задыхаясь от волнения, он замолчал; и на какое-то мгновение показалось, что вслед за ним умолкло и собрание. Но только на одно мгновение: тут же поднялся адский галдеж, пуше прежнего.

Кто-то, может быть, решит, что это просто художественный вымысел... Но об этом поведал непредвзятый и не в добрый час оказавшийся там свидетель — Августин, уже не в «Исповеди», а в другом своем произведении, в котором более подробно говорится о секте: «О нравах манихеев» (там же, II, 20,74). Когда позднее он будет толковать притчу о Блудном сыне, этом отцовском любимчике, опустившемся до того, чтобы пасти свиней и есть желуди, ему придет на ум манихейская обитель Констанция.

Они продолжали горланить, когда Августин удалился к себе. Ушел он отчасти потому, что была уже ночь, отчасти потому, что ему стало противно, но главное — потому что он себя неважно чувствовал. Не написав, против обыкновения, ни строчки, он сразу же лег и попытался уснуть. Но сон не приходил, а

явь напоминала ночной кошмар. Издалека гвалт казался даже громче: беспорядочные голоса разносились по комнатам, забираясь в самые дальние уголки дома. Повозка прогремела по базальту мостовой. «Как низко я пал,— прошептал он в одеяло,— как низко... Матушка!» — он звал ее, вызывая в памяти родное лицо. Он подумал о своей подруге и представил себе, как она спит, обнимая дорогого Адеодата. Он говорил с ними, словно они были рядом, в его комнате. Его снедало желание обрести свободу.

«Манихеи! Какая ложь!..» Уже после разговора с Фавстом, чье многословное невежество буквально надломило его, он сказал себе: «Конечно, это не то, что нужно! Но не надо торопиться. Пусть это будет промежуточная остановка, а тем временем я поищу что-нибудь другое...». Теперь он понимал, почему мать так страшилась этой секты: она столь же привлекательна, сколь и губительна! Как наркотик...

«Что-то там сейчас матушка? Так и вижу, как она молится за меня...» Августин заснул в каком-то оцепенении. Надолго ли? Он не знал. То вдруг проваливался в сон, то, словно от толчка, пробуждался...

«Гортензий»... «Премудрость»... Все это так увлекло меня в свое время, а теперь я вижу там одно плотское... Он, Цицерон, дает тебе взять *премудрость* в руки, как птицу, которая не вырвется. Ах, Цицерон! Как умело обращался он со словом, и насколько хуже с собственной жизнью! Он успел понемногу послужить всем: сначала Помпею, потом Цезарю, потом опять врагам Цезаря... За что и поплатился головой, вместе с которой ушел в небытие мозг, составивший так много прекрасных фраз. Но зачем столько искать? Чтобы ничего не найти! Истина; может ли человек найти истину? Это невозможно! Есть много всяких философий, и среди них — философия *сомнения*, у которой громкое имя: *Академия*! Не один год ищу я истину. Она не приходит, я отворачиваюсь от нее. Чтобы утверждать противоположное? Нет! Просто для того, чтобы принять точку зрения, которая, если честно, кажется мне единственно возможной: человек не может постичь истину, человек может только сомневаться...»

Кто-то очень деликатно стучался к нему в комнату. Это был Констанций. Зачем он пришел? Попросить прощения у Августина, конечно, намного более приятного гостя, чем все осталь-

ные, за недостойную вечернюю свару? Или отвести душу, найти в нем, человеке благородном, поддержку?

«Я почувствовал, что не могу пойти спать, не пожелав тебе спокойной ночи, Августин», — сказал Констанций. И добавил: «Учение это учение, а люди это люди, даже если они *избранные...*».

Не вставая, Августин ответил: «Констанций, учениям тоже никогда не нужно доверять безгранично. Иной раз учения портят людей, а иногда люди портят учения. Если бы сейчас мне довелось порассуждать с тобой о том учении, с которым мы оба связаны, я бы должен был сказать тебе, Констанций..., должен был бы тебе сказать... что отношусь к нему скептически! Мне что-то нехорошо, Констанций, спокойной ночи!».

Но он не спал... все ворочался с боку на бок, в крайнем физическом и душевном возбуждении. Ему было очень жарко и тяжело дышалось.

На рассвете вновь по своему почину зашел Констанций, на сей раз, — чтобы пожелать ему доброго утра. Августин не дал ему ничего сказать, и попросил передать Алипию, что он ждет его у себя.

Алипий пришел и обнаружил Августина сильно ослабевшим и удрученным.

«Что с тобой, дорогой мой?» — спросил Алипий.

Августин начал с рассказа о вчерашнем происшествии, чтобы затем перейти к конфиденциальной части разговора. Говорил он с трудом, набирая воздуха в легкие после каждого слова, хриплым голосом, словно отходил от сильного испуга. Алипий положил ладонь ему на лоб. Он так и горел.

«Да у тебя жар, Августин! — забеспокоился Алипий. — Давай позовем врача».

Августин попросил его сначала посидеть с ним рядом. Больше всего в эту минуту ему был необходим близкий по духу собеседник. «Заболеть может каждый, — сказал он, — но я чувствую, что этот мой недуг — таинственный. Все во мне скорбит — и тело, и душа. Но особенно — душа. Алипий, нет у меня больше сил выносить этих обманщиков...»

«Манихеев?»

«Манихеев!»

«Ты ведь знаешь, Августин, что среди приверженцев любого религиозного учения есть те, кто его недостойн, кто позорит его... Порядочность человека облагораживает исповедуемое им учение...»

«Нет, Алипий,— прервал его Августин.— Нет, есть такие учения, которые портят. Когда человек заблуждается («egre humanum est»), он потом осознает, что заблуждался, испытывает ощущение вины. Его религиозное чувство помогает ему довериться божеству, умолять его о прощении... А манихейское учение — обман! Оно уверяет тебя в том, что зло, которое ты совершил, не твое, что ты ничего с этим не можешь поделать. Это как два кулачных бойца дерутся, и по ошибке один из них наносит удар не по сопернику, а по тебе, стоящему рядом. Мани родился в Вавилоне, так что все, что намешано в этой религии, это настоящее *вавилонское столпотворение!* Мне жаль, что я с головой погрузился в нее, стал проповедовать другим. Но больше всего жалею я о том, что затянул туда тебя, человека такой честности...»

«Ты знаешь, как я люблю тебя. Эта любовь полна уважения, восхищения,— с сердечностью отвечал Алипий.— Я чувствую в тебе наставника и знаю, что не мог бы иметь другого. Ты мой наставник даже если заблуждаешься в чем-то,— я ведь уверен, что ты ищешь истину и приведешь меня к истине... Хочешь, скажу тебе правду? Я манихей не потому, что убежден в непогрешимости этого учения, которое всегда меня смущало, а только потому, что доверяю тебе. Ты сейчас сомневаешься, и я не могу не сомневаться. Если ты поймешь, что это была ошибка, мы будем искать где-то еще, будем искать вместе...»

«Алипий, но можно ли вообще найти истину? Отныне ты будь моим учителем; ученик просит тебя об этом... В нашей школе — помнишь — мы часто менялись ролями, ученик превращался в учителя и наоборот...»

Алипий не нашел слов для ответа. Глаза его увлажнились, он пристально посмотрел на Августина. Потом взял его за руку и произнес: «Если не найдем никакой иной истины, пусть будет ею наша дружба! Да будет так, даже если мы заблудимся в лесной чаще! Тот Бог, в которого я верю и ты веришь, сумеет отыскать двоих друзей, ищущих, пусть не истину,— луч света...»

«Да, Алипий! Но к Богу так трудно пробиться! Или Он даст узнать Себя таким, какой Он есть, каким Он должен быть; или найти Его никогда не удастся...»

Пришел врач. Болезнь оказалась серьезной, и с каждым днем состояние больного ухудшалось. Этому содействовали причины как физического, так и психологического свойства. Заболевание

органическое (были затронуты легкие и бронхи), развивающееся на фоне общего переутомления организма. Дух же Августина пал ниже плоти: до крайности утнетенный, он не сопротивлялся недугу: все в Августине ожидало смерти. «Не оставь Адеодата...» — попросил он Алипия.

Естественно, занятия в школе прекратились. Но Августина окружили самой внимательной заботой. Алипий ни на мгновение не отходил от него, а как-то раз навещил больного и Симмах, который общался с ним очень тепло и придал ему бодрости. Он же распорядился прислать к Августину лучшего врача в Риме.

Прочие гости Констанция, «избранные» и «аудиторы», после известной ссоры почти в полном составе покинули его дом. Сам Констанций, этот богатый, не очень образованный холостяк, стремившийся своим богатством возместить прорехи в образовании, по-настоящему печалился о болезни Августина и с радостью оказывал ему всяческую помощь. Но лучшим лекарством для Августина была дружеская любовь Алипия.

Болезнь была долгой, улучшения сменялись опасными кризисами. «Настигла меня плетью своей телесная болезнь; я уже шел в ад, обремененный грехами...» — вспоминает Августин. Никакого человеческого утешения, никакого утешения верой... «Лихорадка моя становилась все тяжелее; я уходил и уходил в погибель». Чувство вины за недостойный побег от матери угнетало его. Угрызения совести не оставили бы его и после смерти; он уже, до времени, пытался измерить скорбь Моники в том случае, если бы ей довелось узнать о его кончине. «Если бы такая рана поразила сердце моей матери, она никогда бы не оправилась... Я не знаю, как могла бы она оправиться, если бы в самой глубине любви своей была она пронзена такой смертью моей...» «Мать не знала о моем недуге, но молилась в отсутствии. Ты же, Господи, присутствуя везде, услышал ее там, где была она, и сжалился надо мною там, где был я: телесное здоровье вернулось ко мне...» «Итак, Ты исцелил меня от этой болезни и спас сына служанки Твоей, пока еще только телесно, чтобы было кому даровать спасение более действительное и надежное» («Исповедь» V, 9, 16 след.).

МИЛАН, ЕГО ДАМАСК

Однажды, прекрасным утром в начале лета 384 года Алипий, придя на службу, нашел у себя на столе записку от префекта Симмаха, который просил его зайти. Алипий тут же поспешил во дворец городской Префектуры. Его провели к Симмаху незамедлительно, поскольку он был в этом доме своим человеком.

Симмах сразу огорошил его вопросом: «Как себя чувствует Августин?».

«Он каким-то чудом поправился...»

«Дело в том, что у меня для него есть предложение, и по моему, такой случай упускать нельзя...»

«Что за предложение, Симмах?»

«В Милане, в Публичной школе, освобождается кафедра ораторского искусства, и Императорский двор просит меня подыскать на это место достойного ратора...»

У Алипия загорелись глаза. Симмах продолжал: «Это очень почетная и хорошо оплачиваемая должность, и я подумал, что Августин как раз тот человек, который должен ее занять. Знаешь, в Милане пребывает Императорский двор, и глава кафедры ораторского искусства — большая величина. Он является также официальным оратором Двора, именно он берет слово во время самых важных церемоний, ну, например, чтобы произнести панегирик императору в день его рождения...».

«А уж Августин с этим блестяще справится...»

«Ну и к тому же это даст ему возможность... как бы это выразиться? сменить обстановку, подышать другим воздухом. И не только в буквальном смысле! У меня такое впечатление, что Августину в Риме как-то не по себе. Рим всегда Рим, но он уже не тот, что в прежние времена. Слишком много трений, сталкивающихся интересов! Блеск древних культов, классическая культура...» — на последних двух словах он сделал ударение; — «Дамас из Рима, Амвросий из Милана... Ничего не поделаешь, Двор прислушивается к ним и исполняет их желания; новые времена и

воззрения берут верх. Алтарь Победы, тот, который стоял в курии,— несмотря на все мои речи в его защиту, обращенные к Милану...— пришлось разрушить. Спорить нечего: люди, достойные всяческого уважения,— и с той, и с другой стороны. Этот иллириец, священник Иероним,— вне всякого сомнения, знаток литературы и сам хорошо пишет. Да и Дамас, испанец Дамас, тоже... В общем, Милан это нечто совсем непохожее на Рим. Милан — истинная столица. Там ведь еще и епископ Амвросий! У меня с ним хорошие отношения, мы переписываемся, он меня уважает... Какой же сильный человек! Блестящий оратор, политический деятель... Не понимаю, как все это кончилось епископством! Впрочем, если в такие времена, какие мы сейчас переживаем, есть человек, пользующийся авторитетом, это никому не мешает, пусть даже взгляды его отличаются от моих. Настоящая опасность сейчас — варвары. Тому, кто в наше время знает, как заставить народ себя слушать, удастся навести хотя бы небольшой порядок. Как бы там ни было, такой ритор, как Августин, может не то, чтобы стать соперником Амвросию, но во всяком случае показать, что не только тот является столь значительной фигурой.

«Симмах, Августин — необыкновенный человек!»

«Вот именно, и, говоря «подышать другим воздухом», я употребляю это выражение и в прямом смысле. Воздух точно будет другим, но не обещаю, что он там не встретится с арианами*, которые есть и в Милане. Ох уж эти последователи Христа, носители единства и любви к ближнему! Клянусь Юпитером, они только и делают, что поносят друг друга. В древности верующие дружно поклонялись богам в самых разных частях света... Да, так вот я имел в виду и просто воздух, которым дышат легкие... Там полно зелени, горы, озера... Есть у меня в тех краях один знакомый, школьный учитель по имени Верекунд. Он обзавелся виллой в одном местечке вдали от города. Называется оно Кас-сициак, там еще стратегический пост и воинские поселения... Место райское. Хороший воздух будет полезен Августину. Ну так что, согласится он, по-твоему?»

«Он уже согласен, Симмах, я могу за него ответить! Мне только нужно знать: предложение окончательное или могут быть какие-то затруднения?»

* В оригинале Симмах каламбурит: «воздух» по-итальянски «ага», а «ариане» — «Ariani» (прим. перев.).

«Нет, нет! Здесь решаю я... Он должен будет пройти испытание по риторике — чтобы соблюсти формальности — но все зависит только от меня.»

Так летом 384 года Августин и Алипий стали готовиться к переезду в Милан. И полагаю, что Августин начал получать чисто человеческое удовольствие от своей новой академической должности, когда узнал, что для путешествия из Милана в Рим ему будет предоставлен, в качестве почетной привилегии, удобный государственный экипаж (*evectio publica*).

Узнав от Алипия о предложении Симмаха, сдав префекту экзамен по декламации, Августин сам принялся хлопотать о скорейшем отъезде. В частности, этот переезд избавлял его от манихеев, с которыми он решил больше не иметь ничего общего.

Симмах поздравлял себя с успехом: он был рад, что в лице Августина обрел человека, полностью отвечающего требованиям Двора. Благодаря тому, что он выбрал Августина, его будут считать дальновидным чиновником, умеющим безошибочно подобрать нужного человека на нужное место. А для государственного деятеля это немалое достоинство.

Так что ему и в голову не могло прийти позволить Августину с Алипием отправиться в путь пешком или путешествовать «лошадь-стопом». У государства пока еще хватало почтовых повозок и парных упряжек! Итак, в дорогу — в экипаже! Весьма вероятно, что они ехали сначала по виа Фламиния до Римини, а затем по виа Эмилия до Пьяченцы, откуда было уже легко добраться до Милана. Но, может быть, они выбрали другой маршрут: по виа Кассия (т. е. по прямой) до Ареццо, Флоренции, и дальше до пересечения со все той же виа Эмилия. В общей сложности около 600 километров, с остановками (*mansiones*) и сменой лошадей (*mutationes*). Примерно неделя пути.

Тогдашний миланский «свет» отнесся к новоприбывшему Августину с симпатией и любопытством: молва о профессиональных достижениях молодого ритора опередила его. Последовали визиты вежливости в дома дворцовых сановников, коллег по Публичной школе, семей учащихся — интеллектуальной элиты, будущих государственных чиновников. И, наконец, встреча со знаменитым епископом!

Конечно, любопытно было бы узнать, как Августин прочел вводную лекцию своего курса в начале учебного года, но об этом

мы можем только догадываться... Интеллектуальный поиск как овладение культурой и приобщение к ней других, наслаждение красотой, но вместе с тем и жажда истины,— вот от чего Августин не отказывался никогда, что бы ни происходило в его богатой событиями жизни, кем бы он ни был — неверующим или убежденным христианином, послушником или монахом, мирянином или священником и епископом. Горячий почитатель диспута, он ведет его прежде всего с самим собой. Диспут для него — учтивый идейный спор с предполагаемым или реальным оппонентом. Как он полагает, чтобы совместно найти *истину*, необходим *диалог*, а значит — некий совместный путь, *дружба*. Культура, которая не ставит себе целью умственный и духовный рост, для него не более чем «бессмысленная суета», «погоня за этим ускользающим миром», «быстротечная забава», «любовь к грязной наживе, пачкающей руку, которая ее берет» (ср. «Исповедь» V, 12, 22). Эти определения он дал позднее, но ощущал все это и в те времена.

Августин начал осваиваться в новой обстановке. Он понимал, что на сей раз исправляет должность государственную и постоянную. Она сулила ему обеспеченное спокойное будущее. Если бы он и покинул ее когда-либо, то только для того, чтобы занять должность еще более высокую и престижную. Он мог стать префектом, послом...

Правда, ему не давали покоя его сокровенные мысли... Что-то упорно теснило душу, словно невидимые тиски,— в каком-то ее уголке, в самой животворной ее части... Да, успех, материальная независимость, друзья... Дружба! Он вдыхал ее, как свежий воздух... Но вот эти тиски... Истина, которую так и не удастся найти! Он старался утвердиться в своем новом убеждении: нельзя найти истину, ибо нет возможности искать ее...

Среди множества теорий академическое сомнение имело высокое право именоваться философией, потому что эту теорию поддерживали философы.

Его неотступным преследователем был Бог...

Что это за влюбленный в него дикий зверь, впивающийся ему в горло, но оставляющий в живых? Кто ты? Какое ты? «Мне кажется великим позором верить, что Ты имеешь человеческую природу и заключен в пределы, ограниченные нашей телесной оболочкой... И все же, желая представить себе Бога моего, я не

умею представить себе ничего иного, кроме телесной величины! Разве может существовать что-либо бестелесное? А зло? Темная, бесформенная величина — то плотная, как земля, то редкая и тонкая, как воздух, некий злой дух, ползающий по этой земле...» (ср. «Исповедь» V, 10, 19—20).

Когда-то Августин принялся изучать Святое Писание... Но сразу же отбросил его, как нечто уже по своей форме недостойное человека образованного и начитанного... Конечно, он размышлял о христианской вере как о некоей гипотезе. Таинственная, безотчетная притягательность этого имени — Иисус — снова волновала его...

Манихеи включали в свое дуалистическое мировоззрение идею Христа: по их представлениям, Он, подобно искре, исходит из самой светлой части вещества Бога, но затем оскверняет себя соприкосновением с темной материей — становясь человеком, который есть плоть, оскверненная грехом... Ну и, разумеется, ни о каком рождении от Непорочной Девы и речи быть не может... Сказать «Мария» для них все равно, что сказать «женщина»... Воплощение! Воплощение есть *осквернение*. Чистый рационалист, каким ощущал себя Августин, не может принять некоторых догматов.

Как историк (а он обладал особым историческим чутьем, инстинктом) он не мог не ставить перед собой вопрос об Иисусе в историческом плане. Он не был до такой степени рационалистом, чтобы отвергать Его историчность. Но вместе с тем он говорил: «Христос — Муж исключительной мудрости, с которым никто не может сравняться; полностью человек, человек истинный, которого следует предпочесть всякому другому. Но — по великому превосходству Его человеческой природы и более совершенному причастию к мудрости — а не потому, что Он есть воплотившаяся Истина» (ср. «Исповедь» VII, 19, 25).

Придет день, когда он сумеет диалектически отомстить манихеям за то, что они внушили ему, будто Дух Святой осенил не непорочную жену, а ком *нетронутой земли*, из которой вырос Христос, как какой-нибудь гриб. «Полагать недостойным Его рождение от Жены Непорочной, на том основании, что нет ничего более нечистого, чем плоть: какое безумие! Не грязнее ли почва, удобряемая и поливаемая мерзкими водами клоаки?» («Против Фавста» XX, 21).

Что же касается скептицизма, мирозерцания, к которому подвели его парадоксы манихейства, то, как мне кажется, это был некий неестественный выверт, нечто не основанное на глубокой убежденности; плод лени или усталости от тяжелого духовного поиска.

Тем временем в Африке, в Карфагене и в Тагасте, все шире распространялось известие о его назначении на должность преподавателя миланской Школы. Соотечественник, снискавший удачу. Сомнений в том, что успех действительно достигнут, ни у кого не возникало, и теперь они могли этим успехом гордиться. Старым друзьям захотелось навестить его.

Первым из них стал Небридий, которого в своих воспоминаниях Августин награждает эпитетом «кроткий». Он родился и жил в деревне, недалеко от Карфагена, и часто приезжал в африканскую столицу, где и познакомился с Августином во времена его учебы в университете. Мы помним, как он предоставил своему беспокойному другу аргумент против манихейского учения. Правда, впоследствии он и сам попал к ним в сети, но разуверился в их доктрине чуть позднее Августина.

Для Августина он становится, вместе с Алипием, ближайшим единомышленником: «Нас было трое голодных, дышавших воздухом общей нищеты, «ожидая от Тебя, чтобы Ты дал им пищу во благовремение» («Исповедь» VI, 10).

Должно быть, Августина тронуло стремление Небридия воссоединиться с ним в далеком Милане: «Небридий оставил родину, нашедшуюся по соседству с Карфагеном, и самый Карфаген, где он постоянно бывал, оставил прекрасную отцовскую деревню, оставил родной дом и мать, которая не собиралась следовать за ним, и прибыл в Медиолан только для того, чтобы не расставаться со мной в пылком искании истины и мудрости» («Исповедь» VI, 10, 17).

А потом пришла очередь совсем юного Лиценсия, сына Романиана, которому Августин был весьма обязан за возможность получить образование. Юноша приехал вместе с отцом. Теперь Августин мог отплатить ему добром: он принимает Лиценсия в свою Школу.

Ровесником Лиценсию был Тригений, проходивший в Милане воинскую службу и временно оставивший, в связи с этим, учебу.

Подъехали еще два двоюродных брата Августина, Ластидиан и Рустик.

Составилась маленькая африканская колония, этакий двор при выдающемся профессоре!

В Милане он нашел и новых друзей. Особое место среди них принадлежит Верекунду. Он тоже был преподавателем, этот любитель удовольствий и весельчак, обладатель загородной виллы, знаменитой виллы Cassiciacum. Августин, гостя в этом доме, обесмертит и Верекунда, и его виллу.

Алипий открыл в Милане юридическую консультацию, а Небридия Верекунд взял себе в помощники по школьным делам. Все усердно трудились, каждый на своем месте: кто преподавал, кто учился, кто успешно справлялся с запутанными делами. Но свободные часы они проводили вместе — в мирной беседе.

Конечно, Августин нашел в этом общении отдушину; радовали его и отношения с коллегами по академической Школе и с учениками. Они с восторгом и интересом слушали его лекции и, в любом случае, весьма отличались от карфагенских или римских студентов.

И все же в иные моменты никакое дружеское общение и никакая увлеченность работой не могли укрепить его и избавить от уныния и чувства одиночества.

Но вот наконец Августина разыскали самые близкие: мать, подруга и сын Адеодат. Они приехали в Милан поздней весной 385 года, вместе с братом Августина, Навигием. Морской переход оказался весьма тяжелым. Возможно, они следовали не совсем обычным маршрутом: Африка, Сардиния, Рим. Корабль сильно качало, и даже сами моряки сильно беспокоились. Но Моника утешала их, не сомневаясь в благополучном исходе путешествия (ср. «Исповедь» VI, 1). «Сильная своим благочестием, она последовала за мной по суше и по морю, уповая на Тебя во всех опасностях...» (там же).

Они искали Августина в Риме, и, не найдя его там, сразу же проследовали в Милан, в полной уверенности, что уж там-то его обнаружат.

О том, как прошла его встреча с матерью, и какой у них был разговор, рассказал сам Августин.

«Я больше не манихей...»

«Я этому рада, но ты меня не удивил... Я так и думала. С твоим-то умом, дать себя запутать этим обманщиком! Ты больше не манихей. А что же ты такое?»

«Я сын некой Моники!»

«Даже если бы ты умер, у меня хватило бы любви, чтобы воскресить тебя...»

Своей подруге, сжимая ее в объятиях, Августин говорил пылко и нежно: «Если бы ты знала, как много я мечтал о тебе...» Августин утверждает, что соблюдал верность этой женщине. Если это действительно так, и если принять во внимание, что он, безусловно, ее любил, то никакой загоревшийся в нем огонь плотских желаний не может обесценить подвиг столь длительного воздержания...

И наконец, встреча с Адеодатом! Он долго прижимал к груди чадо плоти своей. Это был уже четырнадцатилетний юноша, переживающий пору возмужания, над чем Августин немного подшутил, заметив пушок у него на щеках; он получил от сына быстрые и разумные ответы на свои вопросы и порадовался этому... От тела Адеодата исходил аромат спелой пшеницы.

Монике было хорошо в Милане. До людей веры, неизвестно как, доходят некоторые сведения, имеющие отношение к вере. Возможно, узнав, где находится сын, она нашла какого-нибудь священника, чтобы справиться: «А кто в Милане епископ?» «О, это замечательный человек, ученейший муж, его зовут Амвросий...» Может быть, в сердце своем она уже сочетала эти два имени, Августин и Амвросий. И с первых же дней пребывания в Милане ей очень хотелось познакомиться с епископом. У нее было к нему так много вопросов... Например, о проведении поста: должна ли она, чужестранка, соблюдать амброзианское правило, или римское, действующее в Африке.

«В Риме по-субботам — пост, в Милане — нет!» — ответил Амвросий.

Но может быть, это был только предлог; возможно, на самом деле, она хотела поговорить с ним только об Августине, в надежде на то, что Амвросий, который, уж конечно, не боялся перепалок с неверующими, не ответит ей, как тот, другой: «Иди, иди! Не нужен священник, чтобы обращаться, там, где есть мать-молитвенница...». А к самому Августину она теперь не так уж и приставала с этими разговорами...

А женщина из Карфагена, подруга Августина, изменилась ли она за без малого два года одиночества? Она все чаще бывала задумчивой и грустной... Женщина умная, она постоянно помнила о своем происхождении (в те времена ее сословие именовалось «рабским»), и догадывалась, что карьера возлюбленного, его нынешнее высокое положение воспрепятствуют религиозному и гражданскому закреплению их союза.

Но для Августина, еще столь далекого от осиянности иной, таинственной «Красотой», эта его молодая подруга пока вполне могла воплощать идеал человека, отвечающий даже высоким требованиям философа: «Не пленяет ли тебя порой мысль о красивой, верной, образованной женщине; или, по крайней мере, о такой, которой ты сам мог бы с легкостью дать образование?» («Монологи» I, 17).

Теперь в этом миланском доме, окруженном садом, Августину было очень спокойно — рядом с семьей и друзьями.

АЛЛЕГОРИЯ БУРИ

Августин посещал Манлия Теодора, миланского политического деятеля, который в 399 году вступил в должность консула. Он был «образованный христианин», философ-неоплатоник, любивший предаваться молитвенным размышлениям в тиши своего загородного поместья.

Мы можем воспроизвести картину душевного состояния молодого ритора благодаря признаниям, которые он сделал этому человеку. Мы бы назвали его рассказ «Аллегория бури»; в нем слышится Шестая симфония Бетховена, запечатлевшего в музыке грозу.

Итак, по представлениям Августина, составляющие человеческого в поиске истины и обретении блаженства, таковы.

Жизнь это море, не для всех одинаковое. Воды его спокойны, они зовут тебя в путь, прочь от родины и надежной гавани. Но спокойствие это всегда обманчиво. Внезапно поднимается буря, и ты тонешь среди вздымающихся волн; или, по воле случая, те же волны выбрасывают тебя на берег после кораблекрушения.

Человек, удаляющийся от родины, прельстившись обманчивым видом моря, даже если избегает штормов, все равно несчастен. И ему можно все же пожелать по-настоящему жестокой бури, которая не всегда оборачивается непоправимой бедой: ведь иной раз она силой выносит тебя на твердую землю.

Другие отважно пускаются в плавание с намерением уплыть далеко. Но при первом же признаке бури они уstraшаются и в испуге устремляются обратно в гавань. И в этом их спасение.

Есть и третий род мореплавателей: эти находятся в открытом море и борются с валами, высматривая далекий маяк, указующий на милую отчизну, или, если туман укрывает от них этот свет,— отыскивая в небе путеводную звезду. Иные, обольстившись соблазнами, еще больше задерживают свое возвращение.

Бурю принято считать несчастьем. Однако, есть и спасительные бури — те, чья неистовая сила возвращает тебя на берег целым и невредимым.

У «аллегии бури» может быть и иной эпилог, таящий страшную опасность. Вот, уже перед самой гаванью, вздымается из прибрежных вод огромная скала, гора, ярко освещенная солнцем и поросшая пышной и пестрой растительностью. Она так и зовет возвращающихся путников пристать на время, оборачиваясь в их глазах землей истинного блаженства. Как манящи эти высоты, с которых открываются прекрасные виды и с которых столь приятно с презрением смотреть на остальных. Но гора эта изрыта глубокими пещерами; почва здесь ненадежна: идущего по ней она может внезапно поглотить, навсегда лишит виднеющейся невдалеке прекрасной родины.

Эту «аллегию бури» Августин рассказывает в диалоге «О жизни блаженной» (книга I, глава 1) Манлию Теодору. В «аллегии» нашло отражение духовное состояние Августина в 385 году. Мореплаватель, попавший в шторм, это он сам. Он борется с бушующими волнами и, не прекращая борьбу, в отчаянии ищет глазами маяк, звезду, какой-нибудь свет, который мог бы указать ему путь к спасительной гавани.

Он же и спасшийся после кораблекрушения, и покоритель прельстительной горы, превозносящийся перед другими, предупреждая их, вместе с тем, что «нелегко сюда подняться», «чтобы они не приобщились к этой преходящей славе». Есть гордцы, которым так дорого их высокое положение, что они, делая из себя чуть ли не апостолов, показывают другим истинный путь к стране счастья, месту безмятежного покоя, — лишь бы остаться одним на завоеванной высоте. Это завистники, рядящиеся в одежды человеколюбцев.

В своем «дневнике» Августин, окидывая мысленным взором прожитые годы, пишет: «Я припоминал, как много времени прошло с моих девятнадцати лет, когда я впервые загорелся любовью к мудрости и предполагал, найдя ее, оставить все пустые желания, тщетные надежды и лживые увлечения. И вот, мне уже шел тридцатый год, а я оставался увязшим в той же грязи, жадно стремясь наслаждаться настоящим, которое ускользало и рассеивало меня» («Исповедь» VI, 11).

Он шел без цели, то поверив во что-то, то горько разочаровываясь... Он опять взял в руки Священное Писание: «И вот уже то, что казалось нелепым в церковных книгах, вовсе не нелепо!» («Исповедь» VI, 11). Он замечал уже, как много интересных путей ведут к Церкви, но бесовская леность закрывала их от него. «Я не могу пойти к Амвросию; мне некогда читать. Где искать книги? Откуда и когда доставать? Нет, надо все-таки распределить часы, выбрать время для спасения души» (там же).

Каждое из этих обстоятельств вставало перед ним непреодолимой стеной. Он пытался сам себе отвечать: «Утренние часы заняты у меня учениками, а что делаю я в остальные? Почему не заняться этими вопросами? Но когда же ходить мне на поклон к влиятельным друзьям, в чьей поддержке я нуждаюсь? Когда готовиться к урокам, которые покупают у меня ученики? Когда отдыхать самому, отходя душой от напряженных забот?» (там же).

Однажды Августин беседовал с Романианом и Верекундом. У Верекунда родился план: «Почему бы нам не оставить опостылевшие заботы и не основать свою маленькую... как бы это сказать?... цитадель свободной мысли. Жить в дружбе! Все общее, философствовать, философствовать, размышлять, и извещать всех о своих выводах...»

«Это было бы необыкновенно хорошо,— сказал Августин.— То, чего иные уже достигли,— Литературный или Философский досуг...»

«Я бы не прочь,— сказал Романиан,— но вот пойдут ли на это наши жены?» (ср. «Исповедь» VI, 14, 24).

Так, в дружеских беседах и школьной работе (в Школе все шло прекрасно: это была часть его повседневной жизни, в общем-то независимая от остального существования), в стремлении освободиться, в лености воли, не дающей этого сделать, и в растущей тоске, он начинал угадывать приближение бури... Одной из тех бурь, которые особо чувствительным натурам дано чувствовать заранее; не тех, которые носят по волнам неподвижные трупы, а тех, что остервенело набрасываются на живых, потерпевших кораблекрушение, но продолжающих бороться. Августин шел не таким путем, на котором, по мере приближения к свету, ночная тьма отступает. Чем ближе он подходил к некоему свету, тем тьма становилась гуще, удушливее, «грозовее»... Описывая свое тяжкое душевное состояние, он говорит о «волнении

мыслей», о «путях», о том, как «мучилось родовыми схватками сердце». «Как стонало сердце мое, Боже мой, как стонало!» (ср. «Исповедь» VII, 7, 11).

И тогда из глубин души его исторгся вопль: «Прочь всё!».

Все яснее ему становилось, что нужно попробовать, хотя бы попробовать встать на путь кафолической веры: «Почему бы не начать снова с первой ступеньки лестницы, возможно, ведущей к истине, куда еще ребенком поставила меня мать?»

Пессимистичному «прочь всё!» он противопоставлял показной оптимизм: «Прочь всё? Подожди! И этот мир сладостен, в нем немало своей прелести, нелегко оборвать тягу к нему, а стыдно ведь будет опять к нему вернуться. Много ли еще мне надо, чтобы достичь почетного звания! А чего здесь больше желать? У меня немало влиятельных друзей; если и не очень нажимать и не хотеть большего, то хоть должность правителя провинции я могу получить...» («Исповедь» VI, 11, 19).

Ему так нужно было с кем-то делиться сокровенным. Он избрал для этого двух ближайших друзей, Алипия и Небридия. Алипий удерживал его от женитьбы, утверждая, что этот шаг помешает ему жить в той общине мыслителей, о которой они давно мечтали...

Узнав в юности плотскую связь, Алипий теперь вел себя, как человек, независимый от плотских удовольствий, и это вызывало восхищение у его друзей. Но Августин никак не мог согласиться с такой позицией. Да и не видел он противоречия между удовольствиями семейной жизни и служением мудрости. Сколько выдающимся личностям удавалось мирно сочетать эти стороны жизни! (ср. «Исповедь» VI, 12, 21).

Итак, такие доверительные разговоры иногда умеряли идущую в нем борьбу; но иногда они ожесточали ее. Как же друзьям узнать о разъедающей его изнутри язве, если ему самому не хватало ни времени, ни слов, чтобы рассказать им о ней? (ср. «Исповедь» VII, 7, 11).

Вступая в университетскую должность, Августин посетил епископа Амвросия. Это был не просто протокольный визит. Как и Симмаха (и намного больше, чем Симмаха), он, безусловно, уважал этого человека за его нравственную чистоту и высокую образованность. Ни в какую пору своей жизни Августин не был сектантом, даже тогда, когда примкнул к секте манихеев. И поз-

же, когда общественное мнение распознало в нем ревностного защитника католического учения, и у него было много противников, и он лично подвергался грубым физическим и моральным нападкам, Августин проявлял истинное человеколюбие (не уступавшее его учености) в отношениях с каждым, какого бы учения тот ни придерживался.

Итак, по приезде в Милан Августин отправился с визитами к представителям властей, среди которых был и Амвросий. Рассказывая о том, как он был принят в доме епископа, Августин придумал даже новое наречие: «episcopaliter!». Как же это перевести? «По-епископски?» «Епископально?» Непереводаемо! В этом наречии, которое Августин придумал и записал через десять лет после первого посещения Амвросия, в неизгладимом воспоминании об оказанном ему приеме, словно на моментальном снимке запечатлелись правомочная властность, отеческая любовь, дипломатичность, уважение к другому человеку (ведь и Августин что-то значил для Амвросия!), для которого Амвросиева манера держаться во время встречи стала уроком.

Что же увидел Августин (хотя в тот момент еще не совсем осознанно) в Амвросии как исполнители возложенных на него обязанностей? Он увидел *Церковь*.

Первая встреча этих двух людей, таких людей, при всей своей внешней неброскости, остается весьма значительным историческим событием.

Амвросий, принимающий осенью 384 года совершенно нецерковного африканского ритора (около пятидесяти лет епископу Медиоланскому, ровно тридцать Августину), это тот же Амвросий, который на Рождество 390 года наложит епитимью — прилюдное покаяние на императора Феодосия за трехчасовую резню в ходе бойни при Фессалониках (ср. Амвросий, Письмо L; Августин, «О граде Божием» V, 26).

С первой же встречи Августин полюбил его, просто как благожелательного человека, а не как учителя истины, которого он не надеялся найти в Церкви.

Оставаясь в религиозном отношении скептиком, Августин стал достаточно прилежно посещать беседы с народом, которые Амвросий проводил в соборе св. Феклы. В этих проповедях его прежде всего интересовали их литературные достоинства. Профессору риторики хотелось лично убедиться в справедливости слу-

хов о непревзойденном красноречии епископа. Он внимал цистероновскому построению фраз и пренебрегал их содержанием. Но... Ученая и приятная речь лилась, словно музыка... И вот, исподволь, через форму, содержание начало вливаться в его душу (ср. «Исповедь» V, 13, 23).

В своих катехизаторских беседах Амвросий опирался на то самое Священное Писание, которое Августин отвергал за его варварскую латынь. Вначале он решил, что мысли, излагаемые оратором, *можно защищать*; затем — что отстаивать кафолическое учение *не безрассудно*.

Рационалиста может разочаровать стиль священной Книги, он сочтет его стилем народной сказки. Но Амвросий — несравненный мастер истолкования этого стиля, легкого для простых, трудного для мудрых мира сего. С утра до вечера молитвенно размышляя над Писанием, он подобрал к нему ключ — духовное истолкование, позволяющее распознавать истинное значение аллегорического образа.

Когда Августин сам выйдет на проповедь, он будет строить свои беседы на тех же принципах, что и Амвросий, у которого он научился очень многому. Верно, что проповеди Августина более зажигательны, более рельефны... Но основной метод — тот же самый, какой использовал в своих миланских беседах Амвросий. В епископе Августине виден катехумен Амвросия.

Но разделительная стена стояла крепко. Эта атмосфера, этот епископ, этот народ, с восхищением внимающий ему, это возвешение древних и высоких истин, эти песнопения, для которых Амвросий сочинял стихи и музыку, эта литургия, — животворным дождем орошали иссохшую землю. Но стена не поддавалась!

СВЕТ ПЛОТИНА

Моника с головой ушла в домашние заботы и уже не беспокоилась об Августине, как в Африке, но время от времени всматривалась в его лицо по-матерински испытующим и понимающим взглядом. В самом деле, ей тоже казалось, что стена в душе сына пока не поддается. Но она ни на минуту не сомневалась, что эта стена падет. Уверившись в этом, она только, как бы издали, следила за ситуацией и была готова посильно участвовать в ее счастливом разрешении. А Августин, со своей стороны, уже не решался высокомерно пренебрегать ее верой, как чем-то недостойным мыслящего ума.

Менее нерешительная и занятая, чем сын, Моника, по крайней мере, дважды в день ходила в церковь, и могла видеть и слышать Амвросия, когда хотела. Представим, как она слушает епископа, а где-то рядом стоит Августин — в те дни, когда он бывал на проповедях Амвросия. И, в то время как сын обращал внимание на форму, она впитывала содержание.

В те времена существовал обычай совершать жертвенные возлияния на могилах мучеников и усопших христиан. Моника по обыкновению понесла на кладбище лепешку и маленькую амфору с вином, но привратник не принял их: Амвросий запретил этот обычай, поскольку он служил предлогом для малопрстойных излишеств. Тогда Моника положила обратно в корзину принесенную снедь и вино: запрет исходил от Амвросия! Августин не без лукавства предполагает, что его мать вряд ли послушалась бы с такой готовностью, если бы запрет наложил кто-нибудь другой.

Великий епископ хорошо знал Моника и относился к ней с уважением. Августин замечает: «У него часто при встрече со мной вырывались похвалы ей, и он поздравлял меня с тем, что у меня такая мать» («Исповедь» VI, 2,2).

Полагающим, что Амвросий был довольно холоден с Августином и почти непричастен к его обращению, мы предложили

бы поразмышлять над тем, с каким тонким тактом этот человек отказывается от прямого и явного воздействия на Августина и проникает в это сердце через мать, догадавшись, как он ее любит. Есть такие священнослужители, то ли более усердные, то ли более наивные, чем другие, которые, общаясь с неверующим, хотят обратить его во что бы то ни стало. Амвросий был не из этих: уж он-то умел вести людей.

Путь был долгим. Поначалу Августин вообще никак не мог поместить в какие-то рамки фигуру Амвросия, который, со своей стороны, не стал ни расточать хвалы прославленному ритору, ни отмежевываться от неверующего. Он просто вел себя, как настоящему благородный человек.

Августин же относил Амвросия к людям удачливым, поскольку его весьма почитали лица, облеченные высшей властью. Это не вызывало сомнений. А еще Августин испытывал к нему своеобразную нежность, когда представлял себе, сколь он одинок в своем безбрачии: как это такой тонкий и просвещенный человек может жить без женской ласки и любви? Но вместе с тем, молодой профессор и не догадывался, какие надежды питал Амвросий, какую борьбу вел против соблазнов своего высокого положения, чем утешался в бедствиях, какою радостью наслаждался он, переживая сердечными устами хлеб слова Божьего (ср. «Исповедь» VI, 3).

Когда Августин внимал в церкви толкованиям Амвросия, и иногда слышал такие фразы, которые словно специально произносились, чтобы что-то разрешить в его сокровенных переживаниях, у него мелькала мысль, что епископ хочет обратиться к нему лично и находит его глазами в том дальнем углу храма, где он прятался, как мытарь. «Неужели он обращается ко мне? Разве это возможно?».

И еще Августин думал: «Он такая значительная личность, что даже втайне не может как-то отозваться на появление в храме первого преподавателя миланской Публичной Школы!» И это огорчало его: «Но мне так хотелось бы, чтобы он знал о бурях, будоражащих душу этого маленького африканца!».

Он знал, что свободное время Амвросий тратит на изучение книг, и в эти минуты не решался беспокоить его, так что нравственное томление не находило выхода, всякое сомнение у него пропадало, и блестящий ритор почитал себя несчастным; самым

несчастливым во всем Милане! Как тот, у кого есть дом, и дом этот вот-вот рухнет, а хозяин не знает, куда бежать.

Интересен рассказ Августина о его попытках переговорить с Амвросием. Судя по этому рассказу, почти всегда святого епископа окружал народ; причем не только во время литургии, но и когда он уединялся для чтения и молитвенных размышлений. Его комната для занятий, должно быть, находилась рядом с апсидой, и дверь ее никогда не закрывалась. Всякий, входящий в церковь, видел этого человека, склонившегося над рукописью.

Августин входил и тихо-тихо подбирался поближе. Его обычно опережал кто-нибудь из желающих побеседовать с епископом. Другие, подобно Августину, ждали... Иногда — «толпы людей», — свидетельствует он. И это было серьезной помехой для разговора: зачем еще больше утомлять такого занятого человека?

А если все же Августин заставлял Амвросия одного (наконец-то подходящий случай!), ему казалось, что епископ так погружен в чтение, что и не замечает посетителя, замершего у дверей, подобно стыдливому нищему... Будь его воля, он бы закричал, но и вздохнуть не осмеливался. Все так же на цыпочках пятился, скрывался из вида и в разочаровании выходил из комнаты.

Как известно, некоторые неверующие очень тянутся к служителям Церкви; культурные, образованные неверующие — к культурным и достойным священнослужителям...

Дома Августин, размышляя об Амвросии, особенно поражался его глубокой сосредоточенности. «Конечно, дело здесь в Библии! Для него в ней, должно быть, сокрыты золотые копи!» И вот уже сам Августин вновь берет в руки эту книгу. И было это, если воспользоваться его собственным сравнением, как будто он обнаружил покои, наполненные прекрасными произведениями искусства, во дворце, который прежде он презирал за неуукрашенный, простой фасад. Его потрясало содержание Посланий апостола Павла.

В его душе перемешивалось старое и новое, словно пары, которые собираются в тучи. Приближение бури ощущалось все явственнее.

Не решена проблема Бога. Он не вступал больше ни в какое общение с манихеями, но эти их туманные идеи о боге, заме-

шанном на тонкой материи, еще не совсем рассеялись у него в голове.

И нравственная проблема, связанная с его клокочущей чувственностью, была далека от разрешения. Друзья, которые, из любви к нему, хотели ему помочь, только усложняли его положение. Алипий отговаривал его от вступления в брак. Некоторые другие, наоборот, всячески его к этому побуждали. Но все без исключения, принимая во внимание продвижение по службе, которое поставило его вровень с виднейшими людьми той эпохи и могло принести ему новые почетные должности,— все без исключения настаивали, правда, сдержанно, что он должен бы приискать себе подругу из хорошего дома, приличногословия ... И это добавляло немало человеческой горечи ко всем его неразрешенным проблемам.

Вместе с тем, он старался не отягощать своими переживаниями других, и в первую очередь, друзей и родных. Более того, он заставлял себя выглядеть беззаботным, но это совершенно не соответствовало его внутреннему состоянию, и в глазах той, которой все в нем было небезразлично, эта беззаботность выглядела неумелым двуличием.

Пошел второй год его преподавания на миланской кафедре. Осень укорачивала дни, все раньше наступали вечера, все дольше тянулись ночи. А эти сырые ломбардские туманы... Нечто непостижимое для африканца!

Он шел и шел по своей внутренней тропе, нескончаемой, как эти осенние ночи: одинокий путник...

И все же кто-то следовал за ним по пятам... и это еще сильнее обостряло его страх, потому что никого не видел он, а в ночной тьме и теней нет. Но размеренные таинственные шаги у себя за спиной он слышал.

И вдруг, совсем неожиданно, перед его сердечными глазами заблестал новый свет.

Манлий Теодор дал ему почитать несколько философских книг популярного среди ученых людей направления. Это философское течение опиралось на идеи Платона и именовалось неоплатонизмом.

Плотин, родившийся в 205 году н. э. и окончивший свои дни шестидесятипятилетним в италийской Минтурне, был основателем неоплатонизма. Один из его учеников, Порфирий, широко

распространил его учение, написал биографию и опубликовал его произведения, разделив их по темам на шесть групп по девять сочинений в каждой: «Эннеады». Об учителе он сообщает, что «ему было неприятно носить собственное тело», а также, что он не ел мяса, не принимал лекарств, не посещал бани; ему делали массаж каждый день, пока его физиотерапевты не умерли от чумы. И еще его мучали колики (ср. Порфирий, «Жизнь Плотина» I, 1—3). Кроме того, Порфирий рассказывает, что когда однажды он хотел покончить с собой, Плотин удержал его от этого: «Не сходи с ума!»,— сказал учитель. «Как? Тебе же так досаждают тело, ты бы должен радоваться, что я желаю от него избавиться из любви к душе...» «Но причем здесь душа?! — удивился философ.— У тебя просто печень не работает. Поезжай на Сицилию и подлечи ее...» Порфирий повиновался и излечился от общей подавленности. Но за дальностью расстояния он не сумел оказаться рядом с Плотин-ном, когда тот испустил дух (там же II, 11).

В ту пору Августин прочитал только часть «Эннеад» в переводе риторика Мариа Викторина. С остальным он познакомится позднее. Радостное открытие!

Учение Плотина имело много общего с христианскими представлениями о Боге: Плотин говорит об абсолютно духовной природе Бога, рождении Слова, тринитарном строении Божества, человеческой душе, осиянной божественным светом.

Но у него ничего не говорится о воплощении Слова и об его человеческом уничижении ради искупления мира (ср. «Исповедь» VII, 9, 14). Идеалистический рационализм!

Почему мы не можем не называться христианами? — вопрос Бенедетто Кроче. Потому что христианство это *реальное вочеловечение* Слова, потому что христианство это *искупление* в *соблазне* и в *безумии* креста, в котором жизнь одолевает смерть. От неполноты истины берет начало непоследовательность и той частичной истины, которая содержится в учении Плотина: в неоплатонизме сохранялись остатки идолопоклонства и политеизма. Но и то небольшое, что было в этом учении от истины, произвело большое впечатление на бывшего манихея-материалиста, и тогда этого хватило, чтобы придать внутреннему настрою Августина устремленность к Богу и Его Слову.

Однажды поздним зимним вечером Алипий зашел к Августину домой, поздоровался с его подругой и с Моникой. Адеодат

уже спал, и мать мальчика на минутку провела Алипия в комнату юноши, взглянуть на забавную и милую позу спящего.

Несмотря на суровое время года, в доме было тепло и уютно. Едва приподняв глаза на друга, который появился на пороге комнаты для занятий, Августин вновь погрузился в чтение, но не забыл приветливо поздороваться: «Алипий, дорогой!»

«Как дела?» — спросил Алипий.

«Посмотри, какая находка! — ответил Августин, указывая на рукопись. — Ты никогда не слышал об «Эннеадах» Плотина?».

«Кто дал тебе эти книги?» — поинтересовался Алипий.

«Манлий Теодор. Он вообще-то немного кичится своей образованностью, но у него хорошее чутье на книги. Я должен быть ему благодарен за эту подсказку. Я просвещаюсь, Алипий! Ты, наверно, считаешь, что я склонен к преувеличениям и вообще какой-то неугомонный...»

«Ничего я не считаю..., — отозвался Алипий. — Ты ведь знаешь, как высоко я ставлю твою нравственность, как почитаю твой гений...»

«Не льсти мне, Алипий! Будь я даже гением, этого гения унижает страсть...»

«Я решил не жениться, но если бы женился ты, я, вполне возможно, изменил бы свое решение и пошел по твоим стопам...» (ср. «Исповедь» VI, 12, 22).

«В эту минуту не о женитьбе я думаю, поверь. После того, как я прочел эти книги... не знаю, право, что со мною... Мне уже случалось прежде не понимать, что во мне происходит... Ты ведь помнишь, как много мы размышляли о Боге, как истово, будучи манихеем, отстаивал я материалистические представления о Его природе: материя остается материей, даже если она тончайшая... А отныне у меня нет сомнений, что Бог — сущность исключительно духовная, что Он живет Своей внутренней жизнью, что светом Своим Он озаряет человека изнутри... И вот, это Слово, о котором говорят платоники, эта душа Бога, странным образом напоминает начало Евангелия от Иоанна... Внутренняя жизнь, Алипий! Вот что открывается мне. Внутренняя жизнь и для нас тоже. Какой-то голос говорит мне: «Не уходи из себя, вернись в себя, во внутреннем человеке обитает *Истина*!». Скажи, может быть, я слепец, бредущий вслед за призраком света?...»

«Как же не верить тебе, Августин?»

«Я вижу, Алипий, глазами души моей, как бы ни были они замутнены, где-то над этими самыми глазами... не знаю, как объяснить тебе, Алипий!... ну, над разумом моим — понимаешь? — вижу свет... свет неизведанный прежде! Неизменный, немеркнувший, ярчайший! Нет, это не тот свет, который все мы видим глазами плоти, и не более сильный, но той же природы, пусть даже яркий, как солнце! Не этот свет! Другой, совсем другой! Это таинственный свет, Алипий! И еще я чувствую, что все мое существование связано с этим таинственным светом: из него я сделан! Как будто я впервые переживаю миг творения... словно ощущаю мгновение, когда меня еще нет и вот я уже есть... из ничего в бытие, мгновение, в котором не знаю, чего больше — огня или сияния... Свет этот высший, ибо он создал меня, а я стою ниже, ибо создан им. Свет Истины, свет Любви, свет Вечности... Он исторгает из груди моей вопль... песнь: О, ВЕЧНАЯ ИСТИНА, ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ, ЛЮБИМАЯ ВЕЧНОСТЬ» (ср. «Исповедь» VII, 10, 16).

В глазах у него стояли слезы. Алипий смотрел на него пристально и замороженно...

Чтение Плотина превратилось для Августина в крещение внутренним светом.

Непостижимый Господь!

Мысль, избавленная от ощущаемого...

Любовь, избавленная от чувственности...

Восторг соединения с ЕДИНЫМ!

Плотин просвещает Отцов Церкви? Василий Великий (330—379) обращается к его наследию и, воспользовавшись этими крылами, в своей небольшой работе «О Святом Духе» воспаряет к областям, которые Бог сделал недоступными для человека. Тот же Амвросий прибегает к Плотину, чтобы выразить свою мысль о *восторге* апостола Павла (ср. «Иаков» I, 7, 29) и чтобы определить зло как *отсутствие Добра* (ср. «Исаак» VII, 60). Определение зла как отсутствия Добра окажет большое влияние на Августина, который разовьет этот нравственно-философский принцип.

Но, несмотря на это *озарение*, Августин еще не достиг конца пути.

Бывает иногда, что в небе, плотно закрытом черными грозовыми тучами, в этой мрачной толще, образуется прогалина, сквозь

которую прорывается не солнце во всей своей красе, а лишь лучи его ярчайшего света. И это как бы знамение бури: вот-вот в небесах разразится битва. С таким небесным пейзажем можно сравнить тогдашнее душевное состояние Августина.

И вот однажды, в церкви св. Феклы, у него хватило духа остановить Амвросия и сказать ему: «Моя мать наверняка говорила с тобой обо мне...». Епископ, одетый в ризу, не говоря в ответ ни слова, прислушался. «Я родился у матери, исповедующей кафолическую веру, отец мой умер кафоликом. Я от рождения оглашенный. Вот только теперь не знаю, чем все это для меня кончится... Я бы хотел стать одним из твоих оглашенных...»

Амвросий поднял руку, словно для благословения: жест, исполненный понимания и отеческой нежности. Потом он проговорил:

«Ты знаешь священника Симплициана?»

«Я о нем слышал...»

«Ну вот, разыщи его... пойдя поговори с ним; это тот священник, который тебе нужен...»

РАССКАЗ СИМПЛИЦИАНА

22 ноября 385 года — день, который должен был принести Августину мирскую славу: по случаю десятой годовщины правления императора Валентиниана II профессору риторики миланской Публичной Школы «по штату» полагалось произнести панегирик.

С приближением этой даты, когда ему предстояло выступить в качестве искусного декламатора перед всей миланской аристократией, Августин сумел даже на время отложить в сторону свои душевные тревоги. Разве не это выступление — заветная мечта всякого ревнителя красноречия? «Упиваться собственной велеречивостью, надуваться спесью, декламируя панегирики, даже не с целью научить других чему-то или побудить их к действию, а только для того, чтобы пощекотать уши слушателей» («Христианская наука», IV, 25,55). Он сочинил речь, отшлифовал ее, несколько раз прочитал с соблюдением всех правил декламации у себя дома, перед друзьями, подбирая интонации и мимику...

В назначенный день он отправился ко Дворцу по миланским улицам и переулкам в сопровождении свиты почитателей. Ненастная погода, туман, отсыревшие, скользкие мостовые... Они мерно шагали по ним в какой-то эйфории. «Не волнуйся, делай паузы, время от времени смотри на Алипия...» — напутствовали его друзья.

Когда они свернули с широкой улицы в переулок, какой-то пьяный толкнул Августина и, покачиваясь, весело поздоровался со всей компанией. Августин отметил про себя этот эпизод и промолчал. Но пришедшее ему в голову неожиданное сравнение побудило его обратиться к Алипию, идущему рядом: «Ты видел, как он веселится? Он довольнее нас».

«Нищий пьяница!»

«Знаю, но по-своему он счастлив. Это счастье пройдет уже сегодня ночью, когда его станет мучить похмелье, но ему, чтобы быть довольным, достаточно пары монет на вино... Мы же уже давно живем в постоянном похмелье, ночами, когда спим, и по утрам, когда просыпаемся. Это похмелье тщеславия, если

еще будет чем гордиться...! Да еще с бесконечными заботами впридачу, которых он не знает...»

«Так ты что, предпочел бы быть этим пьяницей?»

«Конечно, нет: я предпочитаю быть самим собой. Но именно то, что мы похожи на него, не дает мне покоя! Он-то просто избрал кратчайший путь и опередил нас. И все это — за пару монет, повторяю. Которые он выклянчил, желая «доброго здоровья» тем, кто ему бросал деньги. Мы гонимся за призраком, Алипий! Мы распространяем ложь! Вроде той, которую я скоро буду красиво декламировать...» (ср. «Исповедь» VI, 6,9).

И лживый панегирик был произнесен. Жаль, что в дошедшем до нас собрании «Древних патериков», сказанных учителями красноречия, эта речь отсутствует. Иначе мы могли бы узнать, какой словесностью Августин угождал сильным мира сего...

Теперь нам придется рассказать о драматическом моменте в личной жизни Августина, к которому привело повышение его мирского «статуса», только это, не что-нибудь иное. *Noblesse* обязывает!

Итак, со всеми своими проблемами, на пороге тридцатидвухлетия Августин добился блестящего и надежного положения. Кто же мог стать ему *законной* подругой жизни? Уже около пятнадцати лет с ним жила женщина, давшая ему сына, горячая любовь к которому спланивала родителей. Но чтобы упорядочить ситуацию, нужно было вспомнить скромный дружеский совет: «С твоим положением в обществе тебе не обойтись без вступления в законный брак. И это должна быть женщина из приличной семьи, которая будет принята в тех кругах, в которых тебе предстоит вращаться». Таково было тогдашнее правовое сознание, более гражданское, чем религиозное, но гражданское право воздействовало на религиозное.

Биографы Августина предпочитают обычно не задерживаться на этом, таком человеческом, эпизоде. Некоторые возлагают всю ответственность за происшедшее на Монику, на ее хитрые уловки.

Нет сомнений, эту мать тревожила судьба сына. Сам Августин говорит: «Меня настоятельно заставляли жениться. Я уже посватался и уже получил согласие; особенно хлопотала здесь моя мать...» («Исповедь» VI, 13, 23).

Анри Ж. Марру, серьезный исследователь творчества и биографии св. Августина и его эпохи, пишет: «Если у кого-то вызывает

удивление, что Моника не настояла на законном закреплении фактического положения вещей, то это лишь от недостаточного знакомства с принципами аристократического устройства римского общества. Такого рода брак (между аристократом и женщиной низкого происхождения) не только мог выглядеть *немыслимым*; он был *юридически невозможен* с общепринятой точки зрения. Императорское законодательство *запрещало* человеку из высших слоев общества жениться на женщине низкого сословия. А именно к нему, несомненно, принадлежала мать Адеодата*.

Итак, речь не идет о том, что Моника навязала сыну свою волю; впрочем, приказ не оказал бы никакого воздействия на Августина, при всей его любви к матери: бесперспективность такого обращения с ним она сполна испытала, пытаясь дать ему религиозное и нравственное воспитание. И никакого цинизма с ее стороны. Монике было в чем упрекнуть себя за давнишние излишества в отношениях Августина с противоположным полом, поскольку это она решила, что для сына спокойные условия для занятий предпочтительнее семейных *дрягг*. Что ж, теперь ей приходилось констатировать, что узаконить его многолетнюю связь с матерью Адеодата невозможно; с другой стороны, она хорошо знала, как слаб Августин перед лицом плотской страсти. В таких обстоятельствах помочь ему найти законную жену было все равно что раздобыть для него парашют. В этом суть ситуации. А вообще можно в действиях Моники отыскать и переклесты, и недостатки: конечно, ее поведение было не совсем безупречным. Она ведь тоже плыла наугад, молясь о том, чтобы Господь в сновидении ниспослал ей добрый совет сыну. Но на сей раз ей ничего не было открыто.

Любимая и подруга, в полной мере сохранив достоинство, вернулась в Африку. Очень скупыми, обжигающими словами Августин рассказывает современникам и потомкам о том, какую боль причинило ему это расставание: «Оторвана была от меня, как препятствие к супружеству, та, с которой я уже давно жил. Сердце мое, приросшее к ней, разрезали, и оно кровоточило...» («Исповедь» VI, 15, 25).

Через шестнадцать веков долетел до нас этот крик боли, выплеснутый на пергамент не по горячим следам, а спустя десять лет, когда Августин был уже епископом.

* Cp. Saint Augustin et l'augustinisme, p. 24.

Но, не удержавшись от крика, Августин заботливо укрывает от посторонних глаз все остальное: мы не знаем, кем была эта женщина, как происходило расставание. Как же уловить черты *Неназванной*, которую мы могли бы назвать безмолвной тенью великой любви, *соперницей Бога* в обольщении этого сердца, алчущего красоты? Конец совместной жизни с Августином обнаруживает в ней самозабвенную преданность любимому. Когда любовь отступает в сторону и соглашается исчезнуть, чтобы не препятствовать восхождению любимого, это не может быть только плотское чувство. Многие дни, должно быть, провели в страданиях эти двое перед расставанием.

«Ты изменился, Августин! Что-то глубоко изменилось между нами с тех пор, как я приехала к тебе сюда в Милан...»

Даже выдающийся человек может не найти нужных слов в разговоре с женщиной, чувствующей, что ее отвергают. Он отвечал на ее недоумение не столько словами, сколько ласковостью. Но это только еще больше запутывало ситуацию.

Тогда он говорил ей: «Если бы я сумел помочь тебе понять меня! Ни ты, ни я не изменились... может быть, наша любовь попала в тиски закона человеческого...».

«Да я прекрасно все понимаю! Я бедная раба, а ты теперь в больших чинах! Ты вхож во Дворец, куда меня никто не пустит, по должности обязан общаться с людьми, которые презирают мое сословие. Я отлично все это понимаю! Твоя мать держится со мной отчужденнее, чем обычно, даже Алипий как-то озабочен... Мне сейчас более одиноко, чем когда тебя у меня не стало — в тот день, когда ты уплыл из Карфагена... Я догадываюсь и о том, что ты не хотел бы открывать мне, и знаю, что ты сам от этого страдаешь... Я ни в чем не должна упрекать тебя, но переживания от холодности твоей матери и озабоченности Алипия — ничто по сравнению с тем, что я испытываю, глядя на тебя и читая в твоём сердце...»

Августин молчал... В нём шла борьба между необходимостью поручить себя *неизвестности* и его человеческим поведением, которое можно поставить ему в вину, по отношению к созданию, у которого ничего не было, и которое, вместе с тем, уже отдало ему всю свою умную душу и было готово отдать все, чтобы не мешать ему двигаться вперед...

В любви человек, если он достаточно порядочен (а Августин таким и был), чтобы искать истину, следовать за ней по пятам, иной раз должен согласиться стать, против собственной воли, побежденным противником любимой... В той ситуации он пожертвовал бы жизнью, чтобы не вступать с ней в этот разговор.

Женщина, более трезвомыслящая и более сильная, успокаивала его: «Не беспокойся! Я прекрасно знаю, в чем состоит мой долг верности, надеюсь, что уже доказала тебе это. Я хорошо знаю тебя, знаю, как ты мучаешься... Ведь я любила тебя всю жизнь, так что твои мучения не могут не быть и моими... Моими, моими собственными, впридачу к тем, что я делю с тобою! Многие годы мы шли вместе дорогой любви; мы пойдем теперь вместе дорогой жертвы... Нет, не для того, чтобы расчистить тебе путь к вершинам карьеры... Я чувствую, что-то другое подгоняет тебя... И меня тоже подгоняет...».

Августин смотрел на нее умоляюще, и в глазах его стояли слезы...

И тут *Неназванная*, словно подчинившись внезапному порыву, неосознанно использовала свое негласное право унижить побежденного и перешла в наступление: «Я от Бога твоей матери никогда себя не отделяла, ты это знаешь! Я всегда помнила, где, в каком месте началась наша любовь... Ты (и она сделала ударение на этом *ты*), ты нашел меня в церкви, где молятся... Августин! Здесь и для меня есть какая-то тайна. Я не хочу и пытаться разгадать ее, но я должна относиться к ней с уважением... Видишь? Бурные объяснения — не для нас... Я сама теперь прошу тебя отпустить меня на свободу... Я должна уйти со сцены, должна оставить тебя на твоём поприще. И поверь мне, я сделаю это достойно. Я многое передумала за эти месяцы в Милане. Я никогда не изменяла тебе, никогда не изменю, у меня есть что оставить тебе в залог: нашего Адеодата... Ты знаешь, как я люблю его, как дорог он Монике... Отпусти меня обратно в Африку, Августин! Другого мужчины у меня не будет, говорю это перед Богом... И ты, Августин, иди с Богом...».

И она уехала в Африку. Лет пятнадцать спустя, когда епископ Гиппонский Августин в XIII книге своей «Исповеди» будет рассказывать об этой драме и о последовавшем за нею томлении плоти, *та женщина*, тоже охваченная к этому времени про-

мыслом Божиим, в монастыре или в ином месте, вероятно, прочтет и постигнет это послание. Она обретет *новую любовь*, которая даже грех превращает в составную часть благодати. Может быть, она услышит и о том, что достойным своим отречением, в конечном счете, даровала миру величайшего духовного учителя, самого сведущего в делах человеческих. И все это — потаенно, оставаясь в тени. Ничего похожего так и не приснилось Моники, которая безуспешно молила Господа ниспослать ей дар видений!

Разрыв с *Неназванной* на некоторое привел Августина к моральному и психологическому краху. Рассказывая об этом отрезке своей жизни, он судит себя с безжалостным реализмом, не оглядываясь на то, что его противники могут воспользоваться этими сведениями, чтобы вылить ушаты грязи на человеческое прошлое правящего епископа (хотя он сам предает их огласке), и на то, что, возможно, это введет в соблазн кого-то из простых людей, которые любят его, как святого *отца*.

Те, кто во имя сохранения его епископского авторитета, хотели бы избежать упоминания о некоторых фактах, уничтоженных его обращением к Богу, не находят в нем своего союзника.

Он изображал обе стороны медали, чтобы иметь возможность сказать всем совершенно ясно: кем бы я ни был сейчас, прежде я был настолько другим, что не смог бы измениться, если бы Божия благодать не вывернула меня наизнанку, как старую одежду.

Вот как пишет он о себе: «Я, несчастный, не в силах был подражать этой женщине: не вынеся отсрочки — (девушку, за которую я сватался, я мог получить только через два года), — я, стремившийся не к *брачной жизни*, а раб *похоти*, добыл себе другую женщину, не в жены, разумеется. Однако не заживала рана моя, нанесенная разрывом с первой сожительницей моей: жгучая и острая боль прошла, но рана загноилась и продолжала болеть тупо и безнадежно...» (ср. «Исповедь» VI, 15,25).

Да, ему нашли невесту, миланку двенадцати лет из хорошей семьи. Ему, тридцатидвухлетнему, который мог вместе с Горацием сказать: «*Vixi puellis nuper idoneus et militavi non sine gloria*»* («Еще недавно дев привлекать я мог и не бесславно бой

* *Оды*, III, 26.

проводить умел» (пер. Н. И. Шатерникова)). Предлагая ему роль ментора при этой девочке, его ставили в смешное положение. К тому же, чтобы сделать все, как должно, надо было ждать два года: два года целомудрия при такой-то чувственности! И вот уже новая связь, конечно, оскорбительная по отношению к его многолетней подруге, поглотила его. Слова, которыми он завершает описание нареченной ему девицы, — «но она нравилась всем!» — имеют иронический привкус: *всем, кроме меня!*

Чувствуя, как унизительна для него эта ситуация, он обратился за помощью к священнику Симплициану. Тот и в самом деле был святой священник! Высокий ум и образованность соединялись в нем с полным отсутствием зазнайства, подлинной *простотой*. Он входил в число священнослужителей, которые, благодаря своей высокой культуре, имели знакомых и друзей среди известных в мире сем лиц.

Из Рима Симплициан переехал в Милан в качестве советника Амвросия, которого он же и крестил, когда народ пожелал, чтобы Амвросий стал епископом.

Симплициан принял Августина в своем скромном доме, главным украшением которого служило множество книг. Принимая у себя блестящего учителя риторики, священник не проявил ни пренебрежения, ни заносчивости.

Этому почтенному опытному священнику без митры, долговязому и слегка сутулому, с тонкими чертами лица, озаренного светом живых глаз, — этому священнику Августин мог по-настоящему излить душу, более непосредственно выражая свои чувства, чем в беседе с Амвросием. Он и в самом деле начал разговор так, словно хотел спрятаться на груди у Симплициана, — под защитой его длинных и добрых рук: «Я не нахожу себе места, отец мой!»

«Смелее, смелее, отчего же это?»

«Не могу найти свой путь! Я чувствую, что Бог все время где-то рядом, многое изменилось во мне с некоторых пор, что-то для меня усложнилось. Я узнал Церковь, много раз слушал епископа Амвросия, всячески его почитаю... Знаю, что если и войду в Церковь... не обрету в этом совершенную цельность... И в Церкви не всегда тишь да гладь, кто-то идет в одну сторону, кто-то в другую... Но мир, который прежде так привлекал меня, теперь меня не привлекает. Продвижение по службе, умножение

дохода... от всего этого мне теперь как-то тяжело. Отче, мне почти тридцать два года, четырнадцать лет я прожил с одной женщиной, ее нет со мной больше... Плотское вожделение мучает меня...»

«Но существует брак, никто не запрещает тебе избрать этот удел...», — отвечал Симплициан.

«Да, видно, этого не избежать! Но, взвалив на себя иго супружеской жизни, нужно подчиниться известным требованиям. Мне нравится женщина, мне нравится философия...»

«Каких философов ты читал и какие тебе нравятся?»

«Последними я прочел несколько удивительных книг Плотина в переводе учителя риторики по имени Викторин...»

«О, Викторин!» — прервал его священник, словно переводчик Плотина в этот миг входил к нему в дом, и он приветствовал его.

«Я знаю, он обратился, и умер христианином...» — сказал Амвросий.

«И каким христианином!» — подтвердил Симплициан. «Он был моим близким другом, и я поздравляю тебя с тем, что ты наткнулся на эти писания, проникнутые мыслями о Боге и Его Слове». Он помолчал и протянул руку, словно хотел погладить сидевшего перед ним Августина. Глаза его лучились улыбкой, когда он, кивая седою головой, медленно повторял: «Викторин... Викторин...». Потом он сказал: «Хочешь узнать, как Викторин стал христианином?».

«Расскажи мне об этом, отец мой!»

«Ты, наверно, знаешь, что Викторин, ученейший муж и глубокий знаток всех свободных наук, к этому времени был уже в почтенном возрасте. Он прочитал и разобрал множество философских произведений и был наставником многих знатных сенаторов. Да... немалую честь он заслужил: ему воздвигли статую на форуме. Подумай: до самой старости он поклонялся идолам, участвовал в нечестивых таинствах, которыми упивалась почти вся римская знать. Некоторых из этих идолов они переняли у побежденных народов; каким только чудищам Рим не молился: среди них был даже Лающий Анубис, который «некогда поднял оружие против Нептуна, Венеры, Минервы». Старый Викторин столько лет защищал этих идолов грозно звучащим словом и не устыдился стать дитятей Христа, младенцем Источника Его, под-

ставил шею под смиренное ярмо и укротил гордость под «порочным» крестом. Он читал Священное Писание, старательно разыскивал христианские книги, углублялся в них. По секрету он говорил мне: «Не говори никому, но я уже христианин...». А я отвечал ему: «Христианин? Не поверю и не буду считать тебя христианином, пока не увижу в Церкви Христовой!» А он посмеивался: «Так что, христианином делают стены?» И потом, до поры до времени,— все тот же припев: он: «Я христианин!», я: «Не верю!», и опять он со своей шуткой о стенах. Понять его было можно: он боялся оскорбить своих друзей, этих горделивых демонослужителей. Он полагал, что они набросятся на него, как разъяренные фурии. И вдруг однажды, взяв меня под руку, он говорит: «Пойдем в церковь, я хочу стать христианином». Вне себя от радости, мы отправились. Его наставили в началах веры, причислили к имеющим принять крещение. Рим был в изумлении! И когда пришел час крещения и обряда исповедания веры с произнесением выученной наизусть крещальной формулы... с амвона, пред множеством верных... (Из уважения священнослужители предложили ему совершить обряд в отдельном, уединенном месте. Но какое там! Викторин предпочел произнести исповедание принародно) ... Когда он взошел на высокое место, поднялся радостный гул; из уст в уста передавали люди его имя: «Викторин, Викторин!» Кто не знал его? Ликование охватило всех; каждый хотел принять его в свое сердце...» (ср. «Исповедь» VIII, 2, 3).

Августин внимал рассказу Симплициана с живейшим интересом. Он узнавал себя в Викторине, чьи обстоятельства так напоминали его собственные. Августин также был человеком известным, и, если бы он задумал креститься, ему пришлось бы пройти тем же путем.

А мы подумаем вот над чем: тот самый священник Симплициан, который сейчас утешает Августина и примером привлекает его к вере, став епископом Миланским после смерти Амвросия, напишет епископу Гиппонскому, предлагая ему для разрешения богословские вопросы, чтобы получить от него просвещение в христианской вере. И будет это через каких-то десять лет.

ВСТРЕЧА С АМВРОСИЕМ

Тяга к почитаемому всеми епископу Амвросию, защитнику своего народа и укротителю сильных, и симпатия и доверие, внушенные Августину Симплицианом, помогли ему принять решение записаться в оглашенные.

Так он узнал иной род дружбы, не совсем похожей на ту, которая связывала его с мирскими друзьями и подпитывала его гордость, поскольку среди них он всегда был первым.

Дружба же с Амвросием давала Августину ощущение подчиненности, хотя эти отношения основывались на взаимной любви. К Амвросию не ходили вести академические споры: мало можно было ему продать, много можно было у него купить. Он был зорким *управителем таинствами Божьими*.

Записавшиеся в катехумены тогда не обязаны были креститься в течение нескольких ближайших месяцев, наметив точную дату. Это была внутренняя установка на веру, выбор пути, который мог оказаться долгим, знак приязни к христианской религии. Кто-то оставался оглашенным годами, подобно студентам-вольнотрушателям. Но в любом случае катехумену, наставляемому в христианстве, полагалось посещать школу, в которой преподавался катехизис. Обучение оглашенных и катехизация, безусловно, находились в ведении епископа и часто он лично проводил занятия, особенно когда приходилось сокращать срок обучения, поскольку желающие креститься были уже вполне готовы к тому, чтобы из катехуменов стать неофитами — усердные и с нетерпением ожидающие омовения в крещальных водах, которое происходило обычно в пасхальную ночь. В таких случаях именно Амвросий назначал более сжатые сроки подготовки: она начиналась, по обыкновению, в воскресенье за семьдесят дней до Пасхи, с тем, чтобы продлиться весь Пост и завершиться в дни перед Светлым Воскресеньем обрядом *омывания тела* в великий Четверг, и затем — обрядом «*traditio Simboli*» или «передачи» Символа веры.

Догматические трактаты св. Амвросия, такие, как «Изложение Символа веры», «О таинствах», «О тайнах», «О покаянии» были, как бы мы теперь сказали, «звукозаписью» его катехизаторских выступлений для неопитов, которые неизвестный стенографист поспешно заносил на дощечку или пергамент.

Читатель не должен полагать, что до крещения Августина рукой подать и что мы готовимся провести репортаж о волнующем обряде. До этого крещения еще относительно далеко, и мы хотим только засвидетельствовать, что он решил стать катехуменом католической Церкви и что в связи с этим ему полагалось выполнять примерно те обязанности, которые мы описали чуть выше.

Катехизация, на том этапе истории христианства, была, благодаря великим епископам, правившим различными поместными Церквями, главной основой народной веры и содержала сведения об элементах литургии, вероучения, изобразительного и символического искусства. Катехизация строила Церковь живую, тот *Град Божий*, который покорит Августина.

Однажды, окончив занятие, на котором присутствовал Августин, Амвросий подошел к нему, с необычной сердечностью взял под руку, и начал доверительный разговор, увлекая профессора-катехумена по внутреннему переходу в свой дом. Быть может, Моника рассказала епископу о тяжелом душевном состоянии Августина из-за расставания с *Незанной* и неразберихи с выбором невесты; может быть, это Симплициан поведал Амвросию о своей беседе с прославленным ритором и о том, что он ощутил в его душе.

«Мне сообщили о твоём великолепном панегирике по случаю дня рождения императора...», — сказал Амвросий, устремив на Августина пристальный взгляд, стремящийся проникнуть в самые сокровенные его мысли.

Своим ответом Августин прикрылся, как щитом: не стоит придавать значения этому успеху, который сам он искренне считает эфемерным. В общем, он хотел внушить собеседнику, что нужно нечто совсем другое, чтобы успокоить его душу.

Амвросий в ходе разговора проявил себя тонким дипломатом. Не для того, чтобы привлечь Августина на свою сторону, и не для того, чтобы побудить не менее тонкого собеседника к каким-то высказываниям о запутанной ситуации, возникшей как раз в те дни между Дворцом и Епископией. Амвросий тревожился

о самом молодом философе, на лице которого запечатлелись следы внутренней борьбы. Как у хорошего врача в старые добрые времена, у Амвросия был наметанный глаз, и ему хватало малейшего признака, чтобы поставить точный диагноз.

«Устал я сегодня, пока учил вас петь этот гимн»,— сказал он.

«Я тоже пел, с большим подъемом...» — проговорил Августин. И продолжил: «У меня несильный голос. В школе, когда пою, приходится тратить много сил: голоса не хватает, я даже хочу посоветоваться с врачом. Но когда я пою вместе с другими в церкви, как сегодня, вполне дотягиваю до конца и хочу, чтобы гимн длился как можно дольше...». Потом он добавил, что эти песнопения «доставляли ему сокровенное и сладостное утешение», что собрание «пело более сердцем, чем голосом» (ср. «Исповедь» IX, 4, 8). Он смиренно сознался, что не очень хорошо знает, как «оживляют» службу другие католические общины. Он сохранил только смутные детские и юношеские воспоминания о соответствующих традициях общин в Тагасте и в Карфагене.

Амвросий заинтересовался карфагенской католической общиной, спросил об особенностях ее литургической практики... Но Августин умело вернул разговор к миланским событиям. В Карфагене, если он и заходил в церковь, то не столько, для того, чтобы возлюбить Бога, сколько для того, чтобы влюбиться в какую-нибудь девчонку. А здесь все было по-другому: сам облик Миланской Церкви, упорядоченное единство и сплоченность народа вокруг духовного руководителя, горячая молитва во время совершения таинств, хоровые напевы, никогда прежде не слышанные,— все это глубоко трогало его.

«Да, Двор создает для нас сложности,— вновь заговорил Амвросий,— но мы не сдаемся: нам помогают наши литургические сплочения и пение...»

Амвросий имел в виду происшествия, которые Августину были хорошо известны. Разногласия между Дворцом и Епископской Курией начались весной 385 года, когда императрица-интриганка Юстина, мать Валентиниана, благоволившая арианской общине и ее епископу Авксентию, потребовала от Амвросия уступить еретикам одну из христианских базилик. Амвросий вместе со своей паствой укрылся в храме, защищая его днем и ночью от происков Юстины.

В январе 386 года ариане, пользуясь неизменной поддержкой Двора, попытались завладеть уже другим храмом — Порцианс-

кой базиликой. И снова епископ укрепился там с толпой верующих. Все вокруг было оцеплено императорскими войсками, они надеялись заставить всех рано или поздно выйти из здания и через несколько дней рассчитывали занять его. «Все-таки и они когда-нибудь проголодаются, да и устанут, наверно...» — говорили солдаты. Но из запертой базилики лилось дружное и спокойное пение.

В третий раз спор разгорелся, когда ариане, у которых разыгрался аппетит, пожелали получить уже не Порцианскую, а так называемую «Новую» базилику, внутри городских стен. Амвросий послал ко Двору что-то вроде телеграммы: «Не могу передать арианам храм Бога правой веры — тчк!». И одолел.

Августин был государственным чиновником, но участвовал в событиях на стороне Амвросия; еще не приняв крещение, он выполнял свой долг катехумена кафолической Церкви и оказался в рядах «кафолического сопротивления». По-видимому, он и сам заметил, что нашел некий компромисс между церковным и светским: «Я, тогда еще не согретый жаром Твоего Духа, все же волновался: город был в смятении и беспокойстве» (ср. «Исповедь» IX, 7). И еще он рассказывает, что Амвросий во время этих преследований показал себя «человеком цельным»; что Моника потрудилась на славу, и, «первая в тревоге и в бдении, жила молитвой» (*там же*).

Какое же значение имело участие Августина в кафолическом сопротивлении арианскому гонению? Прежде Августин склонен был считать Церковь какой-то «ребяческой» реальностью. Теперь она стала для него реальностью, требующей защиты.

Амвросий, прощаясь с гостем, спросил: «Ты был у отца Симплициана?».

Августин подтвердил, что встречался с ним, и признался, что полюбил старого священника, увидел в нем человека мудрого и святого.

Как оказалось, епископ был наслышан и об его увлечении учениями неоплатоников. Он предупредил его: «Нет пути, ведущего с земли на небо, есть только путь, от Бога нисходящий к человеку, который спасается по чистой благодати. Не восходит на небо никто, кроме Сходящего с неба. Это Евангелие от Иоанна. А мы знаем, что оно нележно!».

ГЛАС РЕБЕНКА

У нас не было времени посещать Августиновы лекции по красноречию в миланской Академической высшей Школе. Времени нет до рождения и после смерти; а на некоторые вещи его может не хватить и при жизни. Но нам хотелось бы оказаться среди его учеников. Несомненно, как преподаватель, Августин должен был вызывать всеобщее восхищение. Внутреннее смятение, конечно, не оставляло его, но, преподавая, ему удавалось не то, чтобы даже спрятать это смятение, а обрести настоящее спокойствие. Он был прирожденным наставником.

Обратившись, он выскажет отрицательное суждение о своей профессии преподавателя красноречия: «Я решил... тихонько отойти от этой работы языком на *торгу болтовней*: пусть юноши, помышляющие не о законе Твоем, не о мире Твоем, но о лжи, безумии и схватках на форуме, покупают оружие своему неистовству не у меня» («Исповедь» IX, 2, 2). В действительности, это была не совсем *болтовня*, разве что в том отношении, что, изучив риторику и древнюю словесность, учащийся вполне мог не получить полного нравственного воспитания; им могли руководить побуждения чисто профессиональные, стремление к наживе, тщеславные помыслы. Но Августин, также как Амвросий и Иероним, сумел духовно обогатиться, изучая древних классиков; если бы эти святые не прошли такую школу, из-под их пера не вышло бы столько произведений, и они не были бы столь искусны в священном красноречии. И им выпало счастье думать, говорить, писать на латыни.

Задача Августина как преподавателя состояла в том, чтобы помочь студентам овладеть ораторским искусством, в сущности — «умением говорить» (голос, дикция), способностью блестящей репликой опровергнуть возражения противника, «убеждать», «усполаждать», «увлекать». Цицерон, которому, конечно, посвящалась львиная доля занятий по красноречию, ставил перед хорошим оратором следующие цели: «Красноречивым оратором... будет

такой, речь которого, как на суде, так и в совете, будет способна *убеждать, услаждать, увлекать*. Первое вытекает из необходимости, второе служит удовольствию, третье ведет к победе... А сколько задач у оратора, столько есть и родов красноречия: точный — чтобы убеждать, умеренный — чтобы услаждать, мощный — чтобы увлекать» («Оратор» XXI, 69, пер. М. Л. Гаспарова). Но это не значит, что учитель ораторского искусства призван соорудить из ученика такую говорящую машину. Оратор, по Цицерону, должен быть сведущим во всяком знании: во-первых, во всем, что касается обсуждаемой темы; далее — в естественных науках, в религиозных науках и во всякой науке, изучающей человека самого по себе, право, хронологию событий и историю прошлого, как своей родины, так и других народов, особенно сильных и прославленных (ср. *там же* XXXIV, 119 след.). Все это касалось только самого предмета, потом приходил стиль.

Конечно, Августин, которого в свое время, по прочтении «Гортензия», воодушевила благородная нравственная цель Цицерона, наверняка не преминул рассказать ученикам об этом юношеском впечатлении. Нужно было поговорить и о других авторах, Вергилии, Саллюстии, Варроне. Августин прекрасно знал их труды. Спустя годы он будет их цитировать в своих епископских проповедях. А иной раз он будет прислушиваться к совету Цицерона не придавать значения рукоплесканиям, но стремиться вызвать у слушателей слезы. И уже не ради упражнения в ораторском искусстве.

Интересно было бы также посмотреть, не просочилось ли в лекции Августина что-нибудь из его духовного опыта, что-нибудь об обнаруженной им платиновской *душе*. Как человек чрезвычайно общительный, он вполне мог доверить студентам эти сокровенные размышления.

В этот период, полный неопределенности, менее спокойные часы проводил он у себя дома. Адеодат делал большие успехи в грамматике, занимаясь с Верекундом. Все проявляли особую заботу о нем с тех пор, как уехала его мать, и нечем было заполнить эту пустоту.

Новая связь тоже наводила Августина на грустные мысли. Она приносила ему больше переживаний, чем удовольствия; с этой женщиной он виделся вне дома.

Что до *миланочки*, которая должна была войти в этот дом хозяйкой, то она показывалась считанные разы, а он не мог во время этих встреч дать волю чувствам. Раздумывая над всей этой ситуацией, он беспокоился за Адеодата: «Все это мне его испортит, это точно...».

Ночи без сна стали для него обычным делом. Он ворочался с боку на бок, ни в чем не находил опоры, ему казалось, что все нужно начинать сначала. Строил замыслы: «Следует мне найти жену... С небольшим приданым, чтобы не увеличивать собственных расходов... Вот и предел моих желаний. Много великих и достойных подражания мужей вместе с женами предавались изучению мудрости... Ах, я полагал бы себя глубоко несчастным, лишившись женских объятий» («Исповедь» VI, 11,19 след.).

Меж тем время шло, и суденышко его швыряло из стороны в сторону. Он никак не мог определить своих намерений, и каждый день откладывал на завтра самые бескомпромиссные решения. Он стремился к счастливой жизни, но боялся обнаружить счастье там, где оно было. Он искал его и бежал от него.

Свет, который он завидел, читая Плотина, время от времени вспыхивал в его душе. Бог уже не был для него чем-то призрачным, Он начал превращаться в его личного, сокровенного Христа Иисуса. В руководимой Амвросием католической общине Августин получал представление об истинном лике Церкви.

Но не было в нем постоянства. Иногда он словно парил над землей, созерцая невиданную красоту; но бывало и так, что какая-то тяжесть тянула его вниз, нравственно и психологически. «Этой тяжестью,— скажет он впоследствии,— была моя привычка к услаждению плоти...»

Нередко у него дома, за столом, возникал разговор между ним, Моникой, Адеодатом и Алипием. Моника и Алипий старались совместными усилиями закрепить в Августине мирное состояние.

История Иисуса Христа и Его Евангелие с каждым днем вызывали у него все большее удивление и восхищение. Между Плотинем и Иоанном существовали большие расхождения; все они уместались в одной фразе: *И Слово стало плотью!* Плотин об этом ничего не говорил...

У Алипия были свои убеждения, из-за которых он противился христианской вере: «Я никак не могу себе представить Бога в

человеческом теле. Если в человеке живет Бог, зачем ему душа? Божественное присутствие делает ее излишней...»

«Нет, Алипий, — отвечал Августин. — Амвросий всегда точен и осторожен, когда речь заходит о Христе. Человек в полном смысле слова, как любой из нас: тело, душа, разум... Именно таким Его и показывают евангелисты, со всеми нашими свойствами, коренящимися в душе, а из души переходящими в тело. Если бы то, что Христос обладал душевным складом человека, оказалось выдуманной, мне кажется, все бы рухнуло в этой религии...»

«Истинный Бог и истинный Человек!» — настаивала Моника, повторяя то главное, что она усвоила из Символа веры.

Пройдет немного времени, и Августин будет думать и писать так: «По справедливости крепко надеюсь на Него... Иначе я впал бы в отчаяние» («Исповедь» X, 43,69). А тогда он спросил у матери: «Ты хочешь сказать, мама, что недостаточно видеть, куда хочешь идти, но нужно видеть и *как* дойти?».

«Да, — сказала Моника, — как хорошо ты сказал! Как дойти, как пройти путем веры? Разве недостаточно свидетельства такого великого человека, как Амвросий? Я всегда твердо стояла в вере, но, когда познакомилась с ним, она стала тверже, чем когда-либо прежде...»

Эти ростки христианской истины — проповеди Амвросия, доверительные разговоры с Моникой и, не в последнюю очередь, разочарования в мирской жизни, — проросли в душе Августина католической верой. Вместе с тем его удивляло, почему же, по мере этого, пусть небыстрого, роста, ничуть не утихает в нем плотская страсть. И даже становится прожорливее. Об этой неотступной горячке он хотел поговорить с Амвросием. Тот ведь тоже был мужчиной, еще вполне дееспособным в свои пятьдесят два года, но обходился без женщины. Очень хотелось Августину спросить у Амвросия наедине: «Слушай, дорогой епископ, я верю, что ты живешь в целомудрии, но скажи же, как тебе это удастся? Скажи хотя бы, счастлив ли ты, или играешь нечисто, и только делаешь вид, что счастлив?».

Никого не удивляло, что самый блестящий ритор миланской Высшей школы посещает проповеди Амвросия. Но, находясь среди других катехуменов, он старался не задавать вопросы, которые могли показаться или слишком трудными, или слишком наивными, или слишком интимными.

В общем, чтобы в нескольких словах описать состояние Августина, мы могли бы воспользоваться дантовской метафорой: «на берег выйдя из пучины пенной», «к холмному приблизившись подножью...» (пер. М. Л. Лозинского), миланский ритор, примерно в том же возрасте, в котором автор «Божественной комедии» рассказал о своем обращении, обнаружил, что путь ему преграждают три символических зверя. Как бы ни истолковывать эти образы, они являют собой «все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую» (1 Иоанн 2,16). Августин и Данте говорят нам, что «три зверя» препятствуют глубокому обращению сердца, даже когда разум уже способен различить истину.

Августовский день 386 года. Милан разморило на солнцепеке, но не совсем. Воздух Альп и многочисленных лесов разливался по широкой равнине, умеряя жару, которую тогда еще не усугубляли грязные испарения всевозможных отходов. Среди красивых зданий кипела работа: здесь трудились ремесленники и государственные служащие; императорские ратники прочесывали городские районы; учащиеся спешили в различные учебные заведения, которые не закрывались до начала осени, потому что только тогда начинались каникулы, приуроченные к сбору винограда. Так что в те времена в августе совершенно не ощущалась свойственная нашим дням атмосфера поры массовых отпусков, это всеобщее стремление к морю, к озерам, в горы.

И Августин, хотя у него побаливала грудь от ежедневного усиленного упражнения голосовых связок, каждое утро отправлялся в Школу давать уроки красноречия своим ученикам.

Итак, в тот день он отдыхал дома с Алипием, когда услышал стук в дверь. Это был Понтициан, как и они, уроженец Африки, дворцовый сановник. Он зашел поболтать с земляками. Переступив порог кабинета, он заметил на игорном столе какую-то рукопись. Он взял ее в руки, перелистал и с удивлением обнаружил, что перед ним Послания апостола Павла. Августин в «Исповеди» (VIII, 6, 14) отмечает, что других книг в тот момент в комнате не было. Понтициан, ревностный христианин, не веря своим глазам, радостно улыбался, во взгляде его, обращенном на Августина, был немой вопрос: «Откуда у тебя это?». Августин объяснил, что уже некоторое время с огромным увлечением читает Писание. Понтициан обрадовался, поздравил его... и как-

то само собой речь зашла об Антонии-отшельнике, чье имя тогда было у всех на устах, но ушей Августина достигло впервые.

Мало-помалу разговор оживился, становясь все более занимательным. Августин и Алипий изумленно внимали рассказу Понтициана о полной чудес жизни отшельника. Потом он завел речь об устройении монастырской жизни. К собственному рассказу Понтициана в воспоминаниях Августина примешивались обсуждавшиеся с друзьями замыслы о жизни в общине, созданной для совместного созерцания и философствования,— замыслы, которые так никогда и не осуществились.

«Даже в Милане,— утверждал Понтициан,— есть монастырь, полный добрых братьев... Неужели вы о нем ничего не знаете? Даже не слышали никогда?»

«Никогда,— проговорил Августин,— даже Амвросий, ни в общих беседах, ни в личных разговорах ничего нам о нем не говорил...»

Они попросили его поскорее рассказать все, что ему известно о монастырях...

«Ну тогда, слушайте,— сказал Понтициан, поудобнее устраиваясь в высоком профессорском кресле.— Тому, о чем пойдет речь, я сам был свидетелем, в Тревире... Вместе с тремя товарищами мне как-то случилось в составе свиты сопровождать туда императора. После полудня, когда император глядел на цирковые зрелища, мы вышли погулять в соседний парк. Где-то мы разбились на пары, каждая из которых пошла в свою сторону. Вскоре мы потеряли из вида двух других, ушедших куда-то далеко вперед. Потом мы узнали от них вот что: они набрали на хижину и нашли там книгу: это было жизнеописание Антония. Один из них принялся за чтение, затем вдруг изменился в лице и молча посмотрел на друга: так смотрит тот, кто миг спустя примет неожиданное решение; так оно и было, он собрался оставить воинскую службу и служить Богу. Не сводя глаз с товарища, он говорит: «Скажи, пожалуйста, чего мы ждем от этой службы? Что император станет нашим личным другом? Но когда это будет? А другом Божиим, если захочу, я стану вот сейчас... Я отбрасываю наши прежние надежды, я решил служить Богу, вот с этого часа, вот на этом месте...». Тот ответил, что без раздумий принимает то же решение». «Об этом,— продолжал Понтициан,— мы с моим спутником узнали, отыскав двух

других и призвав их поскорее вернуться к исполнению обязанностей членов императорской свиты, потому что было уже поздно. В ответ мы услышали от них, как от дезертиров, замысливших перейти на сторону врага, резковатое «оставьте нас в покое...» Нет, вы только представьте себе: у обоих были невесты, у обоих свадьбы на носу! И что же девушки? Услышав о происшедшем, они посвятили свое девство Богу».

В своих дневниках Августин замечает: «Так говорил Понтициан. Ты же, Господи, во время его рассказа повернул меня лицом ко мне самому: заставил сойти с того места за спиной, где я устроился, не желая всматриваться в себя. Ты поставил меня лицом к лицу со мной, чтобы видел я свой позор и грязь, свое убожество, свои лишаи и язвы...» («Исповедь» VIII, 6, 13 след.).

Случайный рассказ Понтициана оказал огромное воздействие на душу Августина. Мы могли бы уподобить его внутренние переживания силам, заключенным в недрах земли и рвущимся из-под спуда. Он был словно здание, внешне невредимое, но готовое вот-вот рухнуть, из-за этих толчков изнутри. Этот человек еще не нашел точку равновесия, но он двинулся к своему предназначению.

Шел он не главной улицей.

Он брел через темные леса, но сумел приблизиться к цели.

У него перед глазами новый замысел о себе.

Он знает, что такое Бог, и он Его жаждет.

Он знает, что такое Христос, и чувствует Его притягательную силу.

Он знает, что такое Церковь, и хочет обрести в ней убежище.

Этот замысел ставил его перед выбором: брак или что-то другое? Нет, в то время он не думал о монашеской жизни как альтернативе браку. Альтернатива была иной: жизнь, целиком отданная философствованию. Поэтому-то он и не мог никак обрести равновесие: у него за спиной выросла пара мощных крыльев для полета, но оторваться от земли ему не позволяли гири, влекущие вниз, два непреодоленных увлечения: женщина и философия. Каждое из них прекрасно по-своему, и с каждым нужно было совладать полностью, с первым — победой над чувственностью, со вторым — стяжанием свободы, требующей отречений.

(Фейербах так выразит это противоречие: «Самая большая глупость, на которую способен человек всеохватной мысли —

жениться». А Августин, несомненно, был «человеком всеохватной мысли». В его опыте есть нечто, свойственное человеку любой эпохи. Но его мысль, даже слишком всеохватна, она вмещает и те влечения, которые он так никогда и не сумеет свести на нет,— даже в старости и после долгой аскезы. Он сможет лишь держать ее в узде. И для этого ему понадобится громадная сила воли, взгляд, неотрывно устремленный на неземную Красоту).

Вот почему было необходимо разрушить здание и возвести его на новом основании.

То, что происходило в нем, драма его внутреннего опыта,— медленное разрушение ветхого человека. Разрушитель был у него внутри, неотступный и деятельный, действующий потаенно и неслышно.

Августин, по медленности внутреннего развития, представляет собой уникальный случай в истории обращений. Даже ап. Павел не пережил столь долгих и глубоких мук перерождения...

Рассказ Понтициана озадачил и раздражил Августина. Зависть грызла его, и ночью он не сомкнул глаз. Кто лучше философа, влюбленного в премудрость, способен упорядочить собственную жизнь, следить за тайными движениями сердца, принимать самые мудрые решения, принуждать себя к выбору того или иного жизненного поприща? И вот, два простых солдата, не колеблясь ни минуты, решают коренным образом изменить свою жизнь. Разве обладал он хоть малой долей их мужества и уверенности!

Ранним утром, отбросив вялость и нерешительность, он скинул на пол одеяло, встал и, надевая тогу, выкрикнул в негодовании: «Что ж это с нами? Что мы слышим? поднимаются неучи и похищают Царство Небесное! А мы? Мы — вот они, с нашей бездушной наукой, валяемся в нашей плотской грязи!» (ср. «Исповедь» VIII, 8, 18).

Весь дом спал. Он позвал Алипия и, пока ждал его, нервно ходил из конца в конец маленькой комнаты, продолжая возмущенно бормотать: «Потому что они впереди, стыдно идти вслед, а вовсе не идти не стыдно?» (*там же*).

Алипий явился, но Августин даже не посмотрел на него, словно и не звал, словно ему вообще было неприятно его видеть... В крайнем возбуждении Августин направился к двери, и, проходя мимо друга, весьма неучтиво оттолкнул его.

Алипий пролепетал: «Да что с тобой, Августин?» Ответа он не получил и, молча, потрясенно наблюдал, как Августин спускается по лестнице в сад, потом медленно пошел за ним. Прославленный ритор, как бесноватый, приговаривая что-то осипшим голосом, бегал среди деревьев с дыбом вставшими волосами, горящими от гнева щеками и глазами. Алипий встал поодаль. Сад был большой, жилыцы могли располагать им по своему усмотрению, потому что хозяин обитал в другом месте, и Августин имел обыкновение читать на воздухе, усаживаясь всегда на одной и той же каменной скамейке под деревом. Но в то утро он метался по аллеям, как разъяренный зверь в клетке, меряя пространство сада огромными шагами.

Наконец он остановился, сел. И Алипий, терпеливый, словно опекун помешавшегося родственника, присел в нескольких метрах от Августина, не отрывая от него недоуменного взгляда.

«Душа моя глухо стонала, негодуя неистовым негодованием на то, что я не шел на союз с Тобой, Господи, а что надобно сделать этот шаг, об этом кричали «все кости мои» (ср. *там же*).

Но какой шаг? Если бы он мог, разве он бы уже его не сделал? Кто должен был дать ему на это силы?

Конечно, оставшийся отрезок пути был совсем короткий, короче, чем от дома до сада. Не требовалось для этого ни кораблей, ни колесниц четверкой, ни даже пары ног (это его собственные наблюдения).

Наверно, ужасно сознавать, что ты достиг того, чего ищешь, причем то, что ты ищешь, это для тебя — жизнь, и вот когда ты тянешься за этим, пытаешься ухватить, хватаешь пустоту, как в ночном кошмаре.

Этот «предмет», за которым он тянулся, был совсем рядом, даже не вне, а внутри него, в самой сердцевине воли, в которой боролись страстное стремление и сила инерции: «стоит лишь захотеть идти, и ты уже не только идешь, ты уже у цели, но захотеть надо сильно, от всего сердца, а не метаться взад-вперед со своей полубольной волей, в которой одно желание борется с другим, и то одно берет верх, то другое.» (*там же*).

Дадим высказаться самому Августину: «Если я рвал волосы, ударял себя по лбу; сцепив пальцы, обхватывал колено, то я делал это, потому что хотел. Я мог, однако, захотеть и не сделать, откажи мне члены мои в повиновении. Я делал, следовательно,

многое в той области, где «хотеть» и «мочь» не равнозначны, и не делал того, что мне было несравненно желаннее, и что я мог сделать, стоило только пожелать, а я уж во всяком случае желал пожелать. Тут ведь возможность сделать и желание сделать равнозначны: пожелать значит уже сделать. Откуда это чудовищное явление? Душа приказывает телу, и оно тотчас же повинуетя; душа приказывает себе — и встречает отпор...» («Исповедь» VIII, 8, 20; 9, 21).

Внутри у него кипело.

Чтобы понять Августина, мы должны спросить себя, что же в нем кипело. Он несомненно был человеком плотским, исполненным чувственности, но не больше, чем многие и многие люди его, нашего и любого времени. Подобно многим и многим, он пожинал горькие плоды, о которых в нескольких емких строках сказал современный поэт, переживший подобный опыт: «Тоска неизбывная плоти нечистой / Когда желанья огонь / Во льду омерзения гаснет!».

В нем шло сражение между идеалом, очертания которого были ему не вполне ясны, и к которому, как он чувствовал, его подводят, и инерцией воли, не позволявшей ему решиться. В будущем он тщательно рассмотрит этот человеческий феномен в двух крепких полемических сочинениях: «О браке и возделении» и «Неоконченное творение против Юлиана», опровергая заблуждения по поводу «вождедения» плоти, как манихейские, так и пелагианские. Он пишет, что вождеделение это «казнь», посланная человеку в наказание за первородный грех; что *вождеделение отлично от чувствования*; что оно не свойственно человеку от природы, но являет собой род болезни; что его и нецерковные философы полагают нарушением порядка в человеке. Он вспоминает, как определял вождеделение Амвросий: «кошунственное алкание».

В толковании на Послание к Римлянам ап. Павла Августин различает, применительно к вождедению, четыре эпохи: *до Закона*, когда вождедению была дана полная власть над человеком; *под Законом*, когда Господь «оттаскивал» его от вождедения; *под Благодатью*, когда человек, с помощью Благодати, может вернуть себе свободу, т.е. перестает быть рабом чувства и избавляется от необходимости следовать за ним; *в Благодатном мире*, когда вождеделение исчезает, ибо оно побеждено. «До Закона нет

даже борьбы, потому что человек не только вожделеет и грешит, но вожделение еще и одобряется; под Законом человек сражается, но остается побежденным; Благодать отпускает грехи, помогает тем, кто хочет противостоять вожделению, дарует *любовь* и удаляет страх. И в этом случае бывает так, что плоть имеет желания против духа; но если воля не поддается, ибо укоренена в благодати и любви Божией, она не может согрешить. Ведь грех состоит не в дурном желании, а в согласии. И Благодать не только дарует желание поступать правильно, но и придает ему действительность. Не нашими силами, но помощью Христа Избавителя» («Толкование некоторых мест из послания апостола к Римлянам» XIII—XVIII).

Эти ясные слова прочитал Лютер, человек, вожделению не чуждый. Он прочитал и ничему не научился; выше этих слов он поставил собственную мысль: вожделение непобедимо, никто не может быть целомудренным. О заповеди плодитесь и размножайтесь, которая, по его мнению, «больше, чем заповедь», Реформатор высказывался следующим образом: «Это слово Божие есть божественное деяние, которое не в нашей власти отменить или не разрешить; оно необходимо мне так же, как быть человеком, и более необходимо, чем есть, пить, испражняться, плевать, спать, просыпаться» («Проповедь о браке», 1522). Маритен (в книге «Три реформатора») так комментирует эту мысль Лютера: «Нравственную заповедь сохранять вид, наделенный разумом, обращенную к человечеству в его совокупности, Лютер путает с естественным давлением, которое оказывает на каждого индивида инстинкт его животной природы. Мысль Лютера здесь типична, в определенном смысле, для современного образа мыслей; она материализует все, к чему прикасается. Эта проповедь о браке представляет собой достойную нишу для бед века, ненавидящего целомудрие не меньше, чем бедность»*.

Мы бы тоже сделали вывод, что Лютер в этих своих рассуждениях не является августинцем. Но, может быть, в то время Августин был лютеранином: «вожделение плоти непобедимо».

И все же, религиозный кризис Августина нельзя полностью отождествить с нравственным кризисом, обусловленным мыслями о непреодолимости груза чувственности. Скорее, этот рели-

* J. Maritain, *Tre Riformatori*, Morcelliana, Brescia p. 204, n. 8.

гиозный кризис можно отождествить с перемещением оси в его духовной системе координат.

Достигнув, наконец, освобождения, он провозгласит, что Бог есть его закон тяготения (*pondus meum*). Прежде он вращался не по своей орбите. Никак не мог реализовать себя, осуществить в себе то необычайное призвание, к которому влекла его свыше неодолимая сила: пребывать в Боге всем своим существом. Отсюда — огромное беспокойство, адекватное работе невидимого стрекала, побуждавшего его быть таким, каким он и стал впоследствии. Чтобы выпрямилась ось, нужно было, чтобы ветхое здание пало; падение это явилось последним грандиозным актом его личной драмы.

Если бы момент встречи с Богом в ходе переворота, пережитого иными из великанов духа, не приходил внезапно, как тайна, они были бы рады наблюдать за этапами крушения. Но Бог любит заставить врасплох. Вот почему рассказ Августина о его обращении и предшествующих ему событиях потрясюще драматичен. Это уникальный пример в истории духовности.

Как отмечает Микеле Пеллегрини, и десять с лишним лет спустя, когда Августин записывал эти впечатления, в самом стиле повествования ощутимо возбужденное состояние автора и героя: короткие фразы, глаголы без дополнений, военная, политическая, юридическая лексика...^{*} Немало чернил извели теологи из-за этого рассказа. Некоторые отрицали подлинность «Исповеди» в целом; другие подвергали сомнению истинность описанных там происшествий. Говорили, что Августин просто грезил наяву; что таинственные слова, призывающие его к спасительному чтению выдуманы автором; что, если и было обращение, оно носило философский характер, — обращение человека, который устал от мирских забот и хочет найти пристанище в деревне, где можно философствовать в свое удовольствие. Для Августина таким было обращение к цicerоновскому «Гортензию», к неоплатонизму Плотина.

Августин воздаст должное этим грядущим догадкам: «Почти двенадцать лет прошло с тех пор, как, прочитав Цицеронова «Гортензия», я воодушевился мудростью, — и все откладывал поиски ее...» («Исповедь» VIII, 7, 17).

^{*} Cp. M. Pellegrino, *Le confessioni di Sant'Agostino*, pp. 160 ss.

Но нам все же придется объяснить, почему жизнь Августина как бы расходится на два склона, соотносительных, но взаимно противоположных; почему с известного момента прекращается не только его прежний образ жизни, но и его экзистенциальное беспокойство, и начинается время душевного мира, который внешне проявляется в его словах и писаниях; теперь он уже никогда не отступает, ни на миг не поддается усталости, которая могла бы заставить его замедлить шаг или остановиться.

Возникают загадки психологического и духовного порядка: «Душа приказывает руке двигаться, и она тотчас же повинуетя, душа приказывает себе — и встречает отпор...», «Любовь, мой закон тяготения!», «Больше души там, где душа любит, чем там, где она одушевляет».

Это была судьба, которая стучалась в дверь, как в пятой симфонии Бетховена: «Се, стою у двери и стучу. Если кто отворит Мне...». И на сей раз у судьбы было имя: Иисус! С этого времени Августин будет говорить: «Я боюсь Иисуса, который стучится в дверь!».

Как дуэль до последней капли крови, в месте, из которого некуда бежать: «Буря души моей перенесла меня туда, где никто не смог бы помешать отчаянной борьбе, развернувшейся во мне со мною самим...».

Случившееся в тот день принадлежит истории.

Страшно было идти вперед, но и отступать невозможно...

Образы полны драматизма. Зверь, бьющийся в путах, которые ослабели, но держат и не отпускают его. Агония: хрип, вздох, смертельное оцепенение и снова хрип... Августину кажется, будто кто-то хватается его за края одежды, ему слышатся соблазняющие голоса: «Ты бросаешь нас? Уходишь от нас? С этого мгновения тебе навеки запрещено и то, и это!». Это были, как он говорит, его плотские привычки...

И вот неистовым потоком хлынули слезы, прорвались рыдания. Он встает, отходит подальше от Алипия... Для такого плача необходимо полное одиночество. Алипий чувствует это и остается на месте.

В глубине сада растет смоковница. Августин ложится под нею, прислонившись спиной ко стволу. В этой странной позе он дает волю слезам, стонет: «Доколе? Доколе? Завтра! Почему же завтра, а не сейчас?».

Голос из соседнего дома возвращает его к реальности: «TOLLE LEGE, TOLLE LEGE...». словно какой-то ребенок нараспев повторяет эти слова.

Что же это, призыв? «Возьми, читай!»

Может быть, это припев в какой-нибудь песенке-игре? Он пытается вспомнить похожий детский стишок.

Он истолковывает таинственный призыв буквально. Взволнованный, возвращается туда, где сидел Алипий и где он оставил апостольские Послания; хватает книгу, открывает и в молчании читает первые попавшиеся на глаза строки:

НЕ В ПИРАХ И В ПЬЯНСТВЕ,
НЕ В СПАЛЬНЯХ И НЕ В РАСПУТСТВЕ,
НЕ В ССОРАХ И В ЗАВИСТИ:
ОБЛЕКИТЕСЬ В ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА
И ПОПЕЧЕНИЕ О ПЛОТИ НЕ ПРЕВРАЩАЙТЕ В ПОХОТИ.

И тотчас, внезапно «сердце мое залили свет и покой; исчез мрак моих сомнений...».

Как на брачное ложе, в сердце его вошла «Красота», в наготе своей («Монологи» I, 22). Супружеское объятие никогда не разорвется: «Никто, как Августин, с таким постоянством не хвалил Бога как высшую Красоту»*.

Алипий изумленно на него взирает, выхватывает у него книгу, открытую на той же странице, он тоже хочет получить свою часть, не хочет отстать от Августина и читает следующий стих: И СЛАБОГО В ВЕРЕ ПРИМИТЕ!

Он относит это к себе; тот же свет проникает в его сердце. Едва успев обменяться понимающим взглядом, они бегут в дом, к Моники, кричат в один голос: «Матушка!».

Ей ничего не надо объяснять... В этот миг и она ощущает таинственное Присутствие, которое не спешит удалиться. И она — обращенная!

В тот день какой-то необычный свежий ветерок приласкал Милан. Он прилетел с высоких заснеженных Альпийских гор, далеких и близких. И Августин устремлялся ввысь, подобно высокой горе, на вершине которой — город...

* H.U. von Baltasar, Gloria, vol. II, p. 81.

ПУТЬ ВЕРЫ

Через несколько недель Алипий, Небридий и Верекунд собрались в доме последнего.

«Что же все-таки на уме у Августина? Он что, собирается отойти от преподавания?», — спросил Верекунд у Алипия.

«Да, из-за нездоровья. Ты разве не замечаешь, как он утомлен?» — объяснил Алипий.

«Да, он мне говорил об этом несколько месяцев назад, жаловался на легкие... Боли в груди, затрудненное дыхание, севший голос... Преподавание очень утомляет! Я сам ему тогда предложил какое-то время отдохнуть... В том моем загородном поместье, Кассициаке, тебе знакомом... Но он не захотел меня слушать... Сейчас до осенних каникул — всего две недели... Может, ты с ним поговоришь, ведь Августин к тебе прислушивается, как ни к кому... Месяц полного отдыха в таком месте — и вот увидишь, все его хвори как рукой снимет! Право, мне бы не хотелось, чтобы из-за чрезмерной озабоченности своим здоровьем он ушел из школы... А ведь об этом ходят упорные слухи...»

«Кассициак! — подхватил Алипий. — Помнишь, Верекунд, как мы собирались забросить все и безраздельно предаться философии?»

«Еще бы, но нас разубедили жены, у кого они, конечно, были.» И, повысив голос, чтобы супруга услышала, добавил: «Вот кто держит в узде нашу свободу, особенно если тебе попалась христианка...». Он решил поддразнить жену, которая и в самом деле была христианкой, а сам Верекунд — язычником, точнее сказать, — хорошим человеком, безразличным к религии. Не оставляя шутливого тона, он продолжал: «Через год в этом сможет убедиться и Августин, когда обручится со своей милой миланочкой!».

Алипий прервал его: «Августин никогда не женится, дорогой Верекунд!».

«Как это, никогда не женится?»

«Августин вот уже несколько дней просто другой человек, ты себе даже не представляешь, насколько другой...»

«Что ж это такое? Нет, этот Августин слишком забивает себе голову Цицероном. *O vitae Philosophia dux!*»*

«Нет, Верекунд, нет! На сей раз дело не в Цицероне...»

«А в ком же?»

«Это нечто совсем иное, Верекунд! Как тебе объяснить?... Можно сказать, Бог явил ему Свой Лик... Это случилось не где-то вдали или рядом, а в нем, внутри. Свет, ослепляющий и остающийся в глазах... в душе... Бог Августина это Бог Амвросия, Моники: Иисус Христос!»

«Бог моей жены!», — добавил Верекунд, чтобы показать, что и он как-то к этому причастен. — Я знаю, что Августин без ума от проповедей Амвросия, но я думал, его восторгает только красноречие епископа...»

«Сначала так и было. Он слушал Амвросия, Симплициана, свою мать... Но потом с ним заговорил Бог...»

«Но что это означает, Алипий? Что же произошло? Сам Бог явился ему?»

«Возможно!»

«Видение?»

«Не совсем: в душе его воссиял свет, не похожий ни на какой другой...»

«И он стал христианином?»

«Да, конечно! Сейчас он больший христианин, чем сам Папа. Я знаю, как ты его любишь и хочу рассеять все твои тревоги: христианин он убежденный, и этим счастлив.

«Значит, в каком-то смысле мы его потеряем?»

«Я — нет!»

«А почему ты — нет?»

«Потому что то, что пережил он, пережил и я... Я бы хотел, чтобы и ты испытал это... Того же хотел бы и Августин, который всей душой тебя любит...»

«Ты хочешь сказать, Алипий, что Августин обратился, и ты вместе с ним?»

«Верно!»

«И что же это? Итог философских раздумий?»

* О, вожатый философской жизни (*лат.*).

«Скажи, ты вот в один прекрасный день влюбился в свою жену? Как это было? Вспомни! Привела ли к тому долгая, ставшая привычкой дружба, или это было как удар грома? Согласись, Верекунд, что иные влюбленности — словно гром среди ясного неба!»

«Ну конечно!», — с волнением отвечал Верекунд.

«Вот. Но я уточнил бы, что для Августина небо не было ным; оно предвещало грозу. С давних пор был он болен Богом. Но гром наконец прогремел! И сейчас он как бы влюблен... В Христа!»

«Так что же, Августин теперь крестится?»

«Он уже говорил об этом с епископом Амвросием. Это будет в следующем году, на Пасху. Я тоже приму крещение!»

«Алипий, — по-дружески участливо начал Верекунд, — я знаю, как серьезен и разумен Августин... Но утомление, разочарования, все вместе взятое могло породить какие-то грезы... Августин — философ, писатель... Может быть, он излишне драматизирует свои переживания...»

«Верекунд, если такой человек, как Августин, говорит тебе, что он слышал, как можешь ты не поверить ему и заявить: ты ошибаешься? Августин человек реальный, не склонный к иллюзиям, да и вообще он принимает что-то, только тогда, когда держит в руках зерно истины... А к тому же, я ведь был с ним в саду и сначала даже испугался, в таком он был волнении; никогда я его прежде таким не видел, ему даже мое присутствие стало в тягость. Бурный плач и тотчас — радость и торжество, необъяснимое ликование, которое и мне передалось...»

«Но чтобы человек вот так, за одно мгновение, изменился, что же должно было прикоснуться к его сердцу?», — полюбопытствовал Верекунд.

«Не знаю, как объяснить тебе... Если Бог есть, разве не может Он действовать в нашем бедном сердце силою любви? Савл из гонителя стал христианином. Вот уже четыреста лет рассказывают о многочисленных обращениях, и есть случаи, которые трудно отрицать... Вновь уверяю тебя: Августин мирен... Тот же, что и раньше, и все же другой; вот увидишь его и будешь за него рад. Может быть, Верекунд, через несколько веков мир станет христианским, люди будут рождаться христианами, не осознавая, что «быть или не быть христианином» — вопрос веры. Но

пока христианство — религия неофитов! Четыреста лет обращения...»

И здесь беседующие вдруг вспомнили о Небридии.

«Что же ты все молчишь, Небридий?», — пристыдил его Верекунд.

«Я слушал и размышлял... Уже давно я думал, что что-то такое должно произойти. Я рад, что это случилось. И еще — спокоен за Августина и Алипия; только вот страшно им завидую...»

Верекунд подвел итог: «Скажите Августину, что я хочу обязательно с ним увидеться. Собрался он в отставку или не собрался, вила в Кассициаке ждет всех нас. На сей раз осенние каникулы проводим там. И никаких отговорок: это приказ...» (ср. «Исповедь» IX, 2).

Когда Алипий сообщил Августину и Монике о своем разговоре с Верекундом и о его настоятельном предложении провести каникулы в Кассициаке, оба они сочли этот план очень удачным.

«Это поможет вам избежать лишних разговоров...», — заметила Моника.

«Не только, — добавил Алипий. — Мы наконец попробуем осуществить тот идеал жизни в общине, о котором давно мечтали...»

«Мы назовем его, Алипий, не как древние, «*otium litterarium*» или «*philosoficum*», а «*vitae christianae otium*»*, — подхватил Августин. «Мы теперь знаем, где Красота. Вместе с псалмопевцем будем искать лик Божий..., Христа и Невесту Его Церкви! Ты чувствуешь, Алипий, как по-другому теперь звучит для нас Святое Писание, когда мы говорим: “Как лань желает к потокам воды...”»

«Верекунду уже известно, что ты приготовил прошение об отставке...» — предупредил его Алипий.

«Хорошо, что я дождался этих последних дней учебного года, чтобы подать его...»

«Да, готовься, Августин! Это будет, как удар грома...»

«Верекунду придется еще несколько дней никому ничего не говорить... А с другой стороны, нельзя было поступить иначе! Я ждал почти до самых каникул, чтобы меня не обвинили в жела-

* «литературный» или «философский досуг», а «досуг христианской жизни» (лат.).

нии привлечь к себе всеобщее внимание, преждевременно покинув пост, находящийся у всех на виду. Каникулы предоставят начальству достаточно времени, чтобы подыскать на мое место другого. Никто не сможет сказать мне, что я стремлюсь возвеличить себя... Да, я понимаю, поступок мой будут обсуждать, он не может остаться незамеченным, наговорят по этому поводу всякого... Но моя крайняя утомленность, затрудненное дыхание, покалывания в груди вполне извиняют меня. Громко не могу и слова сказать, не закашлявшись. Если кто-то будет спрашивать о причинах, упирай на эти мои невыдуманные трудности, Алипий!»

«Ну конечно! Не беспокойся... Слухи, толки... сегодня есть, а завтра никто о них и не вспомнит. Скоро поедем в Кассициак... А уж там-то о миланских пересудах мы точно ничего не услышим!» (ср. «Исповедь» IX, 2).

СЕЛЬСКАЯ ИДИЛЛИЯ В КАССИЦИАКЕ

Деревенская глушь, тишина, нарушаемая чаще разноголосицей домашних животных, щебетом птиц и журчаньем ручья, чем человеческими голосами, обилие зелени и заснеженные горные вершины, дикие леса вокруг — все это укрепляло Августина, которого всегда вдохновляли картины природы, в его духовном порыве и помогало всей компании молодых друзей в их созерцательных упражнениях. Там были Алипий, иногда отлучавшийся по делам в Милан и спешивший вернуться назад; Моника, четырнадцатилетний Адеодат, Навигий — брат Августина, непостоянный Лицентий с Тригечицем, двоюродные братья Ластидиан и Рустик.

Были там и постоянные жители, арендаторы имения, которые, должно быть, с большим уважением относились к этим городским господам, друзьям своего хозяина, и особенно к Августину, кладезю премудрости...

По обычаю гости должны были принимать посильное участие в полевых работах, и Августин с удовольствием выполнял эти обязанности, полагая, что физический труд прекрасно дополняет ученые изыскания. Они не только собирали виноград, но и вскапывали землю, сеяли, подрезали деревья, выпалывали сорняки и укрепляли почву в преддверии дождей, пасли скот. В общем, выполняли обычную крестьянскую работу, от которой появляются мозоли на руках.

Вот какой, оказывается, был идеал жизни у этого ревнителя науки, которого нам привычнее представлять себе подслеповато вглядывающимся в очередную рукопись. На самом же деле: «какое может быть еще более удивительное зрелище, или где человеческий разум может еще, так сказать, беседовать с природой, как не там, когда, при посеве семян, при выращивании отводков, при пересадках кустов, при прививке виноградных черенков, он как бы вопрошает каждую силу семени или корня, что она может и чего не может, что значит при этом невидимая и

внутренняя сила зачатков и что — извне прилагаемый труд, и приходит к заключению, что «и насаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог возращающий» (1 Кор 3,7)? Ибо и то, что при этом привходит со стороны, привходит через того, кого сотворил и кем невидимо управляет и распоряжается Бог!» («О книге Бытия, буквально» VIII, 8*).

Кассициак, мог ли он когда-нибудь забыть тебя! Цитадель мысли или первый «набросок» Града Божия? В тех краях, в низовьях Альп, жил некий Дардан, отставной префект, который превратил свое селение в «цитадель» с названием Теополь («Град Божий»), быть может, вдохновляясь примером гостя Кассициака, который к этому времени был уже епископом в Африке. Даже мыслители из язычников ощущали потребность бежать от суеты больших городов и искать покоя, благоприятствующего размышлениям, в тиши и уединении своих обширных поместий, собирая там дружеские общины. В ту эпоху такая утопия или идеал пользовались большой популярностью и, конечно, являлись реакцией на, как бы мы сегодня сказали, несоответствие душных, закупоренных городов «человеческому измерению». А впрочем, еще Плотин замыслил город философов: Платонополь.

Именно такой идеал дружбы и созерцания истины Августин положит в основу устройства своих монастырей.

Для Августина деревня духовнее и проще, чем город, менее естественный, какой-то вычурный. Августин сам был человеком не городским по рождению, и в Кассициаке он вновь погружался в атмосферу своего детства, когда в маленьком селении Тагасте крестьяне и пастухи, леса, оливковые рощи и виноградники, неприрученные птицы и домашние животные, плоды земли, выращенные и дикие составляли единое целое, обогащавшее его внутренний мир.

Вот пример сделанных в Кассициаке и там же записанных совместных наблюдений за поведением двух петухов: «Мы пошли в бани. Эти бани, когда, по причине пасмурной погоды, мы не могли находиться в поле, были удобным и обычным местом для наших состязаний. И вот перед самыми дверьми мы увиди-

* Здесь и далее при цитировании трудов Августина «О порядке», «О книге Бытия, буквально», «О жизни блаженной», «Об учителе», «Монологи», «Против академиков», «О количестве души» используется издание: Творения блаженного Августина, Епископа Иппонийского Киев, 1914 (*прим. перев.*).

ли петухов, вступивших в весьма жаркий бой. Вытянутые вперед головы, растопыренные на головах и шеях перья, ожесточенные удары, стремительные атаки, предусмотрительные увертки... Стоило посмотреть на поведение победителя, который оповестил о сдаче противника гордым пением и привел в порядок всклокоченные перья, празднуя добытое превосходство. Стоило посмотреть и на побежденного, знаком поражения которого служили выщипанные на шее перья, безобразный голос, неверные и неуклюжие движения ног...» (ср. «О порядке», I, 8, 26).

Подобные наблюдения за природой становились отправной точкой для кассициакских Диалогов Августина, или обогащали их. Но для того, чтобы распознавать язык природы, как говорит Августин, нужны глаза, «влюбленные в премудрость»; гармония разума, который дает порядок и меру всем одушевленным существам и неодушевленным предметам.

Так, в диалоге, возникали «почему?» Почему все петухи ведут себя так? Может быть, чтобы господствовать над курицами? Почему самый вид драки доставляет нам удовольствие? (ср. «О порядке» I, 8). Такого рода наблюдательность вообще присуща Августину. Вот он видит наседку и вокруг нее — цыплят. Вдруг из сырой щели в стене вылезает скорпион. Курица собирает своих птенчиков в кучу, нацеливается, взъерошив перья, на ядовитую тварь, клюет и проглатывает ее. Августин размышляет: курица переварит и усвоит скорпиона, как и всякую другую пищу... А потом? Она переработает его в яйцо! И он придумывает притчу о «евангельской курице». «Евангельская курица» это Церковь, которая защищает веру чад своих от врагов веры. Но, сражаясь с ними, скольких врагов она обращает! Яйцо символизирует христианское перерождение злых (ср. Проповедь CV).

По некоторым кратким описаниям, разбросанным по «Диалогам», мы можем с достаточной степенью достоверности восстановить обстановку этого деревенского дома-усадьбы, распорядок дня маленькой общины, и, конечно, ход разговоров. Мы бы сейчас в подобных обстоятельствах вооружились магнитофоном. Но древним не пришлось бы нам завидовать. У них больше, чем у нас было принято «сохранять» для потомков сказанное, и они умели защищать слово от забвения. Присутствие стенографа, который аккуратно записывал каждую реплику лиц, участвующих в диспуте, было чем-то само собой разумеющимся.

ся. Благодаря этому мы располагаем своего рода записью всего того, что они говорили день за днем, и живыми отчетами о смене мизансцен.

Кухня, столовая и бани располагались на первом этаже. Ели они, по обыкновению, три раза в день: завтракали хлебом с медом или с сыром; обед, *grandium*, как можно понять из трактата «Против академиков», состоял из хлеба, мяса, овощей, сухих фруктов, теплого вина с медом и сладостей с миндальным орехом, и поглощался очень быстро, и стоя; наконец, ужин, *соена*, представлял собой наиболее обильную трапезу.

Августин спал в одной комнате с Лицентиумом и Тригечиумом, окна этой комнаты выходили на восток и вбирали в себя первые лучи солнца. Мы узнаём и то, что стены, согласно тогдашнему римскому обычаю, расписывались, или, во всяком случае, покрывались краской («Монологи» II, 12, 22).

Сельское поместье не могло обойтись без погребов и кладовых, чуланов и амбаров,— мест, безусловно, облюбованных и обжитых мышами. В книге «О порядке» говорится об этих маленьких грызунах, докучавших почтенной компании.

Имение Верекунда, судя по всему, достаточно скромное, использовалось для летнего семейного отдыха и, очевидно, являлось осуществленной мечтой представителя среднего сословия, миланского преподавателя высшей школы, сумевшего привести материальную сторону жизни в полное соответствие с достигнутым положением.

Стояла осень, нередко целыми днями лил дождь, и Августин размышлял над этим, как чужестранец, привыкший к другому климату: «Кто не затруднился бы ответить тем, которые спрашивают, почему итальянцы всегда желают сухой зимы, между тем как наша бедная Гетулия постоянно жаждет дождя?» («О порядке» II, 5, 15). Августин познакомился с падуанскими туманами, но наверняка согласился бы и с Мандзони, сказавшим: «О небо Ломбардии, сколь ты прекрасно, когда погода прекрасна!» Нечто подобное он скорее всего произнес на третий день диспута о блаженной жизни: «На третий день нашего состязания утренние тучи, загонявшие нас в бани, рассеялись, и в послеобеденное время наступила весьма ясная погода» («О жизни блаженной» IV, 23).

В эти месяцы Августин спокойно и неотступно продвигается по пути веры. Не важничая, непринужденно общается с более моло-

дыми друзьями, весел, много шутит, смеется, и совсем не похож на человека, впавшего в отвлеченно-мистическое состояние, разве что, — когда пишет удивительную книгу «Монологов», предшественницу «Исповеди». Он начинает «Гимном Богу», словно величественной увертюрой. Руководит прениями в уже упомянутой книге «Монологов», а также в диалогах «Против академиков», «О жизни блаженной», «О порядке», «О бессмертии души».

Если для других это учеба, познание нового (хотя каждый вносит свой вклад в поиск истины), то для Августина это уже исхоженные тропы, темы знакомые, но раскрывающиеся по-новому в свете веры. Кто-то из них иногда не участвует в той или иной беседе: Алипий ненадолго отлучается по делам в Милан; мудрая Моника вставляет словечко, но нечасто: на ней — домашнее хозяйство; это она, когда приходит время трапезы, подает сигнал о прекращении обсуждения, чтобы не остывала еда на тарелках. Порой слышен голос Адеодата.

Ночью — большой концерт лягушек и сверчков. Где-то внизу журчит ручей: вода с трудом пробивает себе дорогу в листе, принесенной шальным ветром. Шумит дождь, мышь грызет шкаф или шуршит, быстро пробегая по-комнате... Зимние ночи с полнолунием...

«Юноши получили от меня наставление упражняться в размышлениях и приучать себя к сосредоточенности, пребывая в молчании после чтения... (ср. «О порядке» I, 3, 6). Однажды, по доносившемуся из их комнаты гаму, он понял, что они не спят и отнюдь не соблюдают тишину, и вошел к ним. Прения разгорелись с новой силой и продолжались так долго, что Августин уже не знал, свет луны или зари видит он в мутном окошке. Мимолетное наблюдение Августина позволяет нам заключить, что эта беседа имела место в ночь с 20 на 21 ноября 386 года, потому что в Ломбардии тогда было полнолуние, и бледное светило зашло около шести утра (ср. там же). Возможно, это окажет услугу тем исследователям, которые подвергают сомнению подлинность «Диалогов».

Есть в кассициакских книгах и сценка научно-философского содержания. Ее невыдуманные герои пытаются установить местоположение души, для чего производят опыт вивисекции.

Солнечный осенний день. Лицентий и Тригений лежат на траве, наслаждаясь дивной погодой. Они замечают ползущую по

своим делам тысяченожку. Тригений сухой веточкой рассекает животное пополам, и вот уже обе части продолжают путь самостоятельно, в противоположных направлениях. В крайнем удивлении юноши ловят их и приносят жертву своей любознательности Августину, который как раз обсуждает с Алипием проблеме души. Где расположена в теле душа? Два учителя берут гладкую доску, сажают на нее эти живые частицы и продолжают производить вивисекцию, пытаясь отыскать ахиллесову пяту тысяченожки. Но чем больше они режут, тем больше жизней становится у червячка.

Этот эпизод Августин рассказал в книге «О количестве души», написанной в Риме следующей зимой, между 387 и 388 годом. Произведение это посвящено изучению вопроса о союзе души и тела. Тогда же, подвергнув вивисекции не сдававшуюся тысяченожку, он наказал юношам держаться в своих научных занятиях определенного порядка и отложить на более подходящее время рассмотрение этого вопроса, «чтобы большая постройка, подкрепленная таким долгим рассуждением, не рухнула, будучи проточена одним червячком...» (ср. «О количестве души» XXX, 62).

Беседа людей между собой перемежалась их беседой с Богом — молитвенными песнопениями. Амвросий положил стихи псалмов на сладчайшую и простую мелодию — амвросианский распев. Один из напевов особенно нравился Лицентию, и, как бывает, постоянно звучал у него внутри и рвался наружу. Напевал он всюду, куда бы ни шел.

Вот и однажды вечером, отправившись за малой нуждой в отхожее место, он продолжал петь. Распевал он слова из восьмого стиха LXXIX псалма: «*Deus virtutum, converte nos et ostende faciem tuam...*». «Боже сил, обрати нас, и да воссияет лицо Твое...»

Монику это возмутило. «Лицентий!,— в негодовании закричала она из комнаты,— тебе что, кажется, что это самое подходящее место для пения псалмов?»

Из своего прибежища общего пользования Лицентий отвечал, как проказливый мальчишка: «А что в этом плохого? Если б какой-нибудь разбойник запер меня здесь, думаешь, Господь не услышал бы мой голос и не пришел мне на помощь?»

Происшествие это имело продолжение на следующее утро, когда Лицентий встал по тому же поводу, а Августин еще лежал

в кровати. Возвратившись в комнату, юноша подошел к учителю: «Скажи мне по правде, как ты ко мне относишься? Ведь вчера вечером твоя мать отругала меня... Может, я и правда вел себя, как шкодливого юнец?»

Августин улыбнулся и ласково взял его за руку: «Тебе важно, как я к тебе отношусь? Что ж, не вижу в твоём поступке ничего плохого... Этой песне, на мой взгляд, соответствовали и место, которым мать была оскорблена, и ночь. Ведь от каких дел и предметов Бог обращает нас к Себе? Разве не от некоторой телесной нечистоты и грязи, а также от тьмы, которою охватывает нас заблуждение?..»

«Совершенную истину говоришь ты, Августин! Я теперь стыжусь нравственной грязи, потому что чувствую сильнейшее тяготение к чему-то великому и дивному. Это и значит быть обращенным к Богу! Не то что без зазрения совести распевать этот стих из псалма в известном месте...»

«Мне это совсем не кажется предосудительным,— сказал Августин.— Это не нарушает порядка, из этого можно извлечь урок... От каких дел молимся мы быть обращенными к Богу и увидеть лице Его, как не от грязи чувственности, а также от тьмы, которой охватывает нас грех? Что же такое, Лицентий, быть обращенным к Богу, как не твердо стоять в добродетели и умеренности, удалившись от мерзостей? Да и что иное лице Божие, как не та самая истина, которой мы жаждем, красота, которая делает нас прекрасными, как только мы полюбим ее?»

«Спасибо, Августин! Ничего прекраснее ты не мог мне сказать!»,— растроганно проговорил Лицентий. Затем вполголоса, склонившись к уху учителя, добавил: «Ты прости меня, пожалуйста... Но сколько же разнообразных обстоятельств помогают мне поверить чудесным вещам, которым и мы оказываемся причастны!...» («О порядке» I, 8, 23).

Несколько лет спустя, из Рима, где он тоже учился, Лицентий писал Августину в Африку, с тоской вспоминая Кассициак: «О, если бы несущая радость заря вернула меня назад, в те дни, проведенные посреди Италии, где с тобою страстно стремились мы к идеалам духовным; о если бы она возвратила меня к непорочным законам праведной жизни, подобным тем высоким горам!» (Письмо XXVI, 4).

Похоже, что в Риме Лицентий жил довольно... распушенно*; и что Августин, любивший его, был этим обеспокоен.

Должно быть, Кассициак стал для всей компании, но в особенности — для Августина, Адеодата, Алипия и Моники чем-то вроде кануна бракосочетания. Много делается для подготовки к нему, но в голове одна мысль: о грядущем супружеском соединении. Вот как Августин размышляет о Церкви: «Какая глубокая тайна! Мы были приглашены на брак, и вот, мы сами и есть брак... Мы сами — невеста и спокойно ожидаем Жениха. Невеста это Церковь! (Проповедь Ламбот 16; Проповедь CCLVI, 5).

В этой обстановке, благоприятствующей созерцанию и приближенности к Богу, нет ничего нарушающего покой; без всякого смятения переходят они от духовных занятий к иным, мирского порядка, и дух их свободен: «Мы начали рассуждения, когда солнце уже склонялось к закату; а день почти весь провели в распоряжениях по деревенскому хозяйству... («Против академиков» I, 5,15). Или: «На другой день, хотя погода была приятная и тихая, мы едва смогли освободиться от домашних занятий, как ни манила нас необыкновенная ясность неба. Мы подошли к обычному дереву и там уселись...» («Против академиков» II, 25). И еще: «Вчера мы отправлялись в постель с мыслью встать только для возобновления прерванной беседы и ни для чего другого. Но встретилось нам столько неотложных дел по хозяйству, что пришлось в первую очередь заниматься ими...» («Против академиков» III, 2).

Целебный воздух укреплял тело, но кое у кого возникли все же неприятности со здоровьем. Переев миндальных пирожных, Навигий заработал расстройство желудка. У Августина заболели зубы, да так, что он не мог говорить. Ему пришлось нацарапать на покрытой воском дощечке записку к друзьям с просьбой помолиться об избавлении от жесточайшей боли. Все преклонили колени и попросили благого Господа о милосердной помощи. И тотчас боль исчезла: «Но какая боль! и каким образом она исчезла? Признаюсь, я устрасился: ничего подобного не испытывал я с начала жизни моей» («Исповедь» IX, 4).

«Большую часть дня провели мы в писании писем и вышли на луг...» («Против академиков» II, 11,25). Кому же писал Августин? В их компании не хватало нескольких близких друзей. Шел учеб-

* В оригинале — игра слов: само имя Licentius может означать «распушенный» (прим. перев.).

ный год. Верекунд и Небридий, его помощник, должны были на- ходиться в Милане, преподавать школьникам грамматику.

Итак, вот что Августин пишет Небридию: «Твое последнее письмо читал я при свете свечи, уже после ужина. Настало время пойти отдохнуть, но это не совсем то же самое, что пойти спать... Улегся на кровать и стал читать тебя, и меж тем как я читал тебя, а ты навел меня на некоторые размышления, за- вел я сам с собою такой разговор: «Неужели правда то, что ут- верждает о тебе Небридий, будто ты, Августин,— счастливый человек?» (Письмо III, 1).

Верекунд и Небридий! Два больших друга, по которым он так скучал в Кассициаке, не ставшие еще христианами, но столь дорогие ему... Верекунд заболеет вскоре после отъезда Августи- на из Милана в Африку и умрет осенью 387 года, но перед смертью и он примет крещение.

Небридий вернется в Африку, примет крещение вместе с ма- терью и братом Виктором и будет жить в целомудрии и воздер- жании, намереваясь вступить в первый монастырь Августина в Тагасте. Смерть опередит его в 389 году.

Весьма знаменательное письмо Августин написал Амвросию. Жаль, что оно не дошло до нас. Впрочем, нам известно его со- держание: Августин изложил его в «Исповеди». В этом письме он рассказал епископу о всех заблуждениях ума и сердца своего, выказал намерение исправить их, предавшись жизни, всецело отданной Богу: настоящая исповедь за все, что совершил в про- шлом! Он просил совета: как лучше подготовиться к крещению и какие из книг Священного Писания прочитать, чтобы укре- питься в христианском призвании?

Амвросий велел ему читать книгу пророка Исаии.

Августин приступил к ней, но быстро обнаружил, что Исаия ему пока не по зубам: зубы-то были молочные... И он остановился до поры на апостоле Павле. Обращенный на пути в Дамаск протяги- вал руку обращенному под миланской смоковницей!

«Оставив деревню, вернулись мы в Милан...». Августин с грустью покидает этот уголок ломбардской земли, как оказа- лось — навсегда. Величественный и прекрасный пейзаж вновь возникнет перед его глазами в Африке, когда, епископом, он будет истолковывать в проповеди символическое значение *Горы*, упоминаемой в псалмах.

В тот день он слегка помедлит, прежде чем приступить к истолкованию выражения «mons incaseatus», «гора благодатная», как символа, прообразующего Христа, словно описание благодатного изобилия и само звучание латинских слов перенесло его в незабываемый и прекрасный Кассициак*.

И уж конечно высокие горы Ломбардии стояли перед его мысленным взором, когда он пытался объяснить недоумевающим африканцам, что такое лед, что такое вечные снега: «Лед? Это такой хрусталь, глыба белого, белейшего стекла... Снег, не тающий годами, смерзшийся так крепко, что растопить его невозможно... Громадные пласты снега, один на другом, годы и годы не поддаются зною теплой поры, в особенности *в тех краях*, где солнце и летом не очень жаркое...» («На Псалом CXLVII, 2»).

Амвросий постановил, что в начале Великого Поста будет экзамен для записавшихся на крещение. Из кассициакской компании в их число входили трое: Августин, Адеодат и Алипий.

Желающих креститься начинали вносить в список в праздник Богоявления, и Амвросий заботливо напоминал об этом: «Почему же никто еще не пришел записаться? Я забросил крючок в день Богоявления, но пока не поймал ни одной рыбы...» («Толкование на Евангелие от Луки» IV, 76).

Пасха в 387 году приходилась на 25 апреля, так что первое воскресенье Поста было 14 марта. Августин никак не хотел опоздать на экзамен! Итак, они двинулись к Милану, закутавшись с головы до пят в теплую одежду. Немногочисленные вещи они водрузили на ослика, призванного также облегчить тяготы путешествия Моники.

Но для Августина и Алипия этот путь, который вел к источнику благодати, стал покаянным паломничеством. Они ощущали себя последним отрядом израильтян, бегущих из *Египта*, к Красному Морю и к пустыне *Земли Обетованной*...

Настолько были исполнены они покаянного настроения, что Алипий пожелал босиком пройти по обледенелой земле. Августин вспоминает об этом с восхищением: «Алипий уже облекся в смирение, подобающее Твоим таинствам. Мужественный укротитель тела, он отважился на поступок необычный: прошел босиком по ледяной земле Италии...» («Исповедь» IX, 6).

Паломники ко крещению, они «шли и пели»...!

* Cp. O. Perlier, Les Voyages de saint Augustin, p. 181..

В БАПТИСТЕРИИ СВ. ИОАННА *AD FONTES*

И настала ночь, светлее дня, ночь великой субботы 387 года, 24 апреля. Ночь пасхального бдения, которое великий режиссер литургического действия, епископ Амвросий, умел наполнить ритуальной мощью, словно соприкасаясь с тем мигом изначального творения, когда Бог возгласил: *Да будет свет!*

Амвросий был не только священником, но и поэтом и музыкантом. Он создавал литургию, ощущая и гениально истолковывая ее таинственную суть, придавая упорядоченность и строгость соборной молитве. И ревниво относился к своему детищу. Когда ему говорили: «В Риме так не делают», он, в вопросах веры стремящийся во всем следовать Риму, по поводу литургии замечал: «В Риме пусть соблюдают свои обычаи; в Милане делают так» (ср. «О таинствах» III, 6).

Его обряды обладали одновременно силой благовестия о мире ином и красотой зрелища. Верные не только и не столько еще раз вместе со священнослужителем отмечали памятный праздник, сколько праздновали, сослужа ему, совершенное *воскресение* от всякого рода смерти и печали, в торжество радости. Это было Христово *искупление*, полное и всеохватное, почти что самостоятельная тайна, подобная *творению*, которая делает из Бога-Творца также *Искупителя* по существу.

В теологии Амвросия *искупление*, конечно же, предполагает наличие человеческого греха. Но осквернившее всё заблуждение парадоксально становится залогом вознаграждения. В *пасхальной хвале*, сочиненной Амвросием, есть смелые слова «O FELIX RUINA!», «о, блаженное падение», которые указывают на то, что существует таинственная необходимость в грехе как опоре Божьего прощения.

Амвросиева Пасха представляла собой праздник, все свои мотивы черпающий из христианской веры, и вместе с тем — какой-то взрыв космической силы, я бы сказал, силы *всечеловеческой, всеохватной*. Основным моментом священнодействия было

крещение новообращенных и новое осмысление этого таинства всеми верующими.

Амвросий брал на себя заботу о религиозном просвещении неофитов в дни Великого Поста, и Августин подробно знакомит нас с этим пастырскими трудами. Мы располагаем стенографическими записями «лекций» выдающегося епископа, «О таинствах», «О тайнах», «О покаянии». Но особый интерес вызывает текст под названием «*Explanatio Symboli*» («Объяснение символа»), являющийся аналитическим, почленным разбором Символа веры. Здесь особенно ощущается, что перед нами — запись, сделанная с голоса учителя, которого внимательно слушают прилежные ученики. Это не столько письменный текст, сколько именно записанная живая речь.

Но подготовка к пасхальной службе распространялась и на весь народ, которому в праздничном ритуале отводилась главная роль. Это была настоящая *экклезия*!*

Время от времени гремел повелительно голос епископа: «*Signate vos!*», «Осените себя крестным знамением!». И все верные следовали его призыву...

Любопытная вещь! В ту эпоху, когда в Церкви как будто, благодаря необыкновенным личным качествам этих епископов, господствовала клерикальная форма правления, на самом деле, очень многое определялось активным участием мирян в ее жизни. Шла общая работа под руководством постановщика, без которого не обойтись, когда речь идет о том или ином роде драматургического действия. Все происходило, как в театре, где все актеры, и «массовка» должна в стройном порядке перемещаться между двумя местами действия, Собором и Баптистерием, — прилегающими друг к другу зданиями. Плотная толпа переливалась из одного портала в другой, из собора в баптистерий, колыхаясь в свете факелов. В ходе подготовки к исполнению песнопений и гимнов (сочиненных самим Амвросием), приходилось принимать во внимание законы драмы, потому что драма это смерть Христа, драма — грех, в котором смерть осуществляется, драма — само избавление грешников.

Была в ту пору в Милане и конкурирующая Церковь, арианская, находящаяся под покровительством императрицы Юстины.

* Церковь (*греч.*), букв.— «собрание народа» (*прим. перев.*).

Пасхальную службу и обряд крещения совершали как кафолики, так и ариане. И нельзя было избежать вполне объяснимого состязания по случаю этих больших религиозных событий.

Как раз в те дни сторонники истинной веры получили преимущество в этом споре, благодаря чудесному обретению мощей мучеников Гервасия и Протасия. Народ был потрясен рассказами о происходящих чудесах. Августин и сам свидетельствует об одном из них, когда некий весьма известный человек, потерявший зрение, пожелал прикоснуться к мощам носовым платком и затем, поднеся его к глазам, тотчас прозрел.

Вот в каких обстоятельствах должно было совершиться крещение Августина.

Посещая лекции Амвросия, он не оставлял и самостоятельной глубокой подготовки к грядущему таинству. Как раз к этому времени относится его трактат «О бессмертии души», один из «Диалогов», начатый и не законченный в Кассициаке.

Амвросий сам построил свой собор, «Ecclesia Maior» («Большая церковь»), получивший такое название, поскольку рядом располагалась другая базилика, «Ecclesia Minor» («Малая церковь»), меньшая по размеру и приспособленная для ломбардских зим. Недалеко от Большого храма он возвел красивый восьмиугольный баптистерий Сан Джованни алле Фонти, св. Иоанна на водах.

Нам следует с благодарностью вспомнить строительство метро в Милане в шестидесятых годах, поскольку в ходе раскопок вернулся на свет Божий амвросиев баптистерий, где несомненно принял крещение Августин. «Раскопки баптистерия», — пишет Анджело Пареди, — «начались в мае 1961 года и завершились в конце 1962. Строители раскопали широкий восьмиугольник правильной формы, с расстоянием 19,30 м между двумя противоположными ребрами. Внутри каждой стороны расположена ниша, то круглая, то прямоугольная, попеременно. В каждом внутреннем углу, между восемью нишами, стояли колонны на основании с квадратным цоколем. В центре находится большая восьмиугольная купель. Дно ее выложено мраморными плитами, а по краю спускаются кирпичные ступени (когда-то они были облицованы мрамором), от которых, впрочем, мало что осталось. Расстояние между двумя противоположными краями купели — 5,16 м; длина стороны — 2,14 м. Ее глубина — 80 см от уров-

ня пола баптистерия, который, в свою очередь, находится примерно в 2,80 м ниже уровня современной площади миланского Собора. Вокруг купели идет вделанный в наружную стену подводящий канал, в котором имеются четыре симметричных разлома, указывающих, очевидно, на входные отверстия, такие же, как в ваннах холодной части римских бань. Сточный канал был обнаружен на оси южных дверей»*.

Баптистерий расположен точно под фасадом Собора. И у нас есть теперь счастливая возможность преклонить колени у края купели, столько веков скрытой от глаз людских, осознавая, что в нее погружался великий Обращенный.

Августин, африканец по рождению, римлянин по культуре, миланец по новому рождению во Христе, своим обращением и крещением, пребыванием в Брианце или Варезотто (ломбардских селениях, рядом с которыми предположительно находился Кассициак), «предопределил» волю Провидения, разместившего его могилу на земле Ломбардии, в монументальном саркофаге, изваянном Мастерами с острова Кампьоне под сводами базилики Сан Пьетро ин Чьель д'Оро в Павии, где король Лиутпранд поместил его тело, после того, как выкупил его, заплатив золотом.

«*Signate vos!*», «Осените себя крестным знамением!», — начал Амвросий... И благословил священный огонь, отблески которого выхватывали из темноты просветленные лица...

От священного огня он зажег большую пасхальную свечу, изображающую Христа Воскресшего, и каждый взял себе часть этого пламени. Последовало чтение Священного Писания, от первых дней творения до перехода израильтян из Египта в Землю Обетованную...

Вот и крещаемые цепочкой переходят из Большой церкви в крестильню Св. Иоанна на водах...

Амвросий ободряет обнаженных неопитов, окруживших восьмиугольную купель. Он говорит: «Не потому хваюсь, что праведен, но потому что искуплен; не потому хваюсь, что безгрешен, но потому, что грехи мои были отпущены, ибо Христос ходатай мой у Отца, и кровь Свою пролил. Грех стал наградой за мое искупление, чрез грех мой Христос подошел ко мне. Грех

* A. Paredi, Il Battistero di S. Giovanni alle Fonti, p. 65.

плодотворнее непорочности. Непорочность сделала меня гордым, грех вернул мне смирение...» («Иаков» I, 6, 21).

Затем епископ за руку подводит крещаемого к самому краю купели: «Видишь эту воду...? Мы у Крещальной Купели... Что ты только что говорил? Не забывай этого! Сначала Диакон тебя помазал, потом Пресвитер: ты вступил в неустанную борьбу, ты атлет Христов. *Signate vos!*».

Позднее и Августин использовал образ состязаний на стадионе: «Ты был призван на бой. Но мужайся! Тот, Кто устроил эту схватку,— на трибунах стадиона и болеет за тебя!» (Проповедь CCCXLIV, 1).

Амвросий вновь и вновь в своих речениях возвращается к тайне Пресвятой Троицы, Отца, Сына и Святого Духа. «Каждое получаемое тобой таинство, как Троицу ты получаешь».

Он помазует святым елеем ноздри крещаемых. «Зачем помазуются ноздри, зачем же...? Затем, что должно вам привыкать к благоуханию Христову...»

«Ну все, достаточно. Голос устал...»

Они стоят рядом, обнаженные: Августин, Адеодат, Алипий... Августин сам напишет о том, что он чувствовал в эту минуту: «Сколько плакал я над Твоими гимнами и песнопениями, горячо взволнованный голосами, сладостно звучащими в Твоей Церкви! Звуки эти вливались в уши мои, истина отцеживалась в сердце мое, я был охвачен благоговением; слезы бежали, и хорошо мне было с ними» («Исповедь» IX, 6).

Всех больше взволнована Моника: она закрывает лицо руками и сосредоточивается на своей беседе с Богом. Не только Августин причина ее волнения, но и Адеодат и Алипий. Об Адеодате Августин говорит так: «Он красив, умен, что называется, ладно скроен!.. Сын от плоти моей и от греха моего, а теперь — сверстник мой по благодати Твоей...» (ср. там же).

Как и при крещении Викторина, по толпе прошелестело: «Августин! Да, вот там — Августин...». Он приступал к тайне Христовой! И был так поглощен таинством, что не слышал ничего, кроме голоса Амвросия: «*Signate vos!*». Став *чадом Божиим*, он чувствовал, как из слез рождается захлестывающая его волна умиления.

Амвросий священнодействовал, и ничем не выдавал особой взволнованности. Но и его сердце проливалось слезы радости об

Августине, этом чаде его, рождающемся у него на руках, с которых капает на пол баптистерия святая вода...

С этой минуты народ Божий соединил их в легенде гимном благодарения, всепроникающим, вневременным: *Te Deum laudamus!* Тебя Бога хвалим! Народ-пророк провидел, что в этой восьмиугольной купели рождается величайший христианский гений разума и веры.

«КОГДА УЗРЮ ЛИК ТВОЙ?»

Поиск Бесконечного никогда не кончается. Но где и как продолжать его? «Мы обдумывали, в каком месте лучше нам служить Тебе...». Они много говорили об этом, и, возможно, предпочли предложение Моники.

С одной единственной целью отправилась она в свое паломничество по дорогам мира: отвоевать для Бога собственного сына. И Бог внял ее молитвам, дав ей много больше, чем она могла ожидать. Теперь Моника чувствовала желание вернуться в свою дорогую Африку, где у нее остались друзья и могила мужа, рядом с которым она хотела бы покоиться после смерти.

Зов африканской отчизны слышали все. Августин, чью жизнь всегда вело таинственное предназначение, чувствовал, что место его там, в тиши родного Тагаста, где он сможет, вместе с друзьями, осуществить свой идеал созерцательной жизни и наполнить свои годы Господом. Ему было знакомо приветствие: «Желаю тебе дня, наполненного Богом».

Месяцы, проведенные в Милане после незабываемой Пасхи 387 года, он посвятил молитве, беседам, внутреннему пересмотру своей прошлой жизни. Вновь и вновь разбирал он собственные заблуждения, и в голове его роились замыслы: как победить эти прошлые заблуждения, рассмотрев их в свете истины, чтобы помочь тем, кто еще был ими опутан.

Эта истина никогда не давала ему покоя, даже в заблуждении, и теперь тем более он ощущал потребность свидетельствовать о ней своей жизнью и писаниями. Он оставил пока неоконченными «Диалоги», начатые в Кассициаке: «О количестве души», «О бессмертии души». Он завершит их позднее, в Риме. Его в высшей степени интересовала человеческая психология: «Да познаю я себя, Боже, чтобы познать Тебя». В связи с таким интроспективным изучением человека, он замыслил также создать обширную энциклопедию свободных искусств — того рода мыслительной деятельности, который, по его мнению, является са-

мым непосредственным продуктом души. Замысел этот он осуществил только отчасти, ограничившись одним произведением на данную тему: «О музыке». Итак, все решили вернуться на родину и отплыть из Остии до наступления осени 387 года. Но различные обстоятельства, в том числе и некоторая инерция, соединенная с любовью к городу его духовного перерождения и радостных воспоминаний, помешали Августину предпринять вовремя все необходимое для того, чтобы сесть на один из торговых кораблей, отправляющихся в Африку до зимней непогоды, когда навигация прекращалась. Они поздно прибыли в Остию, и поняли, что до весны следующего, 388 года, выйти в море им не удастся. Здесь они сняли дом.

Примерно веком раньше другой африканский писатель избрал Остию местом действия своего диалога *Октавий*; это был тот самый Минуций Феликс, который поставил перед собой цель доказать бессмысленность политеизма и разумность христианства. В начале его трактата Цецилий посылает поцелуй статуе Сараписа, что побуждает Октавия резко упрекнуть Минуция Феликса за то, что он не сумел обратить друга в христианство; затем Цецилий предлагает Октавию устроить диспут о религиозных воззрениях друг друга. Цецилий, апеллируя к традиции, защищает культ богов и нападает на нравы христиан и их учение. Октавий, доказывая существование Бога и отстаивая единобожие, демонстрирует разумность христианского культа и бессмысленность языческого. В конце Цецилий признает себя побежденным, и Минуций, избранный арбитром, говорит, что он рад такому итогу беседы, и радость его разделяют оба участника словесного состязания. Наряду с цicerоновскими и сенековскими реминисценциями, Минуций широко пользуется апологетическими приемами, перемежая спокойное, размеренное рассуждение страстными инвективами, побеждая противника его собственным оружием.

Намного выше диалог между Августином и его матерью: их цель — познать Бога в Его сокровенной глубине.

Они сидят вдвоем у окна, выходящего во внутренний садик, отгородившись от непрерывного гомона перекупщиков и покупателей, которые снуют между бесчисленными лавочками портового города (временное пристанище Августина было недалеко от форума и возвышающегося над Остией здания Курии).

Стремясь обрести полную духовную близость с матерью, он говорит: «Матушка, я счастлив! Поговори со мной о Боге... Я знаю, что люблю Его, тут сомнений нет, непрестанно стучится Он в мое сердце словом Своим... Поговори со мной о Нем...»

Глаза Моники, уже устремленные к ясному небу, расширяются от радости. Но она не отвечает. И они сидят рядом, молча, облокотившись на подоконник. Спины слегка согнуты, но светлые лица смотрят вверх. Внешний мир напоминает о себе только едва слышным слитным гулом портовой толпы.

Незаметно для них Бог руководит ими на пути вглубь, к их внутренней сути. «Во внутреннем человеке, — не отступает Августин, — живет Бог... Поговори со мной о своем Боге, матушка!»

«Но это и твой Бог! Ты разве не чувствуешь, что из двух существ, нас с тобой, Он делает одно...?», — отвечает Моника.

Они говорят все медленнее, как люди, которые постепенно погружаются в сон, покидая привычный мир. Слоги — словно медленно сочащиеся капли. Все глуше их голоса, слышится только легкий шелест губ. К ним приходит таинственное, но от этого ничуть не менее полное понимание друг друга — по бликам какого-то неведомого света. Они ощущают, как легче и легче становятся их тела, как бы уносясь ввысь, к свободе неземных пространств. Все отдаленнее шум внешнего мира, доносящийся до них будто сквозь вату, и вот, наконец, все замирает, окутанное тишиной. «Не знаю, в теле или вне тела...», — сказал бы Павел.

Мнится им, что они медленно приближаются к области таинственного света и что могут спрашивать о самом сокровенном, о таком, что открыть нелегко. Вопросают они прекрасную землю, и та отвечает: «Бог? Это не я...».

Море, бездны, все живущие: «Это не мы, ищите над нами...».

И небо, солнце, луна и звезды: «И мы не Бог...».

Неутоленный дух умоляет: «Скажите же мне хотя бы что-нибудь о Нем...».

Хор космических голосов возглашает: «Творец наш, вот кто Он!» (ср. «Исповедь» X, 6,9).

Радостный вопль вселенной — и глубочайшая тишина, и неохватная область мягкого света, окропленного дивными красками.

Они не замечают, что погрузились в мистическое созерцание, вовлечены в некую реальность, не совпадающую с привычной.

Они ощущают невыразимую сладость, которая медленно-медленно разливается по их душам, слышат музыку — и не музыку, вдыхают аромат — и не аромат, тают в объятиях — и не в объятиях. Ощущения похожие на земные, и все же иные — другой интенсивности, другой природы, неизведанные... Свет, голос, аромат, пища, объятия! Новые понятия, исходящие, можно сказать, лично от Бога Единосущного. Сияет свет, не ограниченный пространством, звучит голос, не подвластный времени, вкушается пища, не теряющая вкуса при сытости, сжимаются объятия, которые не разомкнуть пресыщению: вот каково все это! И все это они любят, любя Бога своего (ср. «Исповедь» X, 6,8).

И вот, тот же вопрос они задают составляющим своего «я», душе и телу. И получают тот же ответ: «Нет, не мы Бог».

Они чувствуют, что поднимаются еще выше, небеса, легкие, как шелк, становятся все яснее, окрашиваются в нежно-розовый, нежно-голубой цвет. Им попадаются навстречу, словно блуждающие ангелы, силы души: разум, воля, фантазия, сила... В этих небесах заключены *идеи* всех вещей; силы — каждая со своим действием, со своей ролью, соответствующей ее специфической красоте; каждая ничем не ограничена и стремится к гармонии целого, а целое простирается к тайному обиталищу Света, в котором живет таинственное Лицо — Он, Он: Господь. Сам Господь...

Как-то незаметно для самих себя они крепко обнялись, словно Августин хотел возвратиться в материнское лоно, а Моника — вернуть в утробу свое дитя, — в некоем симбиозе, уже не естественном, а созданном порывом божественной любви. Теперь не нужно даже малейших усилий, чтобы подняться еще выше, к следующей вершине; они совершают созерцательный полет над сияющей целью своего восхождения, кружась в упоении: видеть и любить! Они ведут разговор без слов — от сердца к сердцу, и прекрасно понимают друг друга, вздыхают от полноты чувств, хотят прикоснуться к блистающему пику этой красоты. Только на одно мгновение, не больше (ср. «Исповедь» IX, 10,24). Это пребывание в лоне Божиим было живым, конкретным, невыразимым опытом. Но длилось оно только миг... Прильнуть на мгновение и вздохнуть от любви... Оставить там «начатки духа». Запомнить навсегда... И — вниз.

Сначала они вновь ощущают ток мыслей, затем, мало-помалу, начинают различать звуки, исходящие из уст, какие-то сто-

ны от чудесной боли, в которых слово рождается и умирает; наконец, до них доносится шум мира. Так познавший тишину неземных пространств возвращается к земной суете.

Этим счастливым, Монике и Августину, матери и сыну, довелось осенним вечером 387 года, в Остии, пережить вместе восторг, какой мы и представить себе не можем, восторг беззаветной, страстной любви к Богу. Окончание трудного паломничества: «Когда узрю лик Твой?». Многие души пережили подобный мистический опыт.

Августин рассказывает об этом необыкновенном путешествии, которое он совершил вместе с матерью, об этом дивном даре — вкусить от Бога, и ощущать потом на устах неопишемую сладость; рассказ прост и начисто лишен напыщенности, простота дает ему силу правдоподобия. Перед нами — пример божественного снисхождения к раскаявшемуся грешнику, допущенному к сокровеннейшим тайнам Отца. Перед нами — блудный сын, которого отец воскресил своею любовью, и теперь вводит в свои потаенные комнаты, дрожа от радости, что вновь обрел сына.

За морем, далеко-далёко, садилось солнце, догорая на горизонте. Спокойное море дремотно шумело. Ни одно создание на свете не заметило, что Господь посетил рабов Своих упоительным видением.

МОГИЛА МОНИКИ

Вечерний воздух быстро остыл, напоминая о наступившей осени, и Моника отошла от окна, нарушив атмосферу мистической встречи. Слова, которые она произнесла, были такими человеческими,— слишком человеческими, чтобы не прозвучать контрастом к только что испытанному блаженству: «Сын! что до меня, то в этой жизни мне уже все не в сладость. Я не знаю, что мне здесь еще делать и зачем здесь быть; с мирскими надеждами у меня здесь покончено. Было только одно, почему я хотела еще задержаться в этой жизни: раньше чем умереть, увидеть тебя христианином-кафоликом. Господь одарил меня полнее: дал увидеть тебя Его рабом, презревшим земное счастье. Что мне здесь делать?» («Исповедь» IX, 10, 29).

Не презрение к жизни и не болезнь (в ее пятьдесят шесть лет) привели ей на уста эти слова прощания. Нет,— она действительно поняла, что полностью выполнила свою материнскую миссию, великую и трудную задачу подготовки сына к отведенному ему предназначению.

Дней через пять после незабываемого вечера она слегла в лихорадке. Во время болезни в какой-то день она впала в обморочное состояние, которое очень встревожило ее домашних. Все в страхе сбежались к ее изголовью. Довольно скоро она пришла в себя и взглянула на склонившихся над нею Августина и Навигия. Спросила, словно что-то ища: «Где я?» Затем, видя их глубокоую скорбь, добавила: «Здесь похороните вы мать вашу...».

Августин молчал, сдерживая слезы. Навигий напомнил ей: «Как же так?! Ты ведь приготовила себе место в Тагасте, рядом с могилой нашего отца...».

Моника приподнялась в постели, строго на него посмотрела; потом, переведя глаза на Августина, сказала, чуть ли не с иронией: «Посмотри, что он говорит!». Затем обратилась к ним обоим: «Положите это тело, где придется; не беспокойтесь о нем; прошу об одном: поминайте меня у алтаря Господня, где бы вы

ни оказались...» (ср. «Исповедь» IX, 11, 27). Высказав это пожелание, она умолкла, страдая от усилившейся болезни.

Сердце Августина переполняли многочисленные воспоминания о его личных обстоятельствах, неразрывно связанных с жизнью матери. В такие моменты близким свойственно задуматься о причинах внезапного смертельного недуга, вспоминать о каких-то предзнаменованиях, предсказаниях, сделанных самим умирающим. В Остии была небольшая христианская община, которую посещала Моника. Незадолго до начала скоротечной болезни, рассуждая там о воскресении тел, она сказала: «Ничто не далеко от Бога, и нечего бояться, что при конце мира Он не вспомнит, где меня воскресить» (*там же* 28).

Итак, на девятый день болезни, на пятьдесят шестом году жизни, эта верующая и благочестивая душа разрешилась от тела. В великой печали Августин, чадо слез, закрыл глаза, из которых они изливались. Когда Моника испустила дух, Адеодат жалобно зарыдал, но остальные с любовью воспретили ему, и он замолчал. Величественной была эта смерть!

Августин усилием воли принуждал себя не плакать (правда, потом, когда он захотел дать волю чувствам, оказалось, что внутри колом стоит боль и не пускает слезы наружу). Но послушаем самого Августина, не искажив ни слова из его воспоминаний: «Я закрыл ей глаза, и великая печаль влилась в сердце мое и захотела излиться в слезах. Властным велением души заставил я глаза свои вобрать в себя этот источник, и остаться совершенно сухими. И было мне в этой борьбе очень плохо» («Исповедь» 12, 29).

Моника, сильная и кроткая! «В этой последней болезни, ласково благодаря меня за мои услуги, называла она меня *добрым сыном* и с большой любовью вспоминала, что *никогда не слышала она от меня брошенного ей грубого или оскорбительного слова*» («Исповедь» IX, 12,30). Поистине, любовь исцеляет и не помнит зла...

Тело ее провожали на кладбище братья и сестры из маленькой христианской общины, которые знали о святой жизни Моника и о том, как она одолела заблуждения сына. За нее, по тогдашнему церковному обычаю, предложена была скорбная и святая Искупительная Жертва.

Даже вернувшись в опустевший дом, Августин не сумел заплакать. В смятении сидел он в углу. Ушел не просто близкий

человек, не просто мать,— такая, как у всех. Только сам Августин мог измерить боль этой утраты. Он молился, но, как и когда-то, Бог, казалось, оставил его: должно быть, Он хотел дать ему ощутить сполна это незнакомое одиночество. Резко вскочив, он направился к выходу. Ему пришло в голову пойти помыться; в банях он надеялся смыть с души тяжесть. Не тут-то было! Груз воспоминаний и чувство потери угнетали его все сильнее. Ближе к вечеру он заснул. Сон мог принести забвение, хотя бы на несколько часов.

Ночью он пробудился от неглубокого сна, присел на кровати и задумался. В нем вдруг зазвучали стихи Амвросия, песнь, исполненная христианской надежды. Он повторял, не раскрывая уст, слова, навевающие воспоминания о высших духовных радостях:

Всего Создатель, Господи,
Ты, небесами правящий,
Одевший день сиянием,
Ночи покой дарующий!

Тот самый гимн...

Пусть тело отдохнувшее
Вновь за работу примется.
Вздохнет душа усталая,
Утихнет скорбь жестокая.
(«Исповедь» IX, 13,32)

Ему кажется, что он все еще в Милане, в амвросиевом соборе. Он поет, и рядом мать, и волна соборной молитвы влечет их ввысь, вместе со всем народом христианским и предстоятелем — Амвросием.

Вера и сыновняя любовь уносят его прочь, далеко от места скорби, туда, где плач это радость души. Сердце его начинает оттаивать, глаза увлажняются, и сразу ручьи, потоки слез вырываются неудержимо из самого нутра. Никто не слышит этих рыданий. Только Моника, невидимая, считает их. Она собирает эти слезинки, одну за другой,— ведь они ей возвращаются. Столько лет она плакала о нем, так что даже окрестила его «сыном слез»,— чтобы только жил он в очах Божьих!

Говорят, что тело Моники пребывало в небольшой остийской базилике, пока сын в далекой Африке вел духовную брань за веру. Нередко, должно быть, прилетали сюда, в Остию, с африканских берегов, обращенные к ней мысли, полные давних воспоминаний, и горячие молитвы, на которые она отвечала. Впоследствии ее кости были торжественно перенесены в церковь св. Августина в Риме, где они покоятся и поныне.

В 1945 году монах-августинец Антонио Казамацца, большой почитатель археологии, по какому-то наитию начал вести раскопки в саду остийской церкви. Он знал о существовании надгробия, которое Августин заказал для могилы матери. Копал он, копал и вот, так же, как в случае с амвросиевым баптистерием в Милане, где принял крещение великий Африканец, как-то ненароком, вновь увидело свет это надгробие. Выбитые на нем слова совпадают с двустилищами Аниция Авхения Басса, которые он сочинил для надгробной плиты Моники, матери тогдашнего епископа Гиппонского. Вот эта надпись:

ЗДЕСЬ, АВГУСТИН, ОСТАВИЛА ПРАХ СВОЙ ТВОЯ БЕСПОРОЧНАЯ
МАТЕРЬ. / СВЕТ НОВЫЙ ЗАСЛУГАМ ЕЕ / ВЕРНЫЙ СЛУЖИТЕЛЬ
НЕБЕС, ПОДАТЕЛЯ МИРА / ИСПРАВЛЯЕШЬ ТЫ НРАВЫ НАРОДОВ,
ТОБОЮ ВЕДОМЫХ / ДА УВЕНЧАЕТ НАШУ ХВАЛУ ДЕЛАМ ВАШИМ
НЕБЕСНАЯ СЛАВА / О, ДОБРОЧЕСТНАЯ МАТЬ, СЫНОМ БЛАЖЕН-
НЕЕ СТАВШАЯ.

Моника умерла в Остии, осенью 387 года. Ровно шестнадцать веков назад. Но, как и сын, эта мать жива.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В АФРИКАНСКУЮ ЗЕМЛЮ

«Когда сердце мое излечилось от этой раны..., я стал лить пред Тобой, Боже наш, за эту рабу Твою совсем другие слезы...» («Исповедь» IX, 13, 34).

Августин долго смотрел из осиротевшего, как и он, окна, сквозь темные кроны остийских пиний, на алеющее закатное небо. В жизни каждого человека многое обусловлено влиянием матери. И особенно это касается Августина. Прежде он никогда не ощущал себя лишенным материнского попечения. Никогда при жизни матери он внутренне не расставался с нею. Не было этого ни в дни разлада, когда она выставила его за дверь, ни в тот злополучный вечер, когда, обманув ее на карфагенской пристани, он уплыл в Рим. Даже когда он полюбил женщину, его любовь к ней не возобладала над любовью к матери.

«Если души умерших участвуют в делах живых»,— напишет он впоследствии,— «если это и в самом деле они говорят с нами, когда мы видим их во сне, то мать моя непременно посещала бы меня каждую ночь,— та, что следовала за мной по земле и по морю, чтобы только жить со мной!» («Попечение об умерших» XIII, 6).

Питер Браун отмечает: «Немного найдется таких матерей, которым довелось обрести новую жизнь в воспоминаниях, если все, что мы узнаем о них, основано на представлениях их собственных детей, особенно когда это представления столь сложной фигуры, как Августин. Отношения между матерью и сыном красной нитью проходят по всей «Исповеди». Собственно, их история и сделала книгу заслуженно знаменитой. В любом случае, чтобы такие отношения установились, требуются усилия и с той, и с другой стороны»*.

Возможно, и та самая плотская страсть, которая внушала ему, что он «жить не может без женских объятий», унижающая челове-

* P. Brown, Agostino, p. 15.

ка, преданного философии, последнее звено в цепи, приковывавшей его к мирским наслаждениям, — возможно, эта страсть парадоксально, подсознательно объясняется чрезвычайно сильной взаимосвязью, которая существовала между матерью и сыном.

Решение вернуться в Африку, чтобы жить там в согласии долгие годы, Августин принял раньше, вместе с матерью и друзьями. Но теперь это возвращение становилось для него исцеляющей необходимостью: в местах, где прошло его детство, он хотел заново осмыслить роль матери в своей жизни.

Он сам и его товарищи все сильнее ощущали потребность в тесном, повседневном духовном общении, в том «*Otium Christianae Vitae*» («Досуге христианской жизни»), к которому он стремился еще до обращения и который подразумевал совместное изучение Библии, беседы и труд, пение псалмов и созерцание, скрепленные дружбой: нет уз, выше этих.

Августин из тех людей, чьей судьбой руководят мистические влияния. Он не может представить, чтобы человек двигался по неизведанному пути, если его не ведет таинственный свет. До конца дней в чем-то он останется юношей, влюбленным в астрологию и с увлечением составляющим гороскопы в стремлении предугадать судьбу. Никогда он не смирится с мыслью, что человек полностью отдан во власть самому себе. Когда, уже в качестве теолога, ему доведется объяснять, как сочетается человеческая свобода с исходящей от Господа благодатью (в связи с важнейшей проблемой предопределения, с которой Августин столкнется в ходе спора с пелагианами), он найдет решение в таинственной притягательной силе, связанной с не менее *таинственным вожделением* в душе человеческой отношениями любви и красоты.

Когда-то его поразил стих из второй эклоги Вергилия: «Всякий влеком своим вожделеньем». Он попытался применить этот принцип к теологии благодати: «Вожделение не есть необходимость, удовольствие не есть принуждение. Если телу они присущи, отчего душа не должна иметь их? Дай мне любящего: он поймет, что я хочу сказать! Но если я обращусь к человеку холодному — ему никогда не понять меня...» («Беседы на Евангелие от Иоанна» XXVI, 4).

Римский поэт изобразил очаровательную пасторальную сцену: мальчик играет со строптивой и робкой козочкой и прима-

нивает ее, помахивая у нее перед глазами нежной и сочной веткой. Эта картина показалась Августину адекватным иносказательным изображением ненасильственного, но неотразимого воздействия благодати на человеческую волю. Вергилий вдохновил его и на короткую, запоминающуюся молитву: «*Da quod jubes et jube quod vis*»: «дай, что велишь, и вели, что, пожелаешь».

Таким образом, по его представлениям, возникшее у него желание вернуться в Африку, поселиться в Тагасте и осуществить там идеал монашеской жизни в кругу друзей, не уповая более ни на что земное, входило в замысел Божий о нем. И он рвался реализовать этот замысел. Но зимой нельзя было выходить в море.

Так что же, ждать в Остии? Дух портового города, живущего одними коммерческими интересами, в зимнее время сонного и скучного, настолько претил Августину, что он не захотел оставаться здесь даже на несколько месяцев. А в Риме у него могли быть интересные встречи, возможности для более глубокого проникновения в мир христианской веры, для продолжения и завершения писаний, отражающих его собственный религиозный опыт. Он ощутил настоятельную потребность свидетельствовать о пережитом, пользуясь самым распространенным в ту пору «средством массовой информации» — рукописной страницей. Он хотел расчистить людям путь к истине.

Они единодушно решили перезимовать в Риме, и Августин с немалой пользой провел это время.

Политическая ситуация в тогдашней Италии тесно переплеталась с религиозной — в нашествиях, ересь, всплесках язычества, попытках утвердить римско-христианский культ в качестве государственной религии, в соперничестве власть предержащих.

Осенью 387 года, когда Моника умирала в Остии, Максим (испанский военачальник, который в 383 году, убив Грациана, захватил его трон и стал править Галлией) вторгся в Италию. Действия Максима были направлены против Валентиниана II и его матери, покровительницы арианства, Юстины. Феодосий, император Востока, вступился за юного Валентиниана II. Максим был схвачен неподалеку от Аквилеи и убит 28 августа 388 года. Так Империя вновь обрела единство, правда, ослабленное преимуществами, которые получили союзные с Римом иллирийские готы. Давление варваров на Империю постоянно росло. Те самые язычники из римской знати, которые до сих пор были хранителями римских антиварварских традиций, теперь безоговорочно поддерживали

варваров-бунтовщиков. Разного рода внутренними конфликтами, реставрациями, предательскими союзами между смещенными военачальниками и варварами, была отмечена долгая агония Империи, окончившаяся разграблением Рима в 410 году. А затем захватчики постепенно овладели территорией римской Африки. Гиппон пал в 431 г. (Августин умер в 430).

В начале необратимой долгой осени могущественной вековой цивилизации Августин (который, развивая свой гений, в свое время воспринял ее универсальные идеи), вновь оказался в Риме, на сей раз — христианином, и пробыл там с конца 387 г. по лето 388 г. Когда кризис обрушится распадом и разрухой, и люди станут доискиваться причин этого краха, епископ Гиппонский поведет острый спор с язычниками, утверждавшими, что империя рухнула из-за вытеснения древнего культа богов новой христианской верой, и создаст свой знаменитый труд «О граде Божьем». Противопоставление Града Небесного и Града Земного, осознанное и выраженное Августином, возвестило о начале средневековья.

Через Остийские ворота Августин въехал в Вечный город.

Существует гипотеза, согласно которой предки Августина были италиками, переселившимися в Африку. Но я думаю, что нет оснований сомневаться в его чисто африканском происхождении, о котором он сам не раз заявлял совершенно однозначно. На саркастический вопрос епископа-пелагианина Юлиана: «Можно ли вообще ожидать от какого-то пунийца слов, достойных восхищения?», Августин дал такой ответ: «Не бахвалься родом своим, презирая *какого-то пунийца*, который тебя увещевает; тех, которых не можешь победить доводами разума, не думай победить, похвально племенем своим только из-за того, что выпало тебе родиться в Апулии» («Против второго ответа Юлиана» VI, 18).

Впрочем, оставаясь африканцем по происхождению, Августин вполне мог бы сказать о себе: «Я римский гражданин», и не по причинам политического свойства, которые когда-то побудили апостола Павла произнести эти слова, а по причинам, связанным исключительно с его верой: утвердившись в Риме, она духовно унаследовала вселенский характер римского мира. Язык, мысль, культура, любовь к отечеству и, наконец, религиозные убеждения обнаруживают в Августине истинно римскую душу.

Познакомившись с миланской Церковью, о которой он всю жизнь вспоминал с восхищением и любовью, Августин захотел

поближе узнать первую апостольскую Церковь, колыбель христианского единства,— как же пылко защищал он ее до конца дней!

Примат Римского епископа признавали не только древние христианские писатели; об этом упоминает и языческий историк, старший современник Августина, Аммиан Марцеллин, который в своем известном труде «*Rerum gestarum libri*» («Книга деяний») продолжает «*Historiae*» («Историю») Тацита. «Епископы вечного города»,— говорит Аммиан,— «пользуются наивысшей властью» (XV, 7, 10). Амвросий учил, что «Петр есть основание Церкви» («Толкование Евангелия от Луки» IV, 70), или «начало веры кафолической, центр притяжения других Церквей». «Я желаю во всем следовать Римской Церкви»,— утверждает Амвросий в другом месте («О таинствах» III, 1, 5). Августин навсегда сохранит глубочайшее уважение к Амвросию и в своих наставлениях постоянно будет прибегать к его авторитету: «Так говорил и Амвросий...» («О браке и возжелении» II, 5, 15). От епископа Миланского Августин перенял и его верность Риму.

Папа Дамас, поэт и эпитафист, друг Амвросия (которого на заседаниях Синода он просил помочь советом и сотрудничеством), много сделавший для создания единого центра вселенской Церкви (в этом, своими эдиктами против ересей, его поддержали императоры Грациан и Феодосий), опочил четыре года назад. Его «секретарь по латинской словесности», великий экзегет и переводчик Библии Иероним, которому до тошноты надоели всякого рода дворы и курии, в 385 году отправился из Остии на Восток и поселился в Вифлееме, в монастыре, где предался усерднейшему изучению Священного Писания.

Рим, год от года терявший былое величие, пытался выжить, не в силах уйти от своего извечного призвания, которого у него никто не отнимет.

Епископом Римским был тогда римлянин Сириций (384 — 399), столь же принципиальный, как и Дамас, в отстаивании вселенских притязаний Римского Престола, основанных на чистоте веры.

Кризис всех ценностей носился в воздухе. Две культуры — расцветающая христианская и хиреющая языческая — сосуществовали, хотя и соперничали друг с другом. Язычество уже утратило свою внешнюю мощь, выражавшуюся в блеске культа и обрядов. От Августина не ускользало убожество языческих хра-

мов, из которых одни разрушились и стояли в руинах без чьей-либо заботы об их восстановлении, другие были снесены или закрыты, третьи переустроены для светских нужд; видел он и идолов, разбитых, сожженных или спрятанных (ср. Письмо ССХХII, 3).

Феодосий и Грациан, стремясь к объединению Империи, не только политическому, но и религиозному, сложили с себя обязанности «Великого понтифика», провозгласили единственной государственной религией христианство, распустили учебные заведения, готовящие служителей древнего культа, отняли у весталок привилегии и доходы. Но язычество не утеряло еще своей силы: благодаря культуре, которая, безусловно, была им создана, оно продолжало жить в консервативной реакции некоторых высокообразованных и утонченных адептов, таких, как префект Рима Симмах, историк Аммиан Марцеллин. Их язычество выражалось не в суеверном культе; они уже не верили в многочисленных богов и чтили *секуляризм*, *рационализм*, эстетическую изысканность, красоту. В качестве символического изображения своих взглядов они вполне могли бы избрать алтарь Виктории, вынесенный из курии Сената.

Августин провидел, что такого рода язычество может остаться с людьми навсегда в виде некоего невыявленного, потаенного культа.

В кризисные эпохи просвещенный и ответственный человек — такой, как Августин, — ищет уединения, чтобы предаться творческим размышлениям, и ощущает, что призван восстановить основы человеческого существования. Так он провел девять римских месяцев. Он завершил и отшлифовал прежде начатые книги («О музыке» и др.), написал свои первые полемические произведения, такие, как «О нравах манихеев» (сочинение, которое привело в ярость его бывших друзей-сектантов) и «О нравах церкви католической». Ему не терпелось расчитаться с манихеями, чьи заблуждения он так долго разделял, и он не замедлил обрушиться на их учение, для которого и впредь, когда создавал «Исповедь», не жалел сарказма и непримиримости. Кроме того, в Риме он написал диалог «О бессмертии души» и другой, посвященный проблеме происхождения зла, — «О свободной воле».

Не преминул он проявить и живейший интерес к новой форме христианской духовности, которая была ему в высшей степени

близка: к монастырям созерцателей, мужским и женским. В Риме их было особенно много. Несколько лет назад, на Авентине, Иероним преподавал еврейский язык и читал лекции по Священному Писанию группе благочестивых женщин в доме благородной Марцеллы. И еще он учил их молитвенному пению, хотя и не был таким глубоким и тонким его знатоком, как Амвросий.

Церковное пение всегда доставляло душе Августина удовольствие столь сильное, что он с некоторой придирчивостью укоряет себя за чрезмерный отзвук, который находили эти напевы в его сердце (ср. «Исповедь» X, 33, 49).

Одним из покровителей монастырей при их основании был папа Сириций. Детище Антония, чье жизнеописание, изложенное Афанасием, Августин одолел в один присест в Милане незадолго до обращения, вышло за пределы египетских пустынь. И сам Августин собирался, вернувшись в Африку, учредить там монашество.

Конечно, он не мог не исполнить один из важнейших обрядов римской Церкви и наверняка поклонился драгоценным усыпальницам апостолов-мучеников Петра и Павла. Одна из них находилась рядом с Ватиканским холмом, другая — на Остийской дороге, обе — в стенах прекрасных храмов, воздвигнутых Константином. Это были знаменитые *трофеи* христианской веры, воспетые священником Гаем, и уже в те времена ставшие заветной целью паломников со всего света.

Мы можем предположить, что 29 июня 388 г., в день свв. Апостолов Петра и Павла, Августин стоял в толпе верующих в соборе Св. Петра. Этот праздник отмечался в Риме с не меньшей торжественностью, чем Пасха. В гимне Амвросия поется: «Паломников вереницы / Толпою весь Град наполняют, / Шагают тремя путями, / Мучеников праздником славят!». В конце этих «трех путей» находились три цели праздничного паломничества: ватиканская базилика, остийская базилика и катакомбы на Аппиевой дороге, где, по преданию, некоторое время хранились мощи свв. Апостолов.

Вспоминая, уже епископом, о грандиозном народном празднике, Августин с огорчением отмечал, что в Африке народ христианский, иной раз, вообще забывает об этом торжестве (Проповедь ССХСVIII, 2).

Наверно, и в самом деле, удивительное было зрелище, когда, по свидетельству Августина, «верховный правитель славнейшей

империи снимал свою диадему и молился на усыпальнице Петра, простого рыбака» (Письмо ССХХII, 3).

Но не все пришлось по душе Августину в Вечном городе.

Представим себе, как Августин, один или в сопровождении Алипия и Адеодата, пробирается в собор Св. Петра по улицам, запруженным усталыми паломниками. Они осаждают лавки с напитками и снедью; многие лежат прямо на земле; немало и таких, которые охвачены безудержным весельем, тем самым, что иногда овладевает человеком, оказавшимся вдали от родных мест, привычного окружения, да к тому же еще и в столь воодушевляющем городе, как Рим, где всегда хватало доброго вина для подкрепления сил. В XXIX письме Августин говорит о «примерах каждодневного пьянства вокруг базилики блаженного апостола Петра». Конечно, подобные картины служили соблазном, резко контрастируя с многочисленными проявлениями неподдельной веры и благочестия.

Помня об уроках Амвросия, строго воспрещавшего такие излишества на могилах мучеников, Августин несомненно указал на них кому-нибудь из служителей базилики. Полученный ответ, очевидно, вспомнился ему спустя годы, когда его прихожане в Гиппоне потребовали предоставить им право кутить на могилах не хуже римлян. Объясняя, почему в Риме сохранился этот неблагочестивый обычай, Августин рассказывал: «Попытались было запретить его; но епископ жил далеко, в Латеранском дворце, а город такой большой, что по дороге распоряжение теряло силу... Приходилось проявлять понимание: люди невежественные... вместе с тем, горячо верующие..., убеждению почти не поддаются..., толпы людей, которые в своих странах соблюдают эти дурные обычаи..., все паломники такие разные... у каждого свои привычки, свой образ жизни... Чтобы изменить положение, понадобился бы надсмотрщик с плетью на каждом углу, в напоминание о запрете. Но тогда, прощай, благоговение!». И, заканчивая, Августин увещевал свою паству: «Слов нет, прекрасна базилика Князя Апостолов в Риме... И все же лучше читать Послание Петра!» (ср. Письмо XXIX, 10).

И вот, на исходе лета 388 г., настал долгожданный день отплытия в Африку. Время года благоприятствовало морским путешествиям, а к тому же со смертью Максима плавание вдоль берегов стало более безопасным.

Есть основания предполагать, что Адеодат, Навигий и двоюродные братья отбыли несколько раньше: из тех нескольких слов, которые Августин уделяет описанию своего прибытия в Карфаген, можно заключить, что его сопровождал один Алипий. Упомянув о некоем юристе по имени Иннокентий, жителя африканской столицы, Августин пишет: «Муж сей, благочестивейший, как и вся его семья, принял нас — меня и брата моего по вере Алипия — в своем доме по нашем возвращении из-за моря» («О граде Божием» XXII, 8).

Итак, он сел на корабль в Остии. Но перед тем, как ступить на его палубу, он долго стоял у могилы матери. И молился, и плакал...

В его возвращении на родину было что-то от одиссеи, от опыта великих мореплавателей, открывателей новых земель, победителей, которые много боролись и страдали. Стоя на корме, он высматривал на берегу дом, в котором пережил вместе с матерью мистический восторг... А когда они отошли подальше в море, стал виден некрополь, с его гробницами и склепами. В темнеющем небе расцветали первые звезды. И в струящемся аромате бесчисленных остийских пиний он ощутил присутствие матери, которая вновь, теперь незримо, вставала с ним рядом — и уже навсегда.

На корабль стремительно опускалась ночь.

В карфагенском доме, распахнувшем двери перед Августином и Алипием, царил переполох: на следующий день после их прибытия хозяину предстояла болезненная операция на ноге, а в те времена подобные хирургические вмешательства производились на дому у пациента.

Не так-то просто оказалось даже поздороваться с Иннокентием: он лежал в постели, издавая жалобные стоны; священник Гелозий вместе с обступившими кровать дьяконами читал молитвы об изгнании беса; домашние только успевали подавать больному то одно, то другое. Августину с Алипием оставалось лишь, бросив немудреную поклажу, присоединиться к благочестивым мольбам.

Как рассказывает Августин, он никак не мог сосредоточиться на молитве: его до глубины души трогали стоны больного, ему не давала покоя мысль, что он явился в самый неподходящий

момент и причиняет беспокойство. Он смог только, призвав на помощь всю свою веру, сердцем спросить у Бога: «Господи! Какие же молитвы угодно Тебе услышать, если к этим не преклоняешь ухо Твое?»

И что же? Когда пришел хирург со своими инструментами, и его помощники сняли повязки с больного места, чтобы подготовить к операции, все увидели, что хирург больше не нужен. Иннокентий перестал стонать и обнял друга, который принес ему избавление от недуга (ср. *там же*).

Какие чувства мог вызвать у Августина Карфаген, который еще пять лет назад был для него городом учебы и наслаждений? Он снова увидел здание театра, в котором Виндициан наградил его лавровым венком. Зашел в базилики, с плачем помолился в маленькой церкви св. Киприана невдалеке от гавани, где в ужасную ночь своего бегства обманом продержал до утра мать. «Тогда я был другим», — проговорил он про себя, вновь размышляя об этом поступке.

А что же мать Адеодата? Узнала ли она о приезде сына, о приезде Августина? Виделись ли они? Невозможно, да и бесполезно нам знать это, поскольку это не входит в новый замысел *Благодати*, — иного пламени любви, возжигающего иные отношения. Но задаваться такими вопросами бесполезно. Хотя бы для того, чтобы не считать скромные и горькие умолчания односторонним свидетельством бесчеловечного отступничества.

Доподлинно, со слов самого Августина, нам известно, что он увиделся со своим старым учеником, ставшим одним из самых известных риторов в Карфагене — Евлогием. Учителям вообще свойственно надолго сохранять глубокую привязанность к своим лучшим ученикам. Евлогий решил, что не может не рассказать ему однажды увиденный сон: «Как-то раз я заснул поздно вечером страшно сердитым, потому что не сумел разгадать смысл одного отрывка из Цицерона, который назавтра мне предстояло излагать в классе... И вот, в сновидении ты... (а ведь ты был так далеко, и кто знает, чем были заняты твои мысли), именно ты разъяснил мне то, что мне не удавалось понять...» («Попечение об умерших», XI, 13).

МОНАШЕСКОЕ БРАТСТВО В ТАГАСТЕ

Имя Августина ассоциируется главным образом с Гиппоном, городом его епископства. Все ведь так и говорят: Августин Гиппонский. Может показаться, что среди городов, в которых он подолгу бывал — Карфагене, Риме, Милане, Гиппоне, Тагасте, — последний внес наименьший вклад в формирование его личности. Верно сказано: «нет пророка в своем отечестве», но, с другой стороны, никто в точности не знает, как долго питает человека «сок корней» и какова его истинная ценность. Как бы там ни было, Августин выбрал именно Тагаст, город, в котором он родился тридцать четыре года назад и получил начальное образование, в качестве постоянного и окончательного, как он полагал, места жительства. Здесь же он собирался наконец осуществить свой давнишний замысел и предаться созерцательной жизни в тесном кругу друзей.

Словно скиталец, который много страдал в своих странствиях по свету, он хотел вновь соединиться здесь с корнями собственного бытия и своей христианской веры, нашедшей для него воплощение в матери. Тагаст, ныне алжирский город Сук-Арас, не мог похвастаться славным прошлым, не было в нем сколь-нибудь значительных памятников, здесь не происходили исторические события. Во времена августинова детства, как мы видели, это была глухая деревня, и подающему надежды мальчику, который, научившись читать и писать, хотел получить более пристойное образование, ничего не оставалось, как отправиться в близлежащую Мадауру, родину Апулея.

Может быть, выбирая место для своего первого монастыря, Августин руководствовался не только тягой к родным местам, но и стремлением к ничем не нарушаемому покою, который ему как раз и мог предоставить Тагаст, расположенный в гористой и живописной местности, на высоте 675 м над уровнем моря, на южном склоне холмов Медьерды. Замечателен открывающийся из городка вид на не очень высокие, от 1000 до 1400 м, холмы, на богатую растительностью долину, в которой зимой образуют-

ся стремительные водопады; вдалеке, на юге и на западе различным пустынный пейзаж, тоже не лишенный очарования.

Рассказывая о детских впечатлениях, Августин вспоминает о «ласкающих взор лесах», «благоуханных лугах», на которых гнездились птицы, и, конечно, о поиске этих гнезд,— любимой забаве детских лет. Теперь, обратившись к Богу, он, как и прежде, радовался красоте родного края.

Тагаст находился в 250 километрах от Карфагена (Тунис) и в 80 км от Гиппона, нынешней Аннабы (Алжир),— того самого Гиппона, который в конце концов похитит Августина у тихой родины, и в котором он будет жить и трудиться около 40 лет. Для истории именно Гиппон станет «штаб-квартирой» Августина.

Поссидий, современник и биограф Августина, в начале его жизнеописания рассказывает об устройении и обычаях первого монастыря в Тагасте: «Получив благодать обращения, решил он вернуться вместе с соотечественниками и друзьями, подобно ему посвятившими себя служению Богу, в Африку, в свой дом и в свое селение. Прибыв туда, он там утвердился, отказавшись от собственности и прожив около трех лет с теми, которые одинаково с ним прилеплялись к Богу постом, молитвою и молитвенными размышлениями, равно как и совершением добрых дел. И к тому, что открывал ему Бог, он приобщал ближних и дальних, наставляя их речами и книгами своими» («Жизнь Августина» III).

Из воспоминаний Августина нам известно, что его родители были землевладельцами, а точнее — владельцами виноградника: «По соседству с нашим виноградником...» («Исповедь» II, 4,9). Обладатель виноградника по обыкновению располагает и каким-то жильем на винограднике. Возможно, первые насельники учрежденного Августином монастыря устроились как раз в этом непритязательном жилище... А может быть, этот маленький монастырь стал чьим-то даром или был получен в обмен на что-то... Августин уже тогда был человеком уважаемым и внушающим доверие... Ведь и прежде ему благодарили... Здесь были люди, которые вполне понимали, что иметь рядом такого человека — огромное преимущество...

В скромном Тагасте была епископская кафедра, и не кто иной, как ближайший друг Августина Алипий занял ее в 394 году, за год до того, как епископским достоинством был облечен в Гиппоне сам Августин, на первых порах выступавший в качестве сотрудника

епископа Валерия. Поставление Алипия во главе тагастской епархии свидетельствует о том, какое значение приобрело с самого начала своего существования маленькое монашеское общежитие, оживотворяемое новообращенным руководителем.

Тагастский монастырь был, как бы мы сказали теперь, цитаделью интеллектуального поиска. Поссидий основывается на фактах, утверждая, что Августин сообщал всем желающим о результатах своих разысканий о Библии и христианских истинах. Об этих фактах сообщает сам Августин: «В первые годы после обращения моего, по возвращении в Африку, с разных сторон задавали мне вопросы, полагая, что я свободен. Так возник труд «О 83 вопросах». Я сохранил давнишние заметки к ответам на отдельных листах, которые, уже епископом, собрал в единую книгу, пронумеровав их, чтобы легче было к ним обращаться» («Поправки» I, 26).

Так появилось на свет *монашеское братство*, которое, пройдя сквозь толщу веков, живет и сегодня. И это не только великий Орден св. Августина, с его мужской и женской ветвями, сонмом святых, богословов, гуманистов, ученых (к нему принадлежали Диониджи да Борго Сан Сеполькро — друг Петрарки, Луиджи Марсили — наперсник Боккаччо и основатель гуманистического кружка при августинском монастыре Св. Духа во Флоренции, которому великий новеллист завещал свою библиотеку; Григорий Мендель, основатель генетики; святые Никола да Толентино, Рита да Каша, Кьяра ди Монтефалько, Томмазо ди Вилланава, Джованни ди Сан Факондо, и, хотя и не святой, но великий религиозный деятель Мартин Лютер), но и все старые и новые монашеские «семьи», включая доминиканцев, которые восприняли устав св. Августина.

Может быть, Учредитель монашеской жизни на Западе и не собирался писать никакого устава во укрепление сообщества людей, предающихся богохвалебному *досугу* (*otium*). «Люби Бога и поступай как знаешь!» — вот главное правило Августина. Любовь к Богу изливалась из его сердца, как раскаленная лава. Он говорил: «Мера любви к Богу это любовь без меры» («*Modus amandi Deum est amare sine modo*»). И учил, что и милосердная любовь к ближнему, которая является отражением любви Божьей, есть «добродетель в себе», наивысшая из добродетелей: «Цена меры пшеницы? Твои деньги. Цена земли? Твое серебро. Цена

самоцвета? Твое золото. А цена любви милосердной? Ты сам! То, что драгоценнее — и дороже. Если дороже то, что драгоценнее, что же может быть дороже любви? Ты ищешь приобрести землю, драгоценности, скот? Опустит руку в карман. Но если ты хочешь приобрести любовь милосердную, ищи самого себя, найди самого себя...» (Проповедь XXXIV, 4, 7). И еще он говорил: «Больше души в душе, когда она любит, чем когда она только выполняет свое предназначение одушевлять». Любовь для Августина не столько предписание, заповедь, сколько закон бытия.

Но когда его детище расширится, и в монашеской общине обнаружатся желающие более повелевать (*praesse*), чем служить и быть полезными (*prodesse*) — «non tam proesse quam prodesse», когда найдутся и такие, кто, дав обет бедности, будет тайком копить деньги, — тогда он напишет устав, являющийся несомненным шедевром психологической и аскетической литературы. В этом уставе нет чрезмерной строгости, здесь во всем соблюдена мера.

Жизнь самого Августина в тагастской обители можно уподобить скольжению лодки по безмятежным водам. Он постоянно был готов дать отпор попыткам какой-нибудь епархии или епископа похитить его из монастыря, чтобы присвоить себе его учение и ревность о Боге. И у него были все основания этого опасаться: тем ведь дело и кончится! «Нет ничего прекраснее», — писал он, — «нет ничего сладостнее, чем всматриваться в божественное в тишине. Но проповедовать, увещевать, исправлять, воспитывать, сердиться на кого-то, — какая ответственность и какой труд!» (Проповедь CCCXXXIX, 3, 4).

Самый юный монах, Адеодат: «Отец мой, наконец-то я тебя вижу! Целую неделю ты не выходил в сад... Ты оставил меня одного, впрочем не совсем — потому что под этим деревом я вновь наслаждался твоими «Монологами»... Сколько страниц ты написал?»

Да, Августин спустился в сад, и «отцом» называет его не кто иной, как родной сын.

Жорж Бернанос рассказывает, что, когда он возвращался домой, составив план романа, написав что-нибудь, или отделив часть готового произведения, дети встречали его вопросом: «*Papa, tès pages?*» («Папа, сколько страниц?»). Эти страницы кормили его семью.

Иной заботой был продиктован вопрос, заданный отцу Адеодатом. Он знал, что Августин все эти дни тщательно выстраивал

полемическое произведение: две книги «О творении против манихеев».

Августин прижал к себе юношу, свободной рукой погладил его по щеке, покрытой первым пушком. Адеодату было около пятнадцати лет.

«Написал я немало, Адеодат! — отвечал Августин. — Знаешь, имея дело с манихеями, я чувствую себя гладиатором на арене...».

«Получается, что с манихеями ты изменяешь своему принципу: бороться с заблуждениями, но любить заблуждающегося», — заметил Адеодат.

«Тебе так кажется, сын мой? Это, наверно, потому, что уж очень долго они меня водили за нос! Ты ведь знаешь, как дорого мне обошлось это заблуждение. И одолеть его может только одно — Священное Писание, а точнее — книга Бытия. И дело не в том, что они неправильно толкуют эту книгу: они вообще ее не принимают, отвергают в ней все, от «а» до «я». Есть верный способ вывести манихея из себя — заговорить с ним о Боге — Творце мироздания...»

«Ну а мне ты посвятишь какую-нибудь свою книгу?»

«Но ты у меня уже есть — в кассициакских «Диалогах», в «Блаженной жизни»!

«Нет, я хочу себе целую книгу», — с улыбкой наседал Адеодат.

«Целую книгу? «Диалог» — между тобой и мной? И чтобы больше никого?»

«Да, отец. И смотри, растяни его подлиннее...», — и с этими словами он схватил Августина за чуб (что для него труда не составляло, ведь он был выше родителя) и подергал, заливаясь невинным смехом.

«Ой..., больно же, Адеодат. Ну ладно, построим «Диалог» вместе. Слово отца!»

Над тагастской обителью расцветали нежные утренние зори, вдгонку бежали полуденные часы, ниспадали вечера и наконец все окутывала непостижимо тихая ночь... Сколько же звезд подари́л Господь Африке! На страже необъятного покоя — простран-ные пустыни...

Насельники первого в Тагасте монастыря были молоды: старшему, Августину, шел тридцать шестой год, Алипий и Эводий были еще моложе. Но и в этой совсем нестарой компании вы-

делялся своим возрастом Адеодат — отрок, закутанный в тунику с капюшоном, каким его изображают на древних фресках.

Они хвалили Бога в псалмах, сидели за книгами, нередко обменивались мнениями о прочитанном, не гнушались физического труда, питались очень просто... Часть своего времени отводили для молитвы, учебы, духовных бесед, а другую часть посвящали физическому труду, работая, в основном, в поле, как в Кассициаке. Впоследствии Августин напишет небольшую книжку «О телесном труде монахов». Но уже здесь, в Тагасте, у него сложилось вполне определенное мнение по этому вопросу, которое целиком разделяли другие члены маленькой общины.

Подобно молитве и учебе, физический труд полезен с аскетической точки зрения, его не следует воспринимать только как способ заработать на жизнь. Впрочем, о труде с целью личного обогащения в монастыре не может быть и речи: здесь все общее, и любая работа — выражение деятельной любви к братьям. Трудиться физически нужно, чтобы стать достойнее, чтобы преуспевать в духовной жизни. Среди различных человеческих занятий Августин выделяет полевые работы. Такой труд не мешает доброй беседе: монахи просеивают землю вокруг корней деревьев, подрезают кусты и деревья, сеют, полют, наблюдают, как из почки робко выглядывает первый листок — все это помогает узнать что-то новое о великом наставнике — природе — и становится предметом обсуждения.

Тихо на поле, и отчетливо слышно каждое слово Августина: «Как все приятно глазу в это утро! Хочется говорить с живой природой...».

«Верно! Я как раз спрашивал у зернышка, прежде чем предать его земле, может ли оно открыть мне свою тайну — насколько велика сила семени и корня и чем ей помогает оплодотворяющая способность почвы...» — отозвался Эводий.

«Запомни, Эводий,— продолжал Августин, нажимая ступней на лопату,— запомни, что не насаждающий и не поливающий взращивает... Да, мы трудимся в поте лица на земле, но за нами — невидимая и сильная рука Божья... Отец мой — земледелец*, говорит Иисус...» (ср. «О книге Бытия, буквально» VIII, 8).

* В вольном пересказе автора Августин цитирует латинский перевод Евангелия от Иоанна (15,1), в котором употреблено существительное *agricola* (земледелец); русский синодальный перевод: «Отец Мой — виноградарь» (*прим. перев.*).

Он инстинктивно следил за Адеодатом — чтобы тот не переутомлялся, не слишком потел... Юноша и в самом деле не отличался крепким здоровьем.

Августин раздумывал об их уговоре: диалог на двоих! Размышляя о просьбе сына, он с отеческой гордостью признавал ее обоснованной. Он уже избрал серьезную тему для обсуждения: проблема выразительного средства, наиболее подходящего для поиска истины, и придумал название для беседы: «Об учителе».

Свой Диалог они начали в саду, укрывшись от палящего солнца под раскидистой пальмой. Было это поздней весной 389 года. С окрестных холмов время от времени прилетал освежающий ветерок. Большая стрекоза шуршала в траве, охотясь на букашек. Августин велел стенографу устроиться в сторонке, не мешая разговору, так, чтобы его почти не было видно из-за куста, но при этом не упустить ни слова и записывать без изъятия не только речь самого Августина, но и все, что произнесет Адеодат, что бы он ни сказал.

Авг. Что, по твоему мнению, имеем мы в виду, когда говорим?

Ад. Или — учить, или учиться...

Авг. С первым я согласен. Но учиться — каким образом?

Ад. Каким образом? Спрашивая!

Авг. Но и в этом случае, как мне кажется, мы имеем целью нечто иное, как учить. Ибо спрашиваешь ты разве не для того, чтобы вразумить того, кого спрашиваешь?..

Ад. Это правда!

Авг. Итак, ты видишь теперь, что, говоря, мы не имеем в виду ничего другого, как учить?

Ад. Не вполне: ибо, если говорить значит произносить слова, то разве не то же самое мы делаем и тогда, когда поем? А поем мы часто одни, когда около нас не бывает никого, кто учился бы. И в этом случае, думаю, мы не имеем в виду учить чему-либо.

Авг. Есть два повода, по которым мы говорим: с одной стороны — чтобы учить, с другой — чтобы что-то припомнить или напомнить другим. То же делаем мы и когда поем, не так ли?

Ад. Не совсем: ведь петь ради припоминания случается мне весьма редко. Я пою просто для удовольствия.

Авг. Но разве ты не понимаешь, что то, что в пении доставляет тебе удовольствие, есть некая модуляция звука, и, коль скоро слова можно и прибавить к ней и отнять от нее, иное значит говорить и иное петь. В самом деле, когда звучит флейта, колеблются струны цитры, щебечут птицы, когда, наконец, мы сами издаем нечто музыкальное без слов — все это пением назвать можно, а говорением — нельзя. Имеешь ли ты что-нибудь возразить?

Ад. Решительно ничего.

Эти реплики дали начало памятному диалогу между отцом и сыном, который продолжался несколько месяцев. Поиск истины сплотил их души сильнее, чем кровная связь. Трудно отыскать в истории другой подобный случай. Равное с отцом владение интеллектуальными средствами, необходимыми для построения философского диспута, сама тема — философский анализ языка, потребного для познания истины, — помогли раскрыться не по годам зрелому уму юноши, высветили его сообразительность, умение вести ученую беседу, следовать за собеседником, а иногда и предварять его. Нет, не отцовское тщеславие побудило Августина написать слова, которыми он выражает свое суждение об Адеодате: «Меня пугала его даровитость!» («Исповедь» IX, 6,14).

Интерес многих исследователей к диалогу «Об учителе» продиктован прежде всего его педагогическим значением: в самом деле, перед нами — родитель, который строит свое общение с ребенком так, чтобы учить и учиться вместе, шагая вдвоем по пути к истине. Воспитательная методика, удивительно близкая современной, подразумевающей взаимное обучение учителя и ученика.

Августин никогда не был только учителем, он всю жизнь выступал то в роли учителя, то в роли ученика.

Этот аспект Диалога является краеугольным камнем в истории культуры и педагогики.

Ближе к концу Диалога все отчетливее звучит исключительно важный для всего творчества Августина мотив *умного сердца*: *единственный истинный учитель человека это Бог*, которого мы познаём как телесными чувствами через ощущаемые реальности, так и чувствами души — через умопостигаемые реальности.

Читая «Учителя», мы грустим об Адеодате: скоро, в семнадцать лет, его жизнь оборвется,— так что Диалог стал и погребальной песнью. Именно в ходе совместной работы над «Учителем» Августин заметил, что сын стремительно утасует. Тогда-то он и начал с особой заботой опекать его, оберегать, и любить с каждым днем все сильнее, уже нося в сердце его смерть.

В Августине обострились все ощущения, которые отец испытывает в присутствии сына-отрока,— вплоть до того, что он стал чувствовать запах его кожи, его плоти, даже запах его души,— словно слепой Исаак, обонявший Иакова, и в то же время в запахе переодетых кож узнававший своего первенца. Запах оплодотворенной земли!

Нечто невероятно сильное, космическое, запах земли, рождающей травы... Запах сгоревших звезд, материи в тот миг, когда она создается, жизни материальной и духовной в тот миг, когда она взрывается из ничего; запах творения в момент зарождения света, в мгновение «*fiat*» (да будет). Платоновские реминисценции — составная часть философии Августина. Рядом с Адеодатом он испытывал эти ощущения.

Сын, со своей стороны, понимал, что отец его велик, но не страшился этого. Великий отец, которому суждено остаться в веках, добыча истории... И вот уже кажется, что у него никогда не было близких и что они преданы забвению. Но, как нельзя представить себе Августина без матери и друзей, так же нельзя себе его представить без Адеодата, который помогает разглядеть в великом религиозном деятеле и философе человека из плоти и крови, любящего отца. Все так величественно и вместе обыкновенно, даже банально!

Если два камня потерять друг о друга, они дают огонь...

Само имя Адеодат — *Богом данный* — наводит на размышления. Оно похоже на просьбу: Господи, Ты Сам узаконь нарушение заповеди, как неудержимое повиновение природе — *рождайтесь, плодитесь, растите, размножайтесь*.

Однажды Августин назвал его «сыном греха». Но — сыном!

«Она пугала меня!»,— говорит он о его даровитости. Да и вообще все в этом неблагословенном ребенке пугало его. Сын напоминает о матери... собственному отцу.

Оповестили ли ее, позвали ли к смертному одру Адеодата?

Августину жить еще сорок лет, и все эти годы жизнь его будет истинно католической, в том смысле, что в ней будет полнота любви и духовных интересов. Но мы никогда не узнаем, насколько смягчил его характер Адеодат, как он повлиял на отца, когда тот формулировал свои строгие принципы этики брака, опирающейся, по его мнению, на обязанность производить на свет детей, как на главную цель брака. Многие его творения посвящены проблеме целомудренности, природы и цели брака.

Об Адеодате, цветке Африки и первом ростке августинского монашества, десять лет спустя Августин напишет: «Ты рано прервал его земную жизнь, и мне спокойнее за него: я не боюсь ни за его отрочество, ни за его юность — вообще не боюсь за него...» («Исповедь» IX, 6,14).

Адеодат, кровный сын... Конечно, отец не посвящал его в свои нравственные проблемы, и старался уберечь от них, но не без утрызений совести, потому что мальчик, лишившийся матери из-за связанных с этими проблемами событий, был их жертвой. И Адеодат, юноша добрый, ничуть не вздорный, никогда не упрекал отца за его распушенность, не бередил рану. Наверно, мы можем сказать: он понимал его лучше, чем кто бы то ни было.

В конце диалога «Об учителе» Адеодат признается отцу: «Твоему красноречию, которым ты отличаешься постоянно, я благодарен особенно за то, что оно рассеяло все возражения, какие я готов был представить; тобою не пропущено ничего, что навело на меня сомнение и на что таинственный внутренний голос не давал мне ответа...» («Об учителе», XIV, 46). И Августин удостоверяет, что это буквальные слова Адеодата.

Теперь, когда физическое отцовство Августина достигло последней зрелости (дерево укрыло свой плод в лоне матери-земли), он был готов принять на себя необъятное духовное отцовство над всем миром. У всех, кто с этих пор назовет его отцом, есть брат-первенец — Адеодат.

ОТ МОНАХА К СВЯЩЕННИКУ

Из тагастского монастыря Августин переписывался с Небридием («милый друг мой...»). В своих письмах Небридий заботлив и мягок. Он обратился вскоре после Августина, и теперь жил ревностным христианином в Африке, в Карфагене, в совершенном воздержании. Пример и слово Небридия привели к вере всех его родных.

Но Небридий был болен. В одном из его писем Августину говорится: «Я хотел бы призвать тебя в свой сельский дом, хотел бы, чтобы ты здесь пожил спокойно. И пусть твои соотечественники назовут меня соблазнителем — я не боюсь этого: уж слишком сильно ты их любишь и слишком сильно любим ими» (Письмо V, 1). Ему стало известно, что Августин не имел ни минуты покоя, поскольку жители Тагаста целыми днями искали у него ответа на свои религиозные недоумения.

Августин отвечал: «Ты не знаешь, как я хотел бы насладиться твоим обществом! Верю, придет день, когда Господь ниспошлет мне этот великий дар. Я прочитал твое письмо. Ты жалуешься на одиночество, на то, что тебя покинули друзья, жизнь с которыми была бы столь приятной. Ты прав! Но что же я могу посоветовать тебе по этому поводу кроме того, что ты, как я убежден, и так уже делаешь? Ищи утешения в душе своей и возноси ее к Богу, как только можешь. Там обретишь ты и нас, друзей своих. Не в телесном образе произойдет эта встреча, но силою мысли нашей. Ты ведь знаешь, что не жительство в одном месте соединяет нас...» (Письмо IX, 1).

В скором времени Небридий скончался. Всю жизнь Августин будет помнить друга: «Пребывая в лоне Авраамовом, он пьет от мудрости Твоей. Не думаю, что он так опьянен ею, что позабыл нас...» («Исповедь» IX, 3, 6).

И вот неожиданно произошло событие, давшее окончательное направление жизни Августина.

Августин любил Бога очень сильно и хотел жить с Ним в полном единении, но, как мы узнаём из письма Небридия, жители Тагаста не давали ему покоя своей чрезмерной, хотя и духовной, любознательностью. Может быть, Августин собирался учредить второй монастырь, чтобы уйти в затвор и целиком погрузиться в созерцательную жизнь?

Несомненно, он помышлял о расширении своего детища. А о том, как он попал в ловушку, рассказывает его первый биограф и ученик, епископ Каламский Поссидий (ср. «Жизнь...», III, IV).

Как-то утром он отправился в Гиппон — восемьдесят километров пешком. В Гиппоне, думал он спокойно, мне ничто не угрожает: там уже есть прекрасный епископ. Он шел туда, потому что ему сообщили, что некий «поверенный в делах» желает оставить мир и уйти в монастырь, но не может утвердиться в этом намерении, не обсудив его с ним, Августином. Была ли это и в самом деле ловушка, подстроенная этим хитрым «поверенным в делах», другом епископа, чтобы заманить Августина в Гиппон? Как бы там ни было, по словам Поссидия, человек этот свое обещание стать монахом не выполнил. Августин говорил и говорил, чтобы укрепить его решимость, но тот отделивался обещаниями и день за днем откладывал свое расставание с миром. Однажды он сказал Августину: «Ты видел, какой красивый собор у нас в Гиппоне?». «Да,— ответил Августин,— это действительно прекрасный собор, я был в нем, и хорошо помолился...». «Давай сходим туда сегодня»,— предложил гиппонец.

И они пошли в городской собор в тот же день, ближе к вечеру. Народу в храме было видимо-невидимо. Шло какое-то собрание верующих. На абсиде, освещенной факелом, восседал старый епископ Валерий, грек по рождению; с трудом выговаривая латинские слова, он объяснял народу, что ему нужен помощник, молодой священник, образованный, твердо стоящий в вере, усердный; такой священник, который мог бы содействовать ему, особенно в деле проповеди.

Августин только вошел и старался протиснуться вглубь собора. Внезапно он услышал, как из тысячи глоток вырвался оглушительный крик, словно вора поймали с поличным, и понял, что слышит свое имя: «Августин! Августин!».

Как смиренное животное, попавшее в западню, он испугался. Растерянно посмотрел на первого схватившего его человека, слов-

но прося у него пощады. Но уже другие руки тянулись к нему, отрывали его от пола и несли к клиросу, прося потесниться народ, который все сплоченнее и громче кричал: «Августин! Августин!». И только тогда он начал вырываться и с плачем умолять отпустить его. Но ему говорили: «Не волнуйся! Мы знаем, что быть только священником для тебя мало, что ты заслуживаешь епископского сана... И ты получишь его совсем скоро. Валерий стар. Он очень хороший пастырь, но уже еле держится, бедняга. Потерпи немного!».

Эта сцена вполне могла бы стать эпизодом фильма: похищение! Ее описывает и сам Августин, короче и яснее, чем Поссидий: «Как вы знаете, я, епископ ваш, пришел в этот город молодым. Я искал места, где основать монастырь, чтобы жить в нем вместе с братьями моими. Не хотел я быть тем, чем мог бы быть в миру и не стремился быть тем, чем теперь являюсь...» (Проповедь CCCLV, 2). И еще, в одном из писем: «В этом причина слез моих, которые, как видели некоторые братья, проливал я в минуту рукоположения моего. И, не зная, отчего я так тоскую, они с добрыми намерениями старались утешить меня, теми словами, которые приходили им на уста, но слова эти никакого касательства к моей печали не имели...» (Письмо XXI, 2).

Нет, его никто не слушал. Запыхавшись и обливаясь потом, «носильщики» положили его, как мешок, к ногам епископа, который уже возлагал на него дрожащие руки.

Августин, который всегда бодрствовал, ожидая обращенного к нему знака свыше и принимал этот знак как руководство к действию (когда был уверен, что Благодать и только Благодать влечет его за собой), проговорил сквозь слезы: «Да! Вот, я здесь...».

В ту ночь, все еще плача, Августин пошел спать (если он, конечно, мог спать), чувствуя себя священником... *in aeternum* (вовек)! На следующее утро, ни свет ни заря, он был уже в резиденции епископа Валерия. Он написал ему замечательное письмо, которое хотел передать из рук в руки.

Валерий тоже в ту ночь спал мало — от радости. Он знал, каким выдающимся священнослужителем обогатился его клир, каким образцом веры обеспечил он будущее своей епархии.

Мы и в самом деле не должны сожалеть, что такой гений, как Августин, после этого «похищения» оказался навсегда при-

вязанным к глухому провинциальному городку, обреченный тратить все силы на кучку малограмотных прихожан, которые, к тому же, были разобщены: одни признавали над собою власть кафедрального епископа, другие — епископа-донатиста. Гиппон был довольно заметным религиозным и экономическим центром. Произведенные там раскопки красноречиво свидетельствуют о его былом блеске. Настоящий римский город; второй по значению порт после Карфагена на северном побережье Африки. Грандиозны развалины Форума, больших Терм, *Decimianus Maximus** и особенно христианской Базилики с пристройками. Великолепные здания, выполняя, прежде всего, свои функциональные задачи в качестве места культа, всегда помогали Церкви, с тех пор, как она обрела свободу, с успехом состязаться и с язычеством, располагавшим роскошными атрибутами, и с противоборствующими еретическими Церквями.

Епископ Валерий обнял его и поблагодарил за то, что он согласился стать пресвитером, со смирением взирая на человека, чье величие проглядывало в каждом слове и жесте. Августин сказал: «Я думал, Святой Отец, что Господь принимает меня в дом Свой, как вернувшегося блудного сына, как последнего из рабов Своих... Я думал, что избранная мною часть Марии никогда не отнимется у меня ради части Марфы. Я повиновался, ибо в голосе Церкви, который позвал меня вчера, узнал я Божье повеление, и Ваша, Святой Отец, готовность принять меня в соработники, была мне в том порукой. Мне хотелось, подобно Петру, наслаждаться созерцанием Фаворского света, остаться там навсегда... но Иисус сказал мне, как апостолу Своему: «Сойди с горы, Петр: ты жаждал отдохнуть здесь; спустись, возвещай слово, действуй к месту и не к месту, опровергай, побуждай, увещевай, трудись, страдай...» (Проповедь LXXVIII, 6).

Валерий погладил его по руке и сказал: «Ты недоволен, что эта рука будет служить Господу, освящая и раздавая Его тайны? Я хорошо знаю тебя, Августин, следил за твоими духовными исканиями, и мне известно о твоём тяготении к созерцательной жизни... Знаю я и о том, что привело тебя в Гиппон: ты хотел основать здесь монастырь...».

* В Римской империи — главная улица города, проходящая вдоль оси запад-восток (прим. перев.).

«Именно так, Святой Отец! Я пришел сюда, чтобы просить тебя о помощи в учреждении монастыря для мирян-созерцателей. Думаю, что община, живущая молитвой, несущая свидетельство неподдельной бедности, может быть душою Церкви. Для Африки это нечто новое, но я видел, как расцвели такие монастыри в Милане и в Риме...»

«Не сомневаюсь в этом, Августин. И, признаться, уже подобрал подходящее здание для твоей затеи.»

«Оно не в самом городе, но недалеко от него?»

«Не в самом городе, но недалеко от него», — эхом отозвался епископ.

«А есть ли там рядом поле, огород, сад?»

«Да, конечно. Но поле, огород... Зачем тебе там все это?»

«Для физического труда, Святой Отец...»

«Чтобы поддержать братию? Но разве недостаточно...»

«Не совсем для этого! Физический труд нужен как духовное упражнение, как соучастие в тяжком труде наших братьев в миру, как свидетельство! Иисус работал, Павел работал... Физический труд — не удел рабов, без него человек не совершенен... В монастырь приходят и люди книжные, привыкшие работать головой. Но если ум дан им действительно не зря, то они не презирают физический труд. Приходят в монастырь и люди неграмотные, простые, но непреклонные в своей любви к Господу. Они ведь тоже должны стать учениками Божественного Учителя, и в этом им помогают более опытные братья. Но если бы им некуда было девать руки, что за компания бы у нас получилась: половина — никчемные умники, половина — бездельники или рабы... Община должна быть семьей доблестной — как один цельный человек...»

«Не беспокойся, Августин! Место, которое я наметил, это как раз то, что тебе нужно. Но скажи, собираешься ли ты жить со мной или предпочел бы поселиться в монастыре?»

«Предпочитаю монастырь, Святой Отец!»

Прощаясь, Августин вручил Валерию запечатанный пакет: «Это важно для меня, Святой Отец! Прочитай это доброжелательно, не отказывай мне в том, что я прошу у тебя для блага нашей Гиппонской Церкви, которую я уже люблю!».

Призвание Августина на священство, которого он по собственной инициативе не принял бы, не только из смирения, но и из-

за тяжести ноши, которую оно на него налагало, потребовало от него нового обращения: от созерцательной жизни к деятельной. И он принялся исполнять свои новые обязанности так, как должен это делать любой священник, — со всей ответственностью, признавая в повелении Церкви волю Божию. Амвросия тоже провозгласил епископом народ, и, возможно, сходство его собственной ситуации с обстоятельствами Наставника, если не польстило ему, то, во всяком случае, склонило его к положительному ответу.

Иероним, известный своими бескомпромиссными решениями, согласился стать пресвитером, но с одним непременным условием — чтобы ему оставили свободное время для занятий и избавили от всех пастырских обязанностей.

Письмо Августина Валерию может служить образцом «профессиональной» самооценки действующего священнослужителя. В начале Августин называет «насилием» по отношению к нему то, что произошло в соборе, когда его подхватили под руки и принесли к ногам епископа, чтобы тот рукоположил его. Но, говорит он, «насилие это совершилось по причине грехов моих» и добавляет: «ибо не знаю, о чем еще подумать, коль скоро мне доверили второе место у руля, когда я не умел и весло в руках держать...» (Письмо XXI, 1).

Далее мы узнаем, сколь высоким служением полагал он труд человека в рясе: «В этой жизни, в особенности, в наше время ничего нет более доступного и почетного для человека, чем высокое звание епископа, священника или диакона. Но нет и ничего более плачевного, пагубного и предосудительного в очах Божиих, чем если кто исполняет эти обязанности небрежно или с низкими устремлениями. И равным образом, нет в наше время ничего более трудного, утомительного и опасного; но ничего нет, в очах Божиих, более радостного, чем высокое звание епископа, священника или диакона...» (*там же*). Августин продолжает, со смиренной, и от этого убедительной, настойчивостью: «Что же это за опыт, насколько же он тяжелее и обширнее, чем я предполагал! И не оттого, что различил я новые морские валы или бури, которых не знал прежде, или не мог представить или о которых не слышал и не читал. А оттого это, что я не знал, какими способностями и силами располагаю, чтобы избежать их...» (Письмо XXI, 2).

Заканчивает он сокрушенной мольбой к Валерию: «Посему молю об обычной твоей милости и расположении, чтобы ты, умиловшись о мне, одарил меня пределом времени, о котором я просил тебя, для той цели, ради которой я просил его у тебя. Несколько месяцев изучения Священного Писания нужны мне, чтобы подготовиться к апостольскому служению. Поддержи же меня и своими молитвами, чтобы желание мое не было тщетным и чтобы отсутствие мое не было бесплодным для Церкви Христовой, для пользы братьев моих...» (Письмо XXI, 6).

Не стоит и говорить, что столь убедительно мотивированное ходатайство было принято. И Августин удалился на эти несколько месяцев в пустыни духа, предавшись молитве и посту, чтобы стать «городом священников», поставленным на горе или светильником, горящим, чтобы осветить весь дом.

ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕИЗВЕДАННОЕ: АПОСТОЛАТ

Каков же был дебют Августина в качестве проповедника Гиппонского собора? Ну конечно — проповедь, направленная против манихеев, которые отвергали Ветхий Завет.

Темой этого слова стал первый стих книги Бытия: «В начале сотворил Бог небо и землю...», вместе с первым стихом Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово». Манихеям, которые отвергали творение как недостойное Бога, Августин напоминает, что начало книги Бытия и начало Евангелия от Иоанна соответствуют друг другу: «Сотворил Бог небо и землю»; «Оно (Слово) было в начале у Бога: Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть» (Проповедь I, 1).

В этой проповеди заметно, что Августин совсем недавно не просто освежил в памяти, а углубленно изучал и книгу Бытия, и Евангелие от Иоанна, и Послание апостола Павла к Ефесянам. Но нас здесь главным образом интересует не это, а то, что он начал свое служение словом против манихеев. Он считал их опасными, как людей крайне коварных и не укорененных в Писании.

О манихеях, секте, воинствующим членом которой он являлся не один год, Августин знал действительно все: ему было слишком хорошо знакомо не только их смешное учение, соблазнившее его в свое время и претендующее на роль «сверххристианства» (Мани объявил себя апостолом Иисуса Христа), засоренное элементами персидского зороастризма и китайского буддизма, но и лживое целомудрие и лживое воздержание «избранных», безнравственных и лицемерных.

«Предатель!» — кричали они своему бывшему собрату по секте, — «что ж ты плюешь в колодець!..» — и напоминали ему, что именно им он обязан быстрым продвижением по службе.

В противовес Церковному христианству они выдвигали свою религию — «сверхоткровенную», научную, рационально доказуемую: как раз такую, какая может утолить жажду юного мысли-

теля, необремененного игом веры. Теперь, видя, как бескомпромиссно он сражается с ними во имя Церкви, зная, что у него хватит сил, чтобы разоблачить их своей неотразимой диалектикой, они боялись его и скрежетали зубами.

Первый период апостольского служения Августина ознаменовался диспутом с манихейским священником Фортунатом. Живя в Гиппоне, этот манихей множил ряды прозелитов. Группа христиан (в нее входили также донатисты, простые горожане и чужестранцы) обратилась к Августину с просьбой встретиться на диспуте с этим манихеем. Но когда Фортунат узнал о положительном ответе Августина, он испугался вступать с ним в открытое словопрение и отказался. И все же, подчинившись настоятельным просьбам, главным образом, своих единомышленников, он пообещал явиться на состязание.

По свидетельству Поссидия, в городе было полно любопытных, которые получали удовольствие от любых перебранок. Что ж, стенографы раскрыли свои дощечки и начали записывать. Диспут продлился не один день.

Фортунат, видя, как один за другим опровергаются его доводы, заявил, что обсудит ход прений со своими единомышленниками и что, если они не смогут найти объяснение происшедшему, он сам позаботится о собственной душе. Он покинул Гиппон в большом смущении и больше никогда туда не возвращался. Поссидий комментирует: «Африка начинала вновь поднимать голову!» («Жизнь...», VI).

Это были первые сполохи битвы за разум и веру, на переднем краю которой Августин находился около сорока лет — битвы с манихеями, донатистами (поборниками Церкви «чистых»), пелагианами (которые превозносили способности человека, данные ему от природы, обесценивая значение Благодати) и наконец с арианами и закаленными в словесных поединках язычниками. Такую борьбу на нескольких фронтах этот паладин истины вел день и ночь, отдавая ей все силы. Противная сторона не гнушалась вооруженными нападениями, физическим насилием. Сам Августин испытал на себе «терроризм», подвергшись нападению *циркумцеллионов*, вооруженной подпольной банды, которую «спонсировали» донатисты. Времена далекие, проблемы близкие...

Августин же для победы над организованным заблуждением пользовался главным образом иными средствами: специальны-

ми сочинениями, трактатами или письмами, длинными, как трактаты.

Во время публичных диспутов выступления обеих сторон тщательно записывались стенографами, а затем издавались в виде актов. Любопытно, что народ участвовал в этих диспутах с тем же интересом, с каким сегодня следит за ходом спортивных состязаний на стадионе. Тогда весьма ценили полемические и диалектические способности великих ораторов.

В проповедях, произнесенных в церкви (из которых около тысячи дошли до нас), Августин, лишь косвенно касаясь заблуждений веры, сосредоточивался на созидании здоровой догматическую истины и духовной жизни.

Он несомненно был величайшим оратором и умел убеждать слушателей. Конечно, он размышлял с молитвой над темой своих проповедей, которую обычно ему подсказывал фрагмент из Писания, звучащий в церкви в ходе службы. Но, как правило, он не писал проповеди заранее и чаще всего импровизировал, приводя наизусть многочисленные дословные цитаты из Библии.

Павел VI назвал Августина «Поэтом Истины», а его стиль — «полным единством формы и содержания». «То, что у Цицерона стало бы риторикой, здесь — стиль», — говорил он.

Некоторые его «девизы», маленькие фразы, несущие в себе большую истину («*ama et fac quod vis*»), в переводе («люби и поступай, как знаешь») могут показаться банальными и двусмысленными. Но в целом св. Августин переводится хорошо, поскольку его мысль созвучна запросам нашего времени. В этом состоит его современность и универсальность его гения.

Среди примерно тысячи дошедших до нас проповедей (наверняка, он произнес за свою жизнь больше), включая Слова, обращенные к народу во время службы, Изложения псалмов, Беседы на Евангелие от Иоанна и на его же первое Послание, одни изложены доступным, простым языком, другие отличаются возвышенным стилем — в зависимости от того, проповедовал ли он в Гиппоне крестьянам и рыбакам, или более образованной публике в Карфагене или ином месте. Иногда он переводил на пунийское наречие какое-нибудь трудное слово.

Слово его было исключительно действенным, но в физическом облике не было ничего, что могло бы приковать внимание аудитории к человеку на амвоне. Тело мелкое и немощное, го-

лос слабый — этим он пользовался как поводом для того, чтобы со смирением призвать аудиторию к собранности и тишине. И братья по вере — когда он был священником и когда стал епископом — звали его проповедовать в свои далекие епархии. В его присутствии они не торопились взять слово.

Однажды к нему в Гиппон приехали братья-епископы, и он, поделившись с народом своей радостью об этой встрече, продолжил: «Но не знаю, по какой причине не хотят они помочь мне, хоть я так устал. Это хотел я сказать милосердию вашему, чтобы то, что вы слышали, ходатайствовало за меня перед ними: что, когда прошу их, пусть и они говорят к народу. Пусть и они раздают то, что получили, и пусть лучше не прощения просят, а снизойдут к нам и потрудятся...!» (Проповедь ХСIV, 1). Вытерев лоб, он обратил внимание собравшихся на обильный пот, выступивший у него от усилия при проповедовании и от жары, и попросил их вознаградить его за труды молитвой и добронравием.

Часто в своих поучениях он подчеркивает значение внутренней жизни. Не он, проповедник, — Учитель, а Другой, внутри каждого из нас. Он утверждал: «Я, что говорю так много, тогда радуюсь, когда слушаю!», играя созвучием латинских слов: *tunc gaudeo quando audio*. И он слушал, говоря. Он поднимался на амвон только для того, чтобы голос его был слышнее, но все равно находился среди верующих: «Для вас я епископ, с вами я ваш соученик!». Церковь есть трапеза, слово Божие — хлеб: как во время евхаристии, ни крошки не должно затеряться на земле. Это слово Божие, это хлеб Господень... Поясняя слова Иоанна Крестителя, когда он отвечает: «Я — Глас...», Августин говорил: «Иоанн есть голос преходящий, Христос есть Слово вечное. Если у голоса отнять слово, что останется? Там, где нет понятного звука, остается только звук нечленораздельный. Голос без слова ранит слух и не назидает сердце. Когда я мыслю то, что должен сказать, в сердце тотчас расцветает слово. Я даю ему звук и так, при посредстве голоса, говорю с тобою. Звук голоса передает содержание слова, и потом сразу исчезает. Но слово, донесенное до тебя в звуке, остается в твоём сердце. Иоанн есть голос преходящий... Христос есть Слово остающееся!» (Проповедь ССХСIII).

Сорок лет над всем африканским побережьем раздавалось слово Августина.

Не такой ошеломляющий оратор, как Цицерон, не такой изысканный и веский, как Амвросий, не такой многоречивый, как Иоанн Златоуст.

Но более человеколюбивый.

Конечно, свои слова он черпал в той Истине, сошедшей с небес, с которой соединился навеки. Но, как хороший врач, он преклонял ухо свое и к скудости человеческой. Если он и высказывался остро полемически (впрочем, с неизменной любовью), то почти исключительно в письменных произведениях, и лишь очень редко — в устных поучениях. Слово его было прямым, всегда мягким и убедительным, расцветающим из того отрывка Евангелия, который чуть раньше возглашал чтец.

Однажды, как рассказывает Поссидий, во время проповеди Августин отвлекся, сбился с темы и заговорил о другом. Он поведал об этом после службы, беседуя с кем-то в трапезной. Через два дня к Августину и его монахам пришел некий манихей по имени Ферм, который прежде жертвовал крупные суммы на «избранных» членов секты. Он признался, что Господь прикоснулся к его сердцу и обратился именно в тот момент, когда Августин в своем слове удалился от темы.

«Вплоть до последней болезни проповедовал он в Церкви слово Божие с усердием, ревностью, мужеством, ясной бодростью и твердым умом», — пишет Поссидий («Жизнь...» XXXI, 4). «Так говорите, так поступайте!» — добавляет биограф.

Голос Августина возвысился в трагические дни падения Рима, ободряя: «Рим не погибнет, если Римляне не погибнут!».

Теперь он навеки попал в водоворот великой новой истории, начало которой положил великий замысел о человеке. Он встал в один ряд с великанами прошлого, трудившимися во имя этого замысла, ставшими его живым воплощением, такими как Павел, Ириней, Игнатий, Тертуллиан, Киприан, и великанами настоящего, современниками — Амвросием, Иеронимом на Западе и Афанасием, Григорием Нисским, Григорием Назианзином, Иоанном Златоустом, Василием на Востоке. Все они — столпы одного и того же здания.

Если бы Августин захотел тогда исследовать собственную жизнь от рождения до последней произнесенной проповеди, он несомненно увидел бы, что Пленивший Савла пленил и его, вылепив по Своему Евангелию.

Трудно идти против рожна!

Тем, кто служит Богу с истинным смирением, дано осознать, что именно им поручена великая роль краеугольных камней в истории, в трагические времена — в те времена, когда выстроенная людьми действительность, материальная жизнь и законы которой определяли первые шаги христианства во внешнем мире, была близка к окончательному и неизбежному краху. Августин ощущал эту роль как часть своего призвания. Он был кафолическим епископом Африки и римлянином до мозга костей; ему довелось присутствовать при долгой агонии Империи; он прощал ей десять гонений на христиан, признавая, что они не умаляют ее величия, унаследованного новым ходом истории.

Его искреннее смирение не мешало ему осознавать и ощущать свою ответственность как человека, представляющего не только свой век, но и все человечество; он чувствовал себя должником каждого члена этого человечества, которому от его слова воссияет свет и который в его опыте узнает себя.

Кончается день, полный пастырских забот. В монастыре, который епископ Валерий даровал Августину, прибавилось монахов. Какое счастье уединиться с ними в этом доме молитвы!

Библиотека, трапезная, его келья, его книги... В молитвенном созерцании он общался с Моникой, Адеодатом, Небридием... Это ли не блаженство!

Вот уже пять лет миновало со дня его рукоположения, но обязанности пресвитера не изменили сколь-нибудь серьезно его монашескую жизнь. По вечерам долго, до поздней ночи он сидел у себя в комнате, освещенной большим масляным светильником — растительного масла в Африке было хоть отбавляй, и во многих домах его жгли всю ночь.

Теплый мерцающий свет лампы освещал стол. Тонкие темнокожие пальцы с белыми, как снег, ногтями любовно разглаживали лист пергамента, к которому Августин, как человек пишущий, относился с настоящей нежностью. Он писал, писал... Возникая, мысль тотчас ложилась на пергамент. Он думал, что-бы писать, и писал, чтобы подстегнуть мысль.

В этот период он создал значительные произведения, вызванные к жизни религиозной ситуацией в Африке, где теологический спор с еретиками всегда был весьма горячим. Он завершил «О 83 разных вопросах» и написал «О пользе веры», «О двух

душах против манихеев», «Акты против Фортуната манихея», «О вере и символе», «О творении по буквальному смыслу» (неоконч.), «О нагорной беседе Господней», «Псалом в противодействие Донату», «Против Адаманта», «Начатое толкование Послания к Римлянам», Письмо XXVIII к Иерониму о новом переводе Библии (которое разъярило вифлеемского отшельника), «О лжи», «О воздержании».

Как видим, создано немало. И он был еще молод: с того дня, когда в тридцать семь он стал священником, прошло только пять лет.

Особенно удивляет, сколь значительно Августин продвинулся в изучении Священного Писания,— теперь он мог потягаться с самим Иеронимом — экзегетом, которому во всей Церкви не было равных.

Из монастыря, населенного постоянно молящимися монахами, далеко разносилось многоголосое псалмопение, того распева, которому в свое время Августина научил Амвросий. В разное время дня оно состязалось с пением птиц, и так до самой ночи... когда испарения африканской земли пропитывают остывающий воздух.

«Соединимся, чтобы жить единомысленно в доме; единая душа, единое сердце в Господе...» («Устав» I, 3).

ЕПИСКОП ГИППОНА

В тот вечер на ужин к монахам пожаловал добрый епископ Валерий!

Августин очень почитал почтенного гиппонского пастыря, служил ему со смирением и сыновней любовью, и согласовывал с ним всякое начинание, можно даже сказать — всякое слово, которое должен был возглашать прилюдно.

Валерий отвечал ему отеческой любовью и безмерным уважением. Он даже поручил ему выступить вместо себя на Соборании епископов Нумидийских на Гиппонском соборе, который проходил в большом зале епископского дворца. В то же время Валерий, вместе с клиром и со всем народом, ревниво наблюдал за тем, чтобы Августин не удалялся из Гиппона. Он боялся, что его могут похитить и сделать епископом какой-нибудь другой епархии. Подобные «изъятия» людей были в ту пору нередки. Однажды он даже обязал Августина спрятаться. Августин пишет епископу Карфагенскому Аврелию: «Гиппонцы страшно боятся, что я могу оказаться слишком далеко от них...» (Письмо XXII, 2, 9).

Через Партения Аврелий даровал тагастскому монастырю поле, и Августин в письме благодарил его за проявленную щедрость. В том же письме, объясняя это невозможностью покинуть Гиппон, он просит Аврелия сделать так, чтобы Партений, епископ Узали, приехал к нему в Гиппон для беседы. Несомненно, до этого он выбирался в Тагаст: в первый раз — в 391 году, чтобы уладить дела в монастыре, который ему пришлось неожиданно оставить из-за назначения пресвитером в Гиппонскую епархию, и, возможно, во второй раз в 394 году, когда Алипий был возведен в сан епископа этого города. В том же году Августин, простым священником, участвовал в 1-м Карфагенском соборе.

Итак, Валерий прибыл в тот вечер в сопровождении двух священников. Они вели его под руки. Годы согнули спину епископа, высушили тело; его необычайная бледность бросалась в гла-

за, особенно на фоне смуглолицых берберских монахов. Сначала он пожелал побеседовать с глазу на глаз с Августином.

О чем они говорили? Догадаться нетрудно. «Августин, сын мой! Ты уже много сделал для нашей Церкви, неизменно святой, хоть и измученной разделением. Но теперь надлежит тебе взять в руки не одно, а оба весла. Я буду молиться о тебе, воздев руки к небу, как Моисей; ты же, как Иисус Навин, войди в наследство мое, веди народ Божий...».

Августин: «Святой отец, не буду отбиваться и проливать слезы, как в день моего рукоположения в священники... То, что ты имеешь в виду, для меня ни неожиданность, ни осуществление честолюбивых замыслов. Я всегда опасался епископата и, насколько мог, избегал его, ты это знаешь. Но когда сердце соглашается на крест ради послушания и любви, воля Божия выявляется через призывное слово отца, а ты ведь отец мне... Отец мой Валерий, вот убогий раб Божий, приказывай, что хочешь...».

Конец июня 395 года: Августин — епископ-сотрудник Валерия и его преемник. Его рукополагал Примаас Африки, Мегалий. В 396 году, после смерти Валерия, Августин становится епископом Гиппонским во всей полноте сана. «И я вовсе не собираюсь кичиться прелатскими регалиями», — писал он (Письмо XXIII, 6). Вся Африка, не только Гиппон, могла теперь с полным основанием высоко держать голову!

Теперь, прежде чем последовать за Августином в его многотрудном епископском делании, достойном великого Предстоятеля, к чьему мнению прислушивались за морем, в Риме, и в иных влиятельных епископиях, — было бы полезно совершить краткий обзор политической ситуации во всей империи и религиозно-политической ситуации в Африке (которые нельзя рассматривать в отрыве друг от друга).

В том самом году, когда Августин был поставлен епископом, в Милане скончался император Феодосий Великий. Перед смертью он разделил империю между двумя сыновьями: восточная часть отошла к восемнадцатилетнему Аркадию, а западная — к одиннадцатилетнему Гонорию. Перед смертью он поручил обоим царственным юношам опеку своего верного полководца Стихихона, наполовину араба, вандала по рождению, который породнился с Феодосием, женившись на его племяннице. Практически образовались две империи, со своими правителями, ис-

пытывавшими взаимное недоверие и соперничавшими друг с другом.

Стилихон сразу же не поладил с Аркадием и был вынужден ограничить свое влияние Западом. Когда Аларих, вождь готов, вторгся в Иллирию, Стилихон ринулся защищать Грецию. Но Аркадий выступил с протестом против такого вмешательства в свои дела, поскольку считал Грецию частью Восточной империи.

Стилихон оставался верным политике Феодосия, стараясь достичь компромисса с варварами через федеративные пакты. Около 400 года на Востоке стихийно возникло вооруженное восстание против засилья варваров, поддерживаемое епископом Киренским Сенезием, который выступал против любой соглашательской политики. Гот Гаина, *magister utriusque militiae* (генералиссимус) был смещен и изгнан из Константинополя. Алариха это испугало, и он двинулся в Италию. И вот в Вероне его остановил Стилихон. Он мог бы уничтожить Алариха, но предпочел этого не делать. Стилихон считал, что наступление варваров неостановимо, и что все, что он может сделать — замедлить его, проводя осторожную политику. Кроме того, дабы сдерживать другие варварские орды, угрожавшие империи с разных сторон, он был вынужден прибегать к военной помощи более «прирученных» племен, без которых неоткуда было бы набирать новобранцев. Итальянские войска, как по количеству, так и по боеспособности, были не в состоянии обеспечить защиту находящихся под угрозой провинций. В общем, Стилихон, пока обстоятельства позволяли, действовал по принципу «разделяй и властвуй».

Стилихон не ошибался: имея такого противника, как Аларих, было бы невозможно поставить преграду на пути наводнения. Сам Аларих захватил бы Италию, останься она без войск, готовых сразиться с новыми варварами. И тогда Стилихон отдал Алариху под начало иллирийские рати, чтобы, не беспокоясь за тылы, противостоять надвигающемуся половодью.

В 405 году остготы под водительством Радагазия вторглись в Италию и дошли до Тосканы, где в 406 году (при Фьезоле) потерпели поражение от Стилихона; на смену остготам 31 декабря того же года явились алеманны, аланы, вандалы и бургунды...

Но Гонорий выступил против назначения Алариха наместником Иллирии, и это усложнило ситуацию. Варвар оскорбился,

прибыл в Эмону (Любляну) и потребовал репараций (408). Стилихон обратился за финансовой помощью к римскому Сенату и с трудом выбил для Алариха четыре тысячи либров золота.

Миланские недруги тем временем и не думали складывать оружие: они объявили Стилихона предателем, другом варваров. Итальянские войска, сосредоточенные в Павии, взбунтовались и жестоко расправились с начальствующими. Сам Гонорий едва не разделил их участь и спасся, очевидно, только благодаря какому-то сговору с бунтовщиками. Наемные войска Стилихона, расквартированные в Болонье, хотели идти на Павию, но полководец, верный своему императору, приказал им оставаться на месте. 22 августа 408 года, с молчаливого согласия Гонория, Стилихон был схвачен в равеннской церкви, где он искал убежища, и убит.

Такова картина событий в жизни империи, которые нельзя упускать из вида, прослеживая путь Августина-епископа на протяжении всего этого времени. Именно они привели к скорому разграблению Рима и окончательному краху империи.

В начале епископского служения Августина события в центре империи оказывали лишь косвенное влияние на ситуацию в проконсульской Африке. Впрочем, становилось все труднее управлять этой территорией, которая, давно войдя в состав Римского государства, находилась далеко, за морем, и сохранила память о своем прошлом и своей культуре, уничтоженной и вытесненной Римом. Ослабление центральной власти соблазняло местных политических деятелей на громкие мятежи, которые было не так-то просто подавить; их дополняли не то национально-освободительные, не то разбойничьи набеги туземных племен, населявших земли на границе между римской Африкой и пустыней.

Самым тревожным событием на африканской политической арене было восстание Гильдона (зимой 397—398 гг.), назревавшее в течение нескольких лет. Он заявил, что не желает больше признавать власть Гонория и его генералиссимуса Стилихона, и что хотел бы перейти под начало Аркадия и его полководцев, примкнув к восточной империи. Но это говорилось только для отвода глаз; истинной же целью Гильдона было превращение проконсульской Африки в независимое государство.

Но чем, собственно, был известен Гильдон до этого заявления? Отцом его был мавританский принц Нубель, а одним из братьев — тот самый Фирм, который в 373 году, вместе со сво-

ими умелыми дружинами, готовыми сражаться везде — даже в неприступных горах — задал хлопот центральным властям; впрочем — до тех пор, пока в Африку не прибыл военачальник Феодосий, отец будущего императора-тезки, справившийся с мятежом, проводя политику кнута и пряника. Каковой Феодосий старший, заполучив труп Фирма, который высокомерно покончил с собой, вскоре и сам сложил голову. Славно потрудившись на военной ниве, добившись немалых успехов и обрета немало триумфов, он был обвинен своими недругами в чрезмерной жестокости. Поскольку, опять же по государственным соображениям, врагов Феодосия нужно было как-то поощрить, его призвали в Карфаген к Валентиниану I и убили в начале 376 года.

Гильдон в отношениях с римлянами избрал иной путь, не одобряя политику брата. Родство родством, а политика политикой. В то время как Фирм по-лиси хитрил, скрывался в горных норах, откуда при первой возможности совершал молниеносные внезапные и кровавые набеги, Гильдон предпочел чинно подниматься по ступенькам римской бюрократической лестницы в качестве чиновника, и в 393 году, когда проконсулом был Патерний, он состоял при нем *comes* (товарищем, сотрудником) и *magister utriusque militiae per Africam* (верховным главнокомандующим в Африке). В первые годы Августинова епископата проконсулы сменяли друг друга через год: в 395 — Энной, в 396 — Эрод. Рим все ревностнее оберегал спокойствие в своих африканских провинциях, ведь именно от этих территорий зависело, будет ли столица обеспечена продовольствием. Требовалось, чтобы полевым работам ничто не мешало, чтобы урожаи были обильными, чтобы по пути в Рим суда-зерновозы не превращались в невольных участников морских сражений.

Когда после смерти Феодосия империю поделили Аркадий и Гонорий, и между ними возникли разногласия, Гильдон решил воспользоваться благоприятными обстоятельствами, чтобы осуществить замысел, которому он не решался дать ход при императоре Феодосии: создать в Африке царство, независимое от Рима. С этой целью он начал менять курс кораблей, идущих в Рим с грузом продовольствия, придумывая для этого различные предлоги: то вдруг оказывалась необходимой вынужденная стоянка, то на борту обнаруживался порченный товар, то «происходило» еще что-нибудь в этом духе.

В 395—397 годах продовольственное положение в Риме постоянно ухудшалось. В письмах Симмаха мы читаем о бунтах в столице, вызванных отсутствием продуктов. Сенат направлял своих представителей к императору с просьбой прийти на помощь римлянам, вынужденным покинуть голодный город. Сенаторы лично организовывали раздачу зерна, чтобы накормить народ. Императорские указы всячески поощряли судовладельцев. Согласно одному из этих указов суда, следующие в Рим с грузом пшеницы, ни в коем случае не должны были изменять курс — даже если погодные условия вынуждали их приставать надолго к африканскому берегу.

Ситуация становилась просто невыносимой. Стилихон решил обратиться в Сенат с предложением объявить Гильдона «врагом общества». И Сенат, с согласия Гонория, заявил во всеуслышание о преступлениях Гильдона, виновника голода. Курия огласилась криками возмущения. Сенаторы единодушно проголосовали за объявление Гильдона «врагом общества», а также постановили, ввиду чрезвычайных обстоятельств, срочно завезти зерно в Рим из Галлии и из Испании. Они призвали Аркадия нарушить нейтралитет и присоединиться к публичному осуждению Гильдона, но призыв остался без ответа.

Епископ Августин, судя по всему, никак не мог остаться в этой ситуации безразличным наблюдателем. Тиран Гильдон пользовался поддержкой донатиста Оптата, епископа Тамугади, и, со своей стороны, всячески помогал ему в его борьбе с кафоликами. Августин называет Оптата «его приспешником, вором, разорителем, сеятелем распрей, первым сообщником» и добавляет: «В своем непереносимом самоуправстве он окружил себя солдатами, и не потому, что ему было кого бояться, нет, — чтобы внушать страх; он притеснял вдов, убивал детей, проматывал чужие состояния, разрушал семьи, выставял на продажу вещи, принадлежащие невинным людям, заставляя плачущих хозяев отдавать их за бесценок» («Против сочинений Петилиана донатиста» II, 53). «Десять лет, — пишет в завершение Августин, — по всей Африке стоял стон, пока она билась в когтях этого Гильдонова Оптата.»

Кого же послал Стилихон в Африку подавлять мятеж? Во главе карательной экспедиции встал сводный брат Гильдона и, соответственно, Фирма, еще один из многочисленных отпрысков

Нубеля, Маскецель. Ему, в числе прочих, довелось испытать на себе звериный нрав нумидийского бунтовщика. Когда Фирм поднялся против римлян, Маскецель сражался на его стороне. Но после поражения Фирма Маскецель помирился со Стилихоном и даже предоставил в его распоряжение двоих сыновей, зачисленных в регулярные африканские войска. Был он кафоликом и знал Августина. Когда начался новый мятеж, Маскецель нашел убежище в Риме, а сыновей оставил в Африке. Гильдон предал их жестокой смерти. Стилихон решил, что именно Маскецеля должно послать против Гильдона: он прекрасно знал территорию и людей своего края, был родом из семьи воинов и горел желанием отомстить за детей. Сам Стилихон намеревался принять участие в боевых действиях несколько позднее, чтобы погасить последние очаги сопротивления. Последние приготовления шли зимой 398 года, а весной восстание было полностью подавлено. Все произошло очень быстро; как полагает историк Горозий,— благодаря тому, что Бог явил победителям Свое особое благоволение.

Корабли Маскецеля отчалили из пизанской гавани. Прежде чем повернуть паруса к Африке, он решил ненадолго пристать к острову Капрайя. Здесь находился монастырь, настоятель которого Евдоксий и его иноки состояли в переписке с Августином. Сохранилось письмо Августина этим монахам, датированное тем самым 398 годом. В начале он пишет, что завидует им, пребывающим в безмятежном покое, «в то время как мы здесь погружены в различные и тяжелые заботы». Прежде чем покинуть Капрайю, Маскецель взял на борт нескольких монахов из этого монастыря. Позднее он утверждал, что именно благодаря их посту и молитве была одержана победа. Может быть, это те самые Евстакий и Андрей, о которых Августин говорит в своем письме: «Прежде молва, а затем и братья Евстакий и Андрей, прибывшие сюда из ваших краев, донесли до нас благоухание Христова, исходящее от вашего святого обычая. Из сих двоих Евстакий предварил нас, достигнув того покоя, который не тревожат даже волны, разбивающиеся о берег вашего острова; и он уже не стремится более на Капрайю, ибо теперь не имеет нужды подпоясывать власяницу» (Письмо XLVIII, 4).

Узнав о прибытии римских войск, Гильдон поспешил покинуть территорию Карфагена и вообще северное побережье Аф-

рики; он отошел вглубь континента, на берега реки Ардалио, расположившись между Аммэдаре и Тхевесте. Здесь и произошло сражение. Гильдон был убит 31 июля 398 года. Однако Маскецель не успел воспользоваться плодами победы. Вернувшись в Италию, он стал сильнее, благодаря неоспоримым заслугам. Это-то его и погубило: Стилихон подослал к нему убийц.

Такие были времена; насилие перечеркивало заслуги даже тех, кто добивался полезных для Рима побед. Теперь один человек принимал благодарности и награды — Стилихон. Африка посвятила ему эпитаф, помещенный на римском Форуме: «Его стратегия и мудрость Африку освободили». Но важнее другое выражение признательности: эпитаф, высеченный в честь *Генералиссимуса* тибрскими лодочниками, которые переправляли в Рим по реке зерно, выгруженное африканскими кораблями в Остии. От имени всего римского плебса они благодарили и славили человека, «накормившего Рим» добрым африканским хлебом.

Такова хроника событий тех дней, хроника происшествий из жизни африканских провинций империи. Эти события давали пищу для разговоров, споров, а также вопросов со стороны тех, кто был о них осведомлен меньше, чем те, кто разбирался в них лучше или, как полагали вопрошающие, имел более полные сведения о происходящем. Конечно же, о новостях из-за моря, о делах империи, о происшествиях на африканской земле Августина расспрашивали и монахи, и многочисленные посетители гиппонского монастыря. Как и в наше время, возникающие ситуации требовали толкования, причем, как и сегодня, главными темами комментариев были насилие и бандитизм. Комментарий Августина исполнен пессимизма и горечи: «Царства земные не суть ли не что иное, как большие разбойничьи шайки?».

Тревожные предчувствия посещали самых прозорливых; ими овладевал страх перед грядущей катастрофой: период насилия и политических нестроений затягивался. Но все еще оставалась надежда, что империя, с ее устоями и организацией, пережившими века, сумеет одолеть и эти потрясения.

Августин, как мало кто еще, пропустил историю через себя, причем не только как некую последовательность событий, складывающихся в мозаику, но и как развитие нравственных понятий, если угодно, — как человеческий ответ на таинственный замысел (это станет главной темой его значительнейшего труда,

книги «О граде Божиим»). Именно поэтому по глубине размышлений он превзошел всех своих современников.

Вот он проповедует в Базилике Мира или шагает по *decumanus maximus*, выложенному базальтом. Его маленькое тело облачено в серую льняную тунику, а зимой закутано в бурый плащ с шерстяным капюшоном, ноги обуты в простые башмаки или сандалии — вот и весь наряд тогдашнего епископа-монаха. Маленький епископ, горчичное зернышко, исследуя грандиозный замысел Господа, вглядывается в прошлое, чтобы уловить в нем приметы будущего.

Однажды, когда он шел по *decumanus maximus* (направляясь из монастыря в Базилику Мира), его почтительно приветствовал старый друг Марциан, язычник, но человек порядочный и честный. Он и начал разговор: «Грустные времена, святой владыка! Прав Теренций: «Мы живем в эти дни, что меняют строй человеческой жизни».

«И изменения нужны, Марциан! Помнишь, как мы играли вместе детьми? Мы уже не те дети... *Ruit mundus, quare non migras?**»

«Что Вы имеете в виду?»

«Что мир рушится, как рушится дом. Но когда сотрясается дом, живущие в нем спешат его покинуть... Мир же отличается тем, что, разрушаясь, он воссоздает себя в новой ситуации. Но одновременно рушится! И хотящий выжить и оказаться в этих новых обстоятельствах, должен покинуть его, успеть выбраться до падения. Надо душой удалиться туда, где можно пребывать в безопасности...»

«Где же это место?», — спросил Марциан.

«В Боге, разумеется! Только в Нем мы безопасны... Ты цитировал Теренция; я же переложу по-своему Вергилия, три стиха из IV эклоги: «Если пойдем за тобой, не останется и следа от наших преступлений, и земля избавится от всечасного страха». Конечно, я говорю о Христе, а не о сыне Азиния Поллиона...» (ср. Письмо CCLVIII). Он было продолжил: «Я как раз размышлял...», но осекся. Он и в самом деле размышлял — об истории Карфагена. Карфаген и Рим (две сверхдержавы двадцатидвухвековой давности) соперничали за владение миром. Победил Рим.

* «Мир рушится, отчего же ты не бежишь?» (лат.).

И на развалинах Карфагена римские легионеры рассыпали жгучую соль — чтобы и трава здесь больше не росла. Августин все же продолжал: «Благом ли было для Рима уничтожение Карфагена?».

«Не знаю, обрел ли благо Рим, уничтожив навеки своего соперника,— проговорил в ответ Марциан.— Пока существовал Карфаген, Рим, опасаясь Карфагена, берег свою силу.»

«Вот-вот. Так полагает историк Саллюстий. По его мнению, разрушение Карфагена прорвало некую невидимую плотину, обрушив на римское общество поток пороков. Римляне стали ленивыми, устремились в погоню за роскошью, богатством, властью. Разложение верхов передалось народу. Но и Карфаген, перед концом, охватило падение нравов. Его магистраты добавляли в чистое золото и серебро недоброкачественные сплавы, доходы государства делили между собой сановники и их приспешники...»

«Что же получается, Августин? Всему уготована смерть?»

«Нет, все может получить новую жизнь. Карфаген отстроили сами римляне, его окрестности вновь утопают в зелени, деревья в его садах сгибаются под тяжестью плодов. Африка дала римской литературе Апулея, глубочайшего знатока греческого и латинского наречия; учила своих покорителей искусству управлять государством, когда на престоле империи восседал Септимий Север. Иные, новые силы вливаются в историю. У нас, кафоликов, есть такие мученицы, как Перпетуя и Фелицита, такие религиозные мыслители, как Тертуллиан и Киприан, такие поэты и словесники, как Пруденций и Минуций Феликс...»

«Что же будет ныне с миром, если Рим падет окончательно?» — спросил в задумчивости Марциан.

«Нужно не дать совершиться этому падению. Рим велик! Мы африканцы, но мы и римляне! Рим разрушил Карфаген, но не презрел Африку. Что до судеб дел человеческих, то когда рушится мир, созданный Богом, устоят ли дела рук человеческих? Ничто человеческое не вечно... И тот, кто твердо знает это, не погибнет под обломками, а спасен будет... Сципион Эмилиан плакал над развалинами Карфагена, после того как сам же сравнивал его с землей. По рассказу Полибия, когда он спросил у Сципиона, в чем причина этих слез, тот повернулся к нему, взял его за руку и сказал: “Это — минута славы, Полибий; но мне страшно, ибо

я предчувствую, что однажды та же участь постигнет мою родину”».»

Августин считал за честь называться африканцем. И любил Рим, за его вселенскость. Его гений, быть может, нуждался в пространстве Рима, его историческом масштабе, потому что только через эту реальность он мог обратиться ко всему человечеству.

После обращения, даже став епископом, он не вырос сразу, в один момент. Он рос день за днем, наблюдая за гибелью Рима, и вырастая, делал все, чтобы Рим не погиб. Вместе с тем «гумусом» его души, как и всей земной жизни, непременно должна была стать африканская земля. Где бы он ни родился, его ожидала великая судьба. Но если бы он не родился африканцем, он не был бы такими великим.

ТРУДЫ ПАСТЫРСКИЕ

4 апреля 397 года в Милане скончался епископ Амвросий. Ему было пятьдесят семь лет или немногим больше.

В наши дни, благодаря современным средствам массовой информации, мы получаем сведения о событии, можно сказать, синхронно с самим событием. Принято считать, что в начале нашей эры новости распространялись несравнимо медленнее. Но нам придется изменить свое мнение, во всяком случае, касательно срока, за который достигали границ империи особо важные сообщения. Точно известно, что о кончине Амвросия (Амвросий был старше Августина на 15—20 лет; год рождения Амвросия точно не установлен: известно лишь, что он родился между 335 и 340 годом) и об облечении Симплициана в сан епископа Августин узнал очень быстро.

Он оплакал эту смерть, которая вывела с подмостков земной Церкви человека исключительной добродетели, одареннейшего руководителя. Теперь перед ним распахнулись двери Церкви небесной. Августин в различных произведениях упоминает имя Амвросия, сопровождая его прилагательными *beatus* (блаженный), *sanctus* (святой), *noster* (наш), — не много не мало 115 раз. Августин всегда видел в нем свой идеал епископа.

Преемник Амвросия Симплициан, по возрасту превосходивший и Амвросия, и Августина, духовный наставник молодого африканского преподавателя миланского *Studium* в переломном для него 385 году, сразу же показал, как высоко он ценит епископа Гиппонского, предложив ему изложить свое толкование трудных мест Библии.

Посылая Симплициану ответы на поставленные вопросы, Августин просил его: «Не ограничивайся чтением, поправь то, что ты по-отечески попросил меня разрешить, так же как и все прочие труды мои, которые попадут тебе в руки; ибо я знаю, что есть в них благодеяния Божии, но также я знаю, что есть там и мои ошибки» («О разных вопросах к Симплициану» I, 2).

А вот между Амвросием и Августином, со времени незабвенной пасхальной ночи 387 года, когда сын Моники принял крещение, — ни строчки... Проявилась ли в этом присущая Амвросию сдержанность? Он щедро изливал свою любовь на всех, но избегал излишней фамильярности (ср. «Об обязанностях» I, 167; II, 103—107, 109). В одном из писем он писал о поведении священников: «Не подобает священникам разводить нежности... Достоинство священства требует спокойствия, трезвости, строгости жизни, словом — особой степенности» (Письмо XXVIII, 2).

Не стоит сокрушаться по поводу того, что мы не располагаем иными, по крайней мере, эпистолярными, свидетельствами о дружбе двух великих епископов. Как Илия Елисею, один из них оставил другому свой пророческий дух. И нет ничего удивительного в том, что такое событие окружено таинственным молчанием!

Августин все эти годы (с 391 по 397) трудился очень много. За апостольское служение он горячо принялся с тех пор, как стал священником, но теперь епископское достоинство налагало на него еще большую ответственность и призывало к еще большим трудам.

Это было время, весьма плодотворное в творческом отношении. Кроме «О разных вопросах к Симплициану», он создает или дописывает: «О пользе веры», «О двух душах», «Акты против Фортуната манихея», «О творении по буквальному смыслу» (незаконченное произведение, над которым он работал до 427 года), «О нагорной беседе Господней», «Псалом в противодействие Донату», а также «Против послания Доната», «Против Адиманта, ученика манихея», «Толкование некоторых мест из послания Апостола к Римлянам», «Толкование послания к Галатам», начало «Толкования послания к Римлянам», «О лжи», «Против послания манихея, которое называют основным», «О ратоборстве христианском», «О христианском учении». Уже сами названия указывают на глубину теологических и экзегетических познаний, приобретенных Августином за годы священства и епископства, а также на его необычайно мобильную тактику защиты христианской истины от любых нападков.

Кроме того, он принимал участие в публичных прениях, произносил речи, писал письма, присутствовал на Соборах, выезжал из Гиппона в Тагаст, Мутугенну (местечко недалеко от Гиппона), нумидийскую Тубурсику, Карфаген, Цирту. В письмах

встречаются колоритные подробности его странствий. Колоритные, разумеется, для нас; ему-то они порой причиняли боль.

В Мутугенне и ее окрестностях донатисты особенно упорно и фанатично проводили в жизнь свои идеи: они перекрещивали кафоликов, переходящих в их схизму, ибо полагали недействительным обряд крещения, совершенный кафолическим священником. Независимо от того, переходил или не переходил человек в секту схизматиков, Церковью «перекрещиванье» расценивалось как святотатство. Естественно, присутствие деятельного кафолического епископа должно было пролить свет на подспудное проникновение еретиков в кафолическую среду.

Случилось так, что некий диакон-кафолик, перейдя к донатистам, прошел у них обряд крещения. Поскольку донатистский епископ Мутугенны, Максимин, зарекомендовал себя человеком разумным, стараясь не раздражать кафоликов подобными деяниями, Августин, услышав о происшествии с диаконом, не поверил, что все было именно так, как ему рассказали, — настолько он уважал Максимиана и доверял ему. И вот, желая лично установить истину, он сел на мула и отправился в Мутугенну. Но обвиняемый скрылся от правосудия и не показывался на глаза Августину; впрочем, епископ Гиппонский смог поговорить с его родителями. Они подтвердили, что их сын, действительно, из кафолического диакона стал донатистским. Но Августину не удалось выяснить, перекрещивали его или нет, и он никак не хотел верить, что это все же случилось, пока Максимин, в чьей серьезности он не сомневался, не набрался мужества самолично в этом его заверить. Августин написал Максимиану письмо — грустное, но очень приветливое и уважительное, предлагая ему встретиться и честно во всем разобраться с глазу на глаз.

Это письмо (Письмо XXIII) знаменует собой начало его многолетнего и многотрудного служения, направленного на то, чтобы вернуть донатистов в лоно единой Церкви.

Он всегда держал под особым присмотром этот беспокойный край, который принадлежал его юрисдикции — вплоть до того времени, когда донатисты не постеснялись прибегнуть к насилию, призвав на помощь циркумцеллионов (по размаху и характеру преступной деятельности они вполне сравнимы с нынешними террористами), и до тех пор, пока власти не прислали полицейские войска для наведения порядка.

Немного забегаая вперед, заглянем в раскаленные времена долгого, порой кровопролитного противостояния, чтобы рассказать об аналогичном случае, произошедшем в той же Мутугенне спустя несколько лет. Нужно было, используя сильные средства, призвать к церковной дисциплине двух взбалмошных священников, одного из которых звали Донатом. Августин послал в Мутугенну двух превосходных скакунов. От неизвестного автора той эпохи, торговца, привыкшего путешествовать по свету, мы узнаем о великолепных ходовых качествах нумидийских мулов. Лошадь считалась роскошью, так что священнослужитель, решивший воспользоваться ею для своих транспортных нужд, мог рассчитывать примерно на то же отношение окружающих, какое сегодня вызвал бы прелат, разъезжающий на «Роллс-Ройсе». Ну так вот, один священник повиновался и, не чинясь, дал препроводить себя в Гиппон; другой же, а именно — упомянутый Донат, уперся хуже всякого мула (незадолго до этого, чтобы только не подчиняться дисциплине, он прыгнул в колодец, и, конечно, захлебнулся бы, если бы его с большим трудом не вытащили — против воли). В конце концов он сделал вид, что сдался, и, залезая на мула, — то ли намеренно, то ли по неумению (тем более, что в те времена и в тех местах поводья, упряжь, седла были в диковину, и, как правило, верховые путешественники должны были обходиться без всех этих приспособлений), — брякнулся оземь, как мешок с картошкой, и сломал ногу, испугав животное своей неуклюже-нерадивой повадкой. Был он неловок и несноровист, но отказывался от всякой помощи. Как бы там ни было, вину за сломанную ногу он возложил на Августина.

Побуждая Доната одуматься, Августин написал ему отеческое письмо, в котором, среди прочего, говорил: «Если ты повредил себя, в этом твоя вина. Ты отверг предоставленного тебе мула и тяжело пострадал, бросившись на землю по своей воле. Другой же брат твой прибыл к нам невредимым... Ты жалуешься, что тебя насильно влекут ко спасению, в то время как вы стольких верных наших увлекли к гибели... Ты полагаешь, что никого нельзя принуждать к добру? Но немало есть таких, которые вынуждены против воли соглашаться, например, на епископство: их захватывают силой, запирают на замок и стерегут, как зеницу ока; на них оказывают всяческое давление, пока они не решат согласиться...» (Письмо CLXXIII, 1,2). Похоже, он говорит о себе.

Его усердие принесло плоды: донатистский епископ Мутугенны возвратился в католическую Церковь и остался епископом. Впоследствии карфагенский поместный собор 411 года унифицировал две епископии Мутугенны.

Между тем Августин перебрался из гиппонского монастыря в свою епископию, где также, вместе со своими священниками, учредил общежитие. Правда, вначале он поступил неосторожно, просто приказав им жить вместе, но постепенно пришел к убеждению, что несвободное присоединение к общежитию приводит к серьезным неприятностям, и постановил, что с ним будут жить только те, кто примут такое решение совершенно добровольно.

Что же заставило Августина покинуть монастырь? Верующий народ начинал уже толпами стекаться к нему со своими нуждами, а он не хотел нарушать покой монахов. С другой стороны, он не хотел пренебрегать своими епископскими обязанностями, отказывая во внимании хоть кому-то из приходящих.

Накопившееся утомление, многочисленные заботы расшатали и без того не железное здоровье этого впечатлительного человека, хотя было ему всего сорок четыре года — возраст вполне дееспособный. Августину нездоровится, он не встает с постели. Но дело тут не столько в болезни, сколько в досадных неприятностях. Об этом можно судить по письму епископу Цирты, Профутуру, близкому другу Августина, которого он называл своим *alter ego*. Он пишет ему, лежа в постели, — вероятно, в первые месяцы 397 года. «Духом я бодр, чего нельзя сказать о теле. Я лежу в кровати: не могу ни ходить, ни стоять, ни сидеть из-за воспаления геморроидальных узлов. Твоим молитвам вручаю дни мои; чтобы ни в чем не допустил я неводержанности, и чтобы ночи мои мог переносить с душою терпеливой...» (Письмо XXXVIII, 1).

Итак, обычный для людей, ведущих сидячую жизнь, недуг. А уж ему-то точно приходилось много времени проводить сидя. Если он не сидел у себя в комнате за письменным столом, то сидел на спине мула, совершая пастырские поездки. Именно такая поза вызывает заболевание, о котором он сообщает в своем письме, — столь унижительное для человека выдающегося ума...

Может быть, как раз тогда, в тисках постельного режима, бессонными ночами, на время избавившись от необходимости рассчитывать по минутам каждый следующий день и свободно

строая планы на собственный счет, он стал задумываться над новой, особой книгой, очень открытой и личной. Мысли его устремились к «Исповеди». Эту книгу невозможно пересказать; она принадлежит к числу самых читаемых произведений древней классической литературы и опережает по числу читателей все прочие произведения литературы христианской; с цифрами в руках можно доказать, что и сегодня «Исповедь» — самый настоящий бестселлер.

Заветная цель любого биографа св. Августина — убедить читателя погрузиться в волнующую исповедь самого «размышляющего» из когда-либо существовавших раскаявшихся грешников, которую он доверяет Богу и человечеству, сумев претворить тему греха в большую симфонию милости и нищеты.

Для Августина человек это бездна. В своей книге он находит ход, по которому можно проникнуть в его собственную бездну, и ведет по нему тех, кто хочет туда попасть. Когда исследователи впервые обнаруживали в недрах Земли знаменитые ныне пещеры, они с опаской входили в темные, пугающие подземелья, и вдруг, в лучах какого-то таинственного света, начиналась невиданная игра цветов, форм, узоров, веками создававшихся рукой неведомого волшебника. Такова и внутренняя жизнь этого человека. Следуя за ним, и мы обретаем надежду, что, может быть, и маленький грот нашей души украшен с неменьшим искусством, если только рассматривать его при свете милости, творящей и воскрешающей.

Необычайно важно понять — как не для какой другой книги — что же побудило автора написать «Исповедь». Не желание в художественной форме рассказать о своей жизни, которое произвело на свет множество знаменитых автобиографий, — поскольку это не биография. Не потребность оставить мемуары или нечто завещать, поскольку духовным завещанием ее тоже не назовешь. Не мотивы религиозно-назидательного порядка, ибо, в узком смысле, религиозно-назидательной ее тоже считать нельзя. В самом деле, книга Августина, может быть, как никакая другая, вызвала интерес у людей мирского духа. В жанровом отношении она не знает precedентов, не существует и удавшихся подражаний.

Как нам представляется, если исключить также изначальное стремление к непосредственному покаянному исповеданию со-

бственных грехов, побудительным мотивом для Августина как раз в эту пору стал страх перед самим собой. Глубокое смирение вступило в схватку с тонкой гордостью. То, что могло бы отвратить его от работы над «Исповедью», — смирение, наоборот, заставило написать эту книгу и публично признаться в своей нищете, чтобы восславить милость Божию: «Ты — милость, я — нищета».

Перед тем, как приступить к очередному сочинению, он всегда советовался с кем-нибудь из наиболее мудрых братьев. На сей раз его собеседником стал Алипий, преданный друг, епископ Тагастский, которому он открыл свои неотступные побуждения.

«Чем могу я возблагодарить Бога, Алипий?»

«Ты и сейчас благодаришь Его, Августин! Своей ревностью о Церкви Божией, своими молитвами, своей любовью к людям, — и к противникам в том числе... Тебе пора позаботиться о здоровье, что-то ты сдал с тех пор, как мы виделись в последний раз... Только подумай, как необходимо сегодня все, что ты делаешь! Недавно мне написал Павлин из Нолы: просит рассказать поподробнее о твоих отношениях с Амвросием и о тебе, о твоей жизни...»

«Ну вот, и ты расточаешь мне хвалы! Оставь это, Алипий... Я ведь спрашиваю тебя, чем мне возблагодарить Господа. Чувствую Его неоскудевающую милость ко мне, меня ведет Его благодать... Но хвала человеческая смущает меня, а хвалы приходится слышать все чаще...»

«Павлину я послал уже твои книги о манихеях. И Иероним...»

«Разве что Иероним... Вот он — по мне... Он словно не выпускает из руки бич. Во всяком случае, общаясь со мной... Вот такой друг мне нравится!... Да он больше, чем друг, — наставник, за которым бы я охотно последовал — именно из-за этой его замечательной несговорчивости...»

«Действительно, Иероним велик... Но вернемся к тебе. Почему же тебе причиняют такое беспокойство хвалы людские? Разве мало у тебя других огорчений? Ты епископ, и что, ты предпочел бы, чтобы епископа осыпали оскорблениями? Не хочу повторять слова хвалы, и могу понять, почему они досаждают тебе, но я знаю тебя, Августин. Ты не станешь отрицать, что Бог наделил тебя дарами, и ты употребляешь их во благо Церкви. Никогда, ни в прошлом, ни теперь, не замечал я в тебе гордости...»

«Ты говоришь о гордости, Алипий? Вспомни, что я написал в правиле монашеской жизни: «если всякий иной порок побуждает совершать злые дела, то гордость отравой примешивается к добрым делам, дабы погубить их». Я учу этому других, потому что увидел это в себе...»

На какое-то время они замолчали. Потом Августин продолжал: «Знаю, что смирение есть истина, знаю, что никто не вправе, из ложного благочестия, не признавать дары, которыми Господь оделил его. Не признающему их никогда не принести плода. А ведь Бог для этого и дает нам дары. Но я и сейчас чувствую то, что ощутил в тот день в Милане — помнишь? — в саду нашего дома: что таинственная и благая сила перенесла меня из навозной кучи в царские палаты. Ныне в этой благой силе я прозреваю черты дивного лика — лика Господа моего. Да, я действительно обеспокоен, и хотел бы, чтобы мои друзья и противники не забыли, каким я был когда-то, не забыли моих заблуждений; чтобы понимали, что без благодати, которую Бог подает мне, я бы ничего не смог сделать. Ничего! Только бы Господь помог мне и не оставил в теперешнем моем смятении; но я, кажется, уже знаю, чего Он ждет от меня: подробной письменной исповеди. Да, Алипий, я чувствую, что мне необходима большая исповедь. И в этом истина обо мне, убогом...».

«Да, вот это действительно было бы твоё приношение Богу! И теперь я говорю вместе с тобою: погружайся глубже, как только сможешь глубже, в своё смирение, возводи свой памятник Милости, которая спасла тебя...»

Вот так Августин, просиживая ночи напролет за столом (где, начиная наш рассказ, мы застали его в одну из ночей 398 года), он приступил к своей *carmen saeculare**, чтобы восславить Бога на пороге пятого века,— того самого, которому было предназначено переплавить в необъятном плавильном котле новые народы из далеких окраин Европы, подготовив их к вступлению в обновленную цивилизацию.

Августин, с обычной для него точностью в оценках, сразу же четко определил человеческое и религиозное значение написанного произведения: «Тринадцать книг моей «Исповеди», всем, что

* Так называемая «секулярная песнь» исполнялась в Древнем Риме во время особых игр, проводившихся раз в столетие (*прим. перев.*).

есть злого во мне и всем, что есть доброго, прославляют Бога праведного и благого и к Нему устремляют ум и сердце. Во всяком случае, такое действие производили они на меня, когда я писал их, и теперь производят, когда я читаю их. Другие...— им судить. Но знаю, что многим братьям они понравились и нравятся весьма» («Поправки» II, 6).

Есть великие писатели, создавшие всего одну книгу. И если бы Августин ничего не написал, кроме «Исповеди», одна эта книга сделала бы его великим.

«ЦЕЛОКУПНЫЙ ХРИСТОС»

Поссидий, епископ Каламский, ученик Августина, оставил нам его жизнеописание — краткое, простое, но достоверное, как портрет кисти Веласкеса. Поссидий говорит, что для потомков Августин остается живым в своих произведениях. В подтверждение этой мысли биограф цитирует стихи, которые некий поэт-язычник завещал высечь на собственной гробнице, установленной на людной улице: «Хочешь ли знать, о прохожий, как этот поэт, / здесь лежащий, живым оказаться сумеет? / Если прочтешь меня — заговорю; твой голос — мой...». Правда, здесь же Поссидий добавляет: «Но полагаю, что наибольшую пользу смогли извлечь из общения с ним те, которые видели его действующим членом Церкви, слышали, как он говорит, в особенности же те, которые были свидетелями его жизни среди людей. Он был одним из тех, о ком написано: так говорите и так делайте!» («Жизнь...» XXXI).

Жители Гиппона ощущали ничем не заполнимую пустоту, когда пастырские обязанности призывали епископа в другие края, и его голос месяцами не звучал в городском соборе. Но когда Августин пребывал в епископии, принимая всех стремящихся поговорить с ним, когда они видели, как он служит в алтаре базилики, или слушали его слово с кафедры, — вознаграждалось их долгое, терпеливое ожидание и не было тогда на свете людей счастливее и богаче.

Еще в бытность его простым пресвитером Валерий предоставил ему полную свободу действий; затем, епископом, получив сопутствующие полномочия, Августин сформулировал свой план: трезвомысленно созидать Церковь, которая бы, насколько возможно, походила на тот Град Божий, коим ей предназначено быть в вечности. Его усилия были направлены на то, чтобы передать свои представления о Церкви: устным словом — гиппонским рыбакам и всем приходящим послушать его; словом письмен-

ным — всем другим, современникам и потомкам, друзьям, не-другам и равнодушным.

Воззрения Августина на Церковь были весьма оригинальны и смелы по сравнению с другими суждениями о ней. Не привилегированная каста, не нравственное либо догматическое пуританство, не историко-теологический интегрализм. Шаг за шагом следуя за Августином в его рассуждениях, приходишь к выводу, что или само человечество и есть Церковь, или оно — недостойное человечество.

Конечно же, размышляя о Церкви, Августин рассматривает веру как *дар Божий*.

Мы увидим, что эта *вера* не может обойтись без поддержки *разума*, необходимого не только для честного рассуждения, но и для того, чтобы сердце было всегда готово принять Божье откровение. Ум и сердце человека не противоречат друг другу и составляют ту почву, на которую падает из рук Божьих дар, семя, призванное принести плод.

Это семя — носитель *истины, красоты, любви*, и последняя степень его зрелости, мы бы сказали, его «плод» есть *насладительно-лицезрение* Бога во Граде небесном. Но насладиться им можно и во Граде земном, хотя здесь оно подвержено всем невзгодам, сопутствующим созреванию.

В Августине живет истинная страсть к *человечеству* как *Церкви*.

Для него, в известном смысле, Христос крестит все человечество. В Церкви сосредоточиваются истина, любовь, блаженство. Но эта Церковь действительно *кафолическая, соборная*, в пространстве и во времени, она обнимает все человечество, нежно и легко прикасается к каждому человеку... Ее жизненно важная часть внутри, она скрыта от глаз: «Многие кажутся Церковью, на деле же они не Церковь; многие иные, мнятся, вне ее, на деле же они в ней...». Во избежание недоразумений, уточним: именно в Церкви, божественном небе, отражающемся в океане нашей земной истории — реальности живой и необратимой, Августин обнаруживает истинное лицо Господа и дивную личность Христа, Самого ставшего человечеством.

Платон получает в нем новую жизнь и совершенствуется. Можно сказать так: если для Платона все, что здесь, на земле, это только интуиция, «ксерокопия», отражающая абсолютную

идею, то для Августина мир напрямую соотносим с *небесным Иерусалимом*.

Итак, Бог Августина уже не соткан из тончайшей материи, этаких золотых атомов, не состоит из дивного, но блуждающего света; он открывает Бога-духовную личность, Бога, Который сообщает свое слово человеку и любит его и хочет ответной любви. «Что Ты для меня? Сжался и дай говорить. Что и сам я для Тебя, что Ты велишь мне любить Тебя и гневаешься, если я этого не делаю, и грозишь мне великими несчастьями? Разве это не великое несчастье не любить Тебя? Скажи же мне по милосердию Твоему, Господи, Боже мой, что Ты для меня?» («Исповедь» I, 5, 5).

Таковы были основополагающие воззрения Августина на Церковь, которыми он делился со своими прихожанами, проповедуя с амвона Базилики Пацис; воззрения, которые впоследствии разовьются в мистические откровения, теологические и исторические открытия, толкования различных членов Символа веры, отчаянную защиту духовного и материального единства организма, скрепленного кровью Христовой. Об этой-то Церкви, что подобна телу, нисходящему от головы, *единой, соборной*, он и плачет, ее раны исцеляет — своей немыслимой любовью, состоящей из терпения и понимания, побуждает ее к бодрствованию своими увещаниями и мольбами. Если угодно, не только непосредственное учительство, но и вся теологическая мысль Августина так или иначе отражает его концепцию Церкви как истории человечества, инициированной Богом и идущей к неизбежному и удивительному небесному апофеозу.

Все, что он совершал,— как организатор, проповедник, участник диспутов, писатель, путник, устроитель соборов, объединяющих кафоликов и отпавших братьев,— он делал для того, чтобы построить такую Церковь.

И Поссидий утверждает, что сами обители Августина стали своего рода семинариями: африканские епархии просили прислать именно оттуда священников, ибо могли не сомневаться в их неколебимой нравственности и правоте. Эти монастыри стали настоящими кузницами епископов, отправлявшихся управлять различными местными Церквями (ср. «Жизнь...» XI). По словам Поссидия, Августин хотел, чтобы кандидат в священники получил как можно более широкое одобрение верующих в

своей епархии, и чтобы рукополагал его один из этих в высшей степени достойных епископов (ср. «Жизнь...» XXI).

Алипий Тагастский, Эводий Узальский, Профутур Циртский и его преемник Фортунат, Север Милевский, Поссидий Каламский, Урбан Сиккский, Пеллегрин (не считая Ираклия, который занял Гиппонскую кафедру после Августина), — все это епископы, вышедшие из его монастырей. Как видим, он мог рассчитывать на сплоченный отряд коллег, целиком разделяющих его образ мыслей и пастырские методы.

Вообразим: мы в Гиппоне, входим в Базилику Пацис, где Августин объясняет прихожанам, что такое «Экклезия». Эта тема не могла не интересовать его слушателей. В Гиппоне существовала достаточно агрессивная донатистская община во главе с собственным епископом. Августин ни на минуту не забывал, что и они члены Церкви, принадлежащей Христу; но уж очень придирчивые, нахальные, неуживчивые. Их фанатизм не давал им умолкнуть и воспламенял фанатизм кафоликов. Все это выливалось в какое-то оготтелое местничество, небезопасное, между прочим, и для общественного порядка. Нередко на площади, на улице, в харчевне кафолика огорошивали заявлением вроде этого: «Что за чушь городил в воскресенье в церкви этот ваш дурацкий епископ?». Народ, конечно, тут же окружал спорящих и, далеко не всегда понимая суть разногласий, принимался страстно болеть за ту или за другую сторону. Словопрение, полемика, не обходящиеся без остроумных, метких реплик, всегда сулили развлекательное зрелище.

В Гиппоне был амфитеатр, в котором проводились игры, и народ охотно посещал его. Часто Августину приходилось с горечью замечать: «Какая толпа сегодня в церкви! Висят по стенам, давятся, еще чуть-чуть и задохнутся от притока все новых прихожан... Но только переменится настроение — и все бегом в амфитеатр...» («На псалом XXX, 2). И все же во время диспутов между двумя несогласными епископами амфитеатр пустовал.

Собор полон... На амвоне, у клироса, стоит епископ, облаченный в мантию. Голос у него совсем не громовой, но каждое слово доходит до собрания, которое внимает оратору в тишине, состоящей из желания непременно расслышать. Но так бывало не всегда: «Помните? Вы уже выслушали вчера этот отрывок из Евангелия. Но вчера в церкви было очень тесно, и из-за давки

не все могли услышать мой голос, ведь он различим только в полной тишине. Думаю, сегодня мы могли бы обсудить то, на чем вчера я вынужден был прерваться, не сумев завершить беседу по слабости голоса...» (Проповедь LXVIII, 1).

Он управлял аудиторией, как умелый дирижер своим оркестром, как музыкант своим инструментом. Единство сердец, пробужденное словом, витало в совершенной тишине духа.

«Послушайте! Церковь это мы. Но не только мы, собравшиеся здесь, христиане и верующие этого города... Мы — Церковь вместе с живущими по всему нашему краю; и с населяющими эту провинцию; и с живущими за морем; вместе с людьми всего мира, от восхода до заката солнца. Ибо таковы духовные пределы кафолической Церкви, истинной матери нашей, истинной Невесты Господней...» (Проповедь *Гвельф*. I, 8).

Он умолкает; ему хочется, чтобы во время этой паузы слушатели попытались охватить в воображении величественную картину, чтобы напитались души, чтобы сердца утолили жажду. Легкий шелест пробегает над толпой, у которой сейчас одно желание: внимать дальше...

И Августин продолжает, без экзальтации, тихо, словно перед ним микрофон: «Разве это не так, дорогие мои братья? Мы — целый мир. Церковь говорит на языках всех народов... Давно ли начали возвещать Истину, и вот уже река, полноводная река Господня, орошает всю землю... Благая весть наполняет землю; гора — Христос — занимает всю землю; Церковь, царство Христово, покрывает всю землю... Весь мир может радостно воскликнуть в Церкви: Я познал, я знаю, что Господь велик!» (ср. Проповедь *Денис* 24; Проповедь LXXXVII, 7; «На псалом LXIV, 14»; Проповедь LXXVII, 5; Проповедь XLV, 7; «Беседы на Евангелие от Иоанна» IV, 4; Проповедь CXI, 2).

Люди в базилике думают, что епископ говорит о росте числа христиан, они не в состоянии тотчас понять, насколько глубока его мысль. Конечно, Августин не отрицает этого исторического явления — быстрого распространения христианства по всему миру после гонений. Но он не читает лекцию по истории религий со статистическими выкладками, и не устраивает состязание между этими религиями. Он говорит о «Церкви» и дает ей чрезвычайно оригинальное определение: Церковь это «целокупный Христос». «Целокупный Христос в полноте Церкви! Голова и Тело,

как у совершенного человека, мы же — члены его. Истина эта не только возвещается верующим; мы предлагаем ее тем, которые не веруют, но мудры,— как истину разумную и убедительную» (Проповедь CCCXLI, 1).

Но попробуем опять представить себе, как он сам произносил эту проповедь: «Целокупный Христос, братья мои, в полноте Церкви, голова и тело!

«Да, голова и тело: Христос.»

«В самом деле, послушайте хорошенько, братья: как же можем мы не быть телом Его, если Христос — такой же Человек, как и мы. Где находим мы эту истину, что Христос есть *голова* и *тело*, то есть тело, соединенное с собственной головой? Где мы находим ее?! У Исайи. *Невеста* говорит с *Женихом*, словно они — один человек; речь ведется от одного лица, а говорят оба. Послушайте, как там это сказано: «Как на Жениха возложил Он на меня венец и как Невесту украсил убранством» (Исаия 61, 10).

«Как Жених и как Невеста: Невеста — телом, Жених — головою. Говорят только одни уста. Может показаться, что разговаривают двое, но они — одно! А иначе как бы могли мы быть «членами Христовыми»? Об этом прямо говорит апостол Павел: «Вы — тело Христово и члены Его» (1 Кор. 12, 27). Все вместе мы — члены и тело Христовы. И не только мы в этом храме, но и все во вселенной. Не только живущие в это время, но... как сказать...? в общем, от Авеля праведного до имеющих родиться при конце мира, всякий праведный, проходящий через эту жизнь; все то, что есть уже ныне, не в этом месте, но в этой жизни, все то, что будет с имеющими родиться, да, все это,— единое тело Христово. И каждый в отдельности — член тела! Если все суть тело, и каждый — член его, Он — голова, коей принадлежит все это тело!» (Проповедь CCCXLI, 9, 11).

Кого-то, возможно, удивит, что человек, воспитанный на «внутреннем содержании» (*aeternum internum**), сумел впоследствии найти в бытовании Церкви, наряду с внутренним элементом, тот внешний элемент (*corporeitas***), который характеризует видимую Церковь в ее земном странствии и который Августин

* «вечное внутреннее» (лат.).

** «телесность» (лат.).

тин противопоставлял учению донатистов, приверженцев утопической Церкви чистых. Как нам кажется, объяснение можно найти в сильном реализме, который даже в его платиновских устремлениях не давал ему оторваться от чувственного мира, но главное заключено в непостижимых с человеческой точки зрения особенностях его таинственного обращения. В тот миг Августин познал реальную Церковь в богооткровенном контексте человеческого воплощения Слова, признающего человечество и медленно его очищающего и преобразующего благодатью Святого Духа, пока оно, в конце времен, не превратится в Его Невесту, святую и непорочную.

Августин говорит медленно, интонационно окрашивает различные части проповеди, старается быть понятным, извлекая из самой души своей истину, в которой он убежден и которой проникнут. Тем не менее, общение шло примерно так: сначала до слушателя доходило слово, а идея, стоящая за ним, разворачивалась в его голове на мгновение позже, — когда уже звучало следующее слово. И все же они понимали!

А епископ поднимает свою маленькую руку и водит ею в такт предложениям. Эта рука, привыкшая послушно и неустанно переписывать слова, идущие из сердца, сейчас украшала их жестом, может быть, и безотчетным: «Церковь эта ныне в пути, а исполнится она, соединившись с тою небесной Церковью, которой граждане — Ангелы. И мы будем им подобны после воскресения тел. И не дерзнули бы уповать на это, если бы Истина не дала о том Своего обетования: «Равны будете Ангелам Божиим» (ср. Лк. 20,36). И будет единая Церковь, Град великого Царя!» (*там же IX*).

Уже закипала магма в недрах вулкана, который спустя недолгий срок исторгнет лаву, чтобы родить шедевр — «О граде Божьем».

Но повторяем, мы вовсе не собираемся делать из Августина поборника исключительно духовной Церкви, безучастной к собственной осязаемой структуре, внешнему устройению, к деятельному участию в видимой истории человечества. Такая Церковь не была бы той, которую учредил Христос, — не была бы видимым таинством спасения; ведь и Он, именующийся Сыном Божьим, сделался видимым. Человек состоит из духа и плоти, которой потребно утешение, и Христос приносит ей это утешение, воплотившись: божественное в человеческом. И Церковь, для

коей Христос-Глава есть душа животворящая, обладает своей «телесностью» и даже своей «смертностью»: «Смертность была воспринята Господом, а значит и Тело Церкви должно иметь ее. Итак, Церковь имеет свою смертность...» (Проповедь VI, 7). Она — Таинство Христово для спасения человечества. Она исполнена благодати, передающейся через ощущение и видимость, и таинственно создается из грешников.

Итак, внутренняя реальность (животворящее начало) и внешняя, историческая реальность. Не всегда внутреннее измерение совпадает с внешним. Внутренняя Церковь охватывает всякого праведного человека. Внешняя представлена людьми, или не исповедующими христианство из-за того, что не по своей вине они не смогли узнать его, или принадлежащими к Церкви лишь формально, но не живущими по ее заповедям. Церковь одинаково призывает к освящающей праведности тех, кто принадлежит к ней «по документам», и тех, кто, по причинам, которые нельзя ставить им в вину, не вписан в ее «ведомости». Впрочем, ее призыв в большей степени обращен к первым, чем ко вторым, ибо в первую очередь именно христианин должен свидетельствовать об истине, должен любить, должен светиться, чтобы освещать весь дом.

Следует обратить пристальное внимание на два коротких слова, похожих на пару драгоценных ключей к богатому богословскому языку Августина: *foris, intus* (вне, внутри). Для него Церковь — внутренняя и внешняя: многие будто бы внутри, на деле же — вовне; многие иные будто бы вовне, на деле же — внутри (ср. Проповедь CCCLIV, 2). И поскольку Церковь, несмотря на официальное признание, несмотря на то, что «император» снимает корону и преклоняет колени перед усыпальницей Рыболова, по природе своей всегда остается гонимой (что предсказал ей ее Основатель), «у нее есть враги внешние и враги внутренние; внешних избежать легче; внутренних терпеть труднее» («На Псалом CXLII»). И не нужно слишком доверяться наружности: «Вот, в эту минуту все христиане; минутой позже нет больше ни одного!» (Проповедь LXIV). Это дела Церкви *этого времени, такой, какой она предстает ныне*, до своего окончательного преобразования в Церковь небесную.

Другой отличительной чертой Церкви *во времени* является закон *permixtio* (смешения добрых и злых). На этот ее аспект

Иисус недвусмысленно указывает в Своих притчах, особенно в тех, где речь идет о поле, на котором растут вместе пшеница и плевелы, и о неводе, захватившем рыб всякого рода, съедобных и несъедобных. Данная тема неизменно присутствовала в полемике Августина с донатистами и вызывала наиболее острые разногласия. Донатисты говорили: Церковь Христова должна быть целиком чиста, и мы чисты; кафолики, *traditores** (предатели) или наследники предателей, вовсе не должны существовать. Августин же учил: заблуждение и гордыня! Церковь *этого времени* отнюдь не непорочна. Свята Глава ее, сообщающая ей святость и святы многие члены Тела. Но не все. И эти, не святые, действительно и непосредственно принадлежат Церкви, как парализованная рука принадлежит телу. Он не отрицает, что донатисты принадлежат к Церкви. Изначальная и целостная святость Церкви-Человечества (ибо Бог с самого начала исторического времени создал человечество *Церковью*), значительно уменьшилась с первым грехом человека, источником стольких нравственных нестроений. Роль Церкви-Таинства Христова состоит в том, чтобы восстановить больные члены, соединяя их с Телом. Но удел Церкви, из-за и после греха, был уделом «блудницы»: «Велико и необычайно снисхождение Жениха! Из бывшей блудницы сотворил Он царицу, деву!» (Проповедь *Гвельф*. I, 8).

Предназначение Церкви, как матери,— вынашивать и рождать детей добрых и детей злых: «Вот лоно Церкви-Матери, которая терпит скорбь и стонет в родовых схватках... Народ добрый и народ злой. И борются они в едином чреве, один с другим бьются в утробе единой матери... Это Христос рождает и мучается...» («Беседы на Евангелие от Иоанна» XI, 10).

Чтобы расти, необходимо не отрывать от «корня»: «Начинающий отделяться от корня, даже если короткое время еще зеленеет,— или уже сам отрезал себя (пусть этого пока не видно), или подлежит удалению: он не может принести плод» (Проповедь *Денис* XIX, 7). «Ты еще сохраняешь форму побега, но уже оторвался от лозы; ты показываешь форму, но я ищу корень, ибо побег не дает плода, если нет корня...» («Беседы на Евангелие от Иоанна» XIII, 16).

* Обычно «традиторами» именовали христиан, во время гонений выдававших языческим преследователям церковные книги (*прим. перев.*).

Но кто может судить? Ничто не отдано на суд; все во власти любви. Человек — «необъятная бездна», тем более по отношению к Благодати. Благодать (Августину это было хорошо известно) есть тайна: «Церкви надлежит помнить, что среди ее недругов скрываются ее будущие граждане. Пока она идет рядом с ними, ей не следует полагать, что бесплодно терпеть их как врагов, ожидая, пока они проявят себя как друзья. И наоборот, в земном странствии Град Божий имеет в лоне своем иных соединившихся с ним, которые не войдут в славу его. Ни в ком нельзя отчаиваться, если верно, что и среди самых явных недругов скрываются, втайне от них самих, души, коим предназначено стать его друзьями» («О граде Божием» I, 35).

Различные произведения Августина красноречиво свидетельствуют о том, что епископ Гиппонский признавал важную роль оощуаемого и соборного элемента в структуре Церкви — в таинствах (прежде всего это крещение — особая для Августина тема, сопутствующая его теологическим и экзегетическим размышлениям в ходе спора с донатистами; но немало внимания он уделил и покаянию, евхаристии, браку, священству); в примате Римского Престола как Апостольской Кафедры (в своем учении он недвусмысленно берет этот примат за истину; стала знаменитым афоризмом фраза «Рим высказался — дело окончено», извлеченная из его антипелагианских выступлений); в литургии, замечательным постановщиком и творцом которой он был, как и Амвросий.

Удивительными и незабываемыми наверняка были его гиппонские *пасхальные бдения*, которые напоминали ему ночную пасхальную службу 387 года в Милане, когда он принял крещение. Каждый год на Пасху он крестил вереницу неофитов, как правило, — молодых. Глядя на них, вспоминал Адеодата. Ободрял их в вере и в борьбе со страстями. И говорил: «О, юноши, ваши трудности мне знакомы, через них прошел и я. Я составил в этих битвах, у меня те же враги, что и у вас. Теперь, когда я стар, они не так сильны, как прежде, но не прекращают тревожить мой покой. Знаю, ваша брань жесточе. Но чего же вы хотите, бойцы добрые и святые? Чего хотите вы, сильные воины Христовы? Чтобы не поднимались на нас похотливые дурные? Это невозможно. Продолжайте сражаться и уповайте на победу!» (Проповедь СХХVII, 9,11). И устремив на них ласко-

вый взгляд, каким земледелец окидывает ниву, он напутствовал их: «О, мои дорогие! О, пшеница Христова! О наполненные колосья Церкви святой, зерна Господни! (Проповедь *Кайо Сент-Ив* II, 5, 2).

На алтаре сияла свеча, рассеивая тьму той ночи. Долгой ночи стародавнего греха, о котором в литургическом гимне поется: «О блаженный грех!».

АФРИКАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

В середине апреля 397 года мы находим Августина в Карфагене. Епископу Аврелию, другу Августина, срочно понадобилась его помощь, чтобы разрешить проблемы, затрагивающие не только карфагенскую епархию, но и всю африканскую Церковь.

Донатистский вопрос обострялся с каждым днем. Нередки стали случаи насилия. Ситуация вырождалась в самый настоящий раскол. Сосуществование в одном городе двух христианских общин, нетерпимость и одержимость обоих епископов, которые оспаривали друг у друга правомочность епископского сана, выпливались в неукротимую непримиримость. Кафолические епископы полагали, что необходимо любой ценой восстановить *религиозный мир*. Они были готовы даже уступить кафедру донатистскому епископу, если только он примет это, как жест доброй воли, или хотя бы сделает какой-то шаг к примирению. Целью же донатистских епископов был не столько религиозный мир, сколько устранение, вплоть до физического, противной стороны, ибо они не сомневались, что на другой стороне — недостойные епископы, в чьих руках таинства становятся недействительными. Узурпаторы, словом.

Спор этот глубоко уходил корнями в прошлое — специфически африканский спор, зародившийся во времена Константина в связи с поведением христиан во время гонений Диоклетиана. Речь шла главным образом не о верных, которые отступили перед лицом мученичества и принесли или сделали вид, что принесли жертву идолам, а об епископах, которые отдали гонителям священные книги, подчинившись первому эдикту Диоклетиана.

Когда внешняя ситуация немного успокоилась, уже на поместном Соборе в Цирте Нумидийской (5 марта 305 года) начались взаимные обвинения и раздоры в среде епископов; не обошлось и без чисток.

Борьба разгорелась с новой силой в 312 году, с избранием архидьякона Цецилиана на карфагенский епископский престол.

Ригористы, при поддержке нумидийского епископата, опротестовали это избрание как недействительное, поскольку одного из рукополагавших епископов, Феликса, полагали виновным в передаче книг властям. В противовес Цецилиану избрали другого епископа, чьим преемником вскоре стал Донат. Он был из религиозных гениев, способных мощным синтезом создать и организовать самостоятельные течения в лоне великих религиозных движений.

Донатисты заявляли, что только они — подлинные христиане (Церковь чистых) и именовали «преступлением без прощения» *traditio* (выдачу священных книг). Причем, как в случае с Цецилианом и Феликсом, даже невиновный, входя в общение с виновным, «заражался» его проступком.

Для Августина (и католических епископов) такая постановка вопроса представляла собой некое извращение. Постепенно был выработан католический тезис: Церковь — мать святых, но и грешников; недостойнство священнослужителя (буде оно имеет место) не лишает таинство силы; за любой грех можно получить прощение.

Но донатисты стояли на своем, уклоняясь от любых попыток достичь согласия. По прошествии десятилетий спор вызвал цепную реакцию (ср. Письма LXXVI, CV).

Такая непримиримость в отношении некоторых грехов имела прецеденты именно в Африканской Церкви: донатисты взывали к авторитету Тертуллиана и даже св. Киприана. Действительно, Тертуллиан и другие полагали, что *lapsi* (христиане, из страха принешие жертву идолам), убийцы, прелюбодеи и совершившие иные тяжкие грехи, не должны допускаться к причастии.

Вмешательство государства, призванное восстановить единство силой и преследующее главным образом политические цели (предотвращение распада империи), только усложнило положение. Августин, как увидим, не соглашался с таким подходом к проблеме, отстаивая принцип: никого нельзя принуждать к вере, угрожая насилием (ср. Письма CLXXXV; CXXXIII).

Добавил масла в огонь и вечный вопрос о государственных субсидиях и налоговых льготах, предоставляемых клиру в качестве привилегии. Константин закрепил их только за католиками, но донатисты, считая себя подлинной Церковью, не могли

с этим согласиться и обратились для разрешения спора о Цецилиане к императору, который решил дело не в их пользу.

Затем соборы в Риме (314) и в Арле (314) осудили донатистов.

В 317 году Константин суровым законом обязал донатистов вернуть церкви католическим епископам. Это было лобовое столкновение в ходе религиозной войны.

Сплоченную секту уничтожить не удалось, хотя против нее были брошены войска. Понеся потери, донатисты наделили погибших мученическими венцами, а 5 мая 321 года праздновали победу: в этот день увидел свет эдикт о веротерпимости. И это означало, что в Африке появились две христианские Церкви, разъединенные и соперничающие.

Именно Августину довелось, уже в начале следующего века, исправлять положение с помощью подлинно экуменического апостолата и проникновенного экклезиологического окормления мирян. Он приглашал донатистских епископов к публичному «диалогу». И вот наконец состоялся тот Карфагенский собор 411 года, который стал торжеством его ревнования об единстве Церкви (Рах Christiana*), его дипломатии на службе любви.

В те годы, когда Августин был епископом, донатисты, пострадавшие от насилия со стороны государства (но не со стороны католиков; да и не все императоры преследовали их — Юлиан им покровительствовал), в ответ создавали вооруженные банды. В них вошли циркумцеллионы, длинноволосые и устрашающе бородатые, бродившие по полям и лесам и там же скрывавшиеся. Они делали неожиданные вылазки из своих нор и с фанатичным воплем «*Laus Deo!*»** совершали всякого рода зверства. Читая рассказы Августина и других авторов, заслуживающих доверия, начинаешь находить сходство между действиями циркумцеллионов и теперешних террористов. Те же издевательства над жертвами: изувечивание половых органов, выдавливание глаз, погружение людей в негашеную известь... Обычный бандитизм под маской религиозной свободы.

Кроме того, донатистам удалось поставить себе на службу социальный элемент, натравливая на своих противников слои

* Христианский мир (лат.).

** Во славу Божью (лат.).

населения, находившиеся в рабском состоянии, с которыми обращались крайне несправедливо. Это были крестьяне и колонны. От римской цивилизации, представленной классом хозяев-богачей, они получили скорее эксплуатацию, чем справедливость и свободу. Сумели донатисты привлечь на свою сторону и воинственно настроенные туземные племена из внутренних областей Африки, куда римляне не проникали, ограничившись северными берегами континента.

Все эти религиозные, социальные, политические обстоятельства создавали в африканских провинциях, еще не затронутых набегами варваров, чрезвычайно запутанную ситуацию, не менее беспокойную, чем в других провинциях империи.

Сколько раз Августин умолял донатистских епископов забыть, во имя восстановления согласия, взаимные обвинения, которые дали столь горькие плоды. «Не попрекай меня временами Макария, и я не стану попрекать тебя жестокостями циркумцеллионов» — пишет он Максимиனு, донатистскому епископу Мутугенны (Письмо XXIII).

Макарий был одним из двух *notarii* (секретарей), которых в 347 году император Констанций послал в Африку, в связи с прошением Доната, для разрешения вопроса о законном епископе Карфагена. Донатисты обвиняли его в чрезмерно резких действиях по отношению к ним.

Словом, вины были и на той, и на другой стороне, а, как предупреждал еще апостол Павел, когда в споры между верующими вмешивается светская власть, умирает любовь, забываящая обиды.

Августину вряд ли понравилось бы быть перелетной птицей, которая, в зависимости от времени года меняет место жительства, перелетая через океан с континента на континент. И не потому, что птица не обладает разумом. К нему-то он всегда имел бы склонность и сумел бы получить его от Творца даже если бы родился птицей. Ум и сердце были его крыльями, благодаря которым все еще вертится земля. Нет, птицей он не хотел бы быть из-за физических нагрузок, потому что его удручала необходимость перемещать свое невеликое тело через горы и моря, в далекие края. Лишь раз он пересек море туда и обратно. Конечно, ему хотелось бы обнять Иеронима в Палестине, или навестить Павлина в Ноле, или отправиться в Рим к папе, в Ра-

венну к императору — чтобы лично решать серьезные проблемы Африканской Церкви. Но он посылал вместо себя Алипия или кого-нибудь столь же надежного, давал посланцам свои письма, и когда их читали, его присутствие ощущалось почти физически. Чтобы не предпринимать далеких поездок, он всегда ссылался на некрепкое здоровье, и для такого беспредельно преданного друзьям человека, как Августин, это было алиби. Он писал друзьям, которые не оставляли его просьбами о встрече: «Я у тебя всей душой. Телесное присутствие, когда столь живо присутствует духовное, в сущности, ни к чему...».

Итак, он совсем не мечтал перевоплотиться в перелетную птицу. Но, при непременном условии сохранения разума, он охотно согласился бы родиться птицей оседлой: эти обитают в одной местности, пусть обширной, и могут облететь ее всю и сесть там, куда их приведет сердце. Да, крылья ему бы очень не помешали!

В Гиппонской епархии, с точки зрения пастырского попечения об ее нуждах, не было никаких недостатков; управление делами епископской курии отлично справлялось со своими обязанностями. В духовном руководстве (а также юридическом — в те времена епископам принадлежала и судебная власть), Августин проявил себя истинным гением. Правда, нередко тем, кто желал увидеться с епископом, приходилось довольствоваться короткой беседой с монсиньором делопроизводителем. Продолжая писать и не поднимая головы, он отвечал: «Его нет, отбыл из епархии...».

«И куда же?» — интересовался проситель.

«В Мавританию, с пастырским визитом...», а Кесария Мавританская отстояла от Гиппона на многие десятки километров (впрочем, не менее часто он посещал Цирту, Каламу, Карфаген, другие города на севере Африки).

«А когда возвращается?»

«Не раньше следующего месяца...»

Никто не воспринимал его как праздношатающегося любителя путешествий. Все знали, сколь усердно он исполняет свои обязанности, знали, какие серьезные проблемы будоражат всю римскую Африку, понимали, что, коль скоро епископ удаляется из Гиппона, от этого будет польза и для самих гиппонцев. Но кое-кто все же выражал недовольство его частыми поездками. А

иногда (если, к примеру, в городе вспыхивала эпидемия), число недовольных многократно увеличивалось. «На сей раз, если отлучусь, беда мне...» — писал он.

Если бы в те времена изобрели кино или телевидение, и какому-нибудь продюсеру пришло в голову заснять этого необыкновенного человека в поездках, сулящих неприятные приключения, бедный оператор измучался бы, бегая за ним с кино- или телекамерой на плече.

Вот он на консульской дороге в Нумидии или на тропе, укорачивающей путь и проходящей через густо-зеленые оливковые рощи и красноватые от спелых ягод виноградники. Он покачивался на спине любимого ослика; всегда с ним рядом ехали один-два монаха, часто — проводник, или, лучше сказать, телохранитель, необходимый в чреватой «терактами» обстановке.

Время от времени, продолжая трусить, они предавались молитве или молитвенным размышлениям, и тогда монах-попутчик мог вызвать его на интересную и полезную беседу.

Так, однажды один из этих монахов завел такой разговор: «Блаженный отец, почему бы нам не купить лошадь? Осел — не очень удобное средство передвижения, тем более для столь частых и долгих поездок...».

А Августин ему в ответ: «Ты читал сейчас Псалтирь? Что сказал тебе псалмопевец? *«Mendax equus ad salutem!»* («ненадежен конь для спасения»). Так что нам-то, беднякам, уж точно следует больше положиться на осла, чем на лошадь. Мало ли вокруг разбойников! Конь это большая ценность. Ты что, хочешь накликать на свою голову циркумцеллионов, которые бросят нас на краю дороги, как шедшего в Иерихон, и заберут лошадь? Знаешь, сколько стоит лошадь? А к тому же, это знак мирского величия, славы, не важно какой... На коня садятся, исполнившись гордыни» (ср. «На Псалом XXII б, 2, 24»). Монах возразил: «Ну а так ли уж много, действительно, стоит лошадь? Провидение не оставит нас, а апостол говорит, что не следует заграждать рта у вола молотящего. Только вот ты от помощи Провидения отказываешься! Да, конечно, бедность. Но мы ведь работники в винограднике. Служащий алтарю, от алтаря да питается, это тоже слова из Евангелия. Судовладелец Бонифаций, умирая, хотел оставить нашему храму свою флотилию грузовых кораблей...». Августин, слегка рассердившись, представил себе

утлую лодку Петра: «Значит, флотилию? В общем, множество кораблей? И во что бы ты хотел превратить Церковь Божию — в судоходную компанию, в судовладельца?» (Проповедь CCCLV). Монах погрузился в молчание, а Августин вновь предостерег его: «Подумай над словами псалма, брат мой: «Не будьте, как конь, как лошак несмысленный!» (ср. «На Псалом XXXI, 22»).

«А чем осел лучше, он разве разумен?»

«Осел, по крайней мере, не поднимает голову, он — животное смиренное. Конь же задирает ее, это просто образ гордости!» (*там же*).

«Нельзя не признать твою правоту, святой отец!»

«Но почему вообще ты с каким-то презрением относишься к ослам? Кто был в пещере, где родился Господь, осел или конь? Бедный ослик, образ христианина смиренного и трудолюбивого!» (ср. «На Псалом CXXVI, 2»).

Они возвращались в Гиппон. Ослики под ними пошли повеселее, будто обрадовались, будто следили за разговором и теперь благодарили того, кто защищал их. Копыта теперь громко стучали о камень базальтовой дороги.

Августин продолжал: «Ты хочешь быть конем или мулом. А о всаднике ты подумал? Всадник наш — Христос! И да будет узда Его на твоих устах и челюстях! Да, да! Пусть будут сомкнуты уста твои, которыми ты похваляешься своими заслугами и умалчиваешь о грехах!» (ср. «На Псалом XXXI, 22»).

До Гиппона оставались уже считанные мили. Они ехали по дороге, которая из Цирты ведет в портовый город, среди пиниевых рощ и виноградников, в ту пору наводнявших эти тучные земли, и все ближе подъезжали к тому, что не совсем точно можно назвать «предместьем» Гиппона. Это «предместье» состояло из возделанных полей, которые концентрическими кругами спускались к городу, из обильных сельскохозяйственных угодий на холмах и в долинах, принадлежащих богатым помещикам и населенных земледельцами, из маленьких селений, относящихся к Гиппонской епархии и, судя по всему, хорошо знакомых Августину. Он говорит о них в своих письмах, потому что там, чуть ли не ежедневно, происходили ставшие уже привычными стычки.

«В Асне, где пресвитером Аргенций, циркумцеллионы ворвались в нашу базилику и разнесли в щепки алтарь...» (Письмо XXIX, 12).

В другом письме он рассказывает о событиях в другом городке, Спаниане. Диякону здешней церкви, Приму, любителю навещать монахинь, воспретили бывать в их обители; он не подчинился, и когда его вывели из клира, отомстил, перейдя к донатистам и крестившись у них заново; две монахини, чей монастырь был в кафелическом подчинении, последовали за ним, непонятно, — из страха или по любви. Здесь же некий отрок избил мать и был в этом изобличен. Но приходской священник по имени Прокулиан и не наказал его, и не дал хода делу. «Может быть, Прокулиан не знает...» — написал ему кто-то, на что Августин отреагировал так: «Отвечу тебе кратко: теперь он знает, и самое время мне его удалить от прихода!» (Письмо XXXV).

Поместный собор Африканской Церкви понизил в сане одного из епископов. Верующие Вилигезилита не хотели принимать его в качестве епископа, и Августин писал Квинциану: «Они совершенно правы, оставьте их в покое!» (Письмо LXIV, 4).

Викториана, Касфалиана, Урджи, Фуссала, Субсана: не было буквально ни одной деревушки в округе, которая хоть чем-нибудь не озаботила его. Он знал окрестности Гиппона, как свои пять пальцев, лично знал священников, семьи, одиноких людей...

...Августин и его спутники, съехав с главной дороги на проселочную, решили сделать привал в тени больших деревьев, напоить животных из родника и самим слегка перекусить. День был очень жаркий, и стрекотанье нескольких уединившихся цикад не нарушало бездонной сельской тишины. Как вдруг (по рассказу Поссидия) с далекого пригорка до них донесся резкий, обжигающий вопль: «Вот он, вот он там, соблазнитель! Манихе-е-ей! Волчина! Давить надо таких волков! Кто тебя прикончит, спасет все стадо, ему Бог за это все грехи разом отпустит! Соблазнитель! Манихей! Волчина-а-а!» (ср. «Жизнь...» IX, 4).

Августину были хорошо знакомы эти оскорбления, и он точно знал, кому они предназначались. Он кротко распорядился трогаться в путь, не отвечать и не провоцировать наглецов. Направляясь к дому, они тряслись на спинах своих чудных скакунов и читали вслух *Отче наш*. Дышали они неровно, и ритм молитвы получался немного рваным. Из окон домов, слышав угрожающие вопли, высовывались люди. Они приветствовали

Августина, заверяя его в своей поддержке, а он благословлял их правой рукой, словно Христос при Входе в Иерусалим.

Въехав во двор епископии, они увидели столпившихся там монахов. «Мы беспокоились о вас. Утром нас предупредили, что циркумцеллионы готовят вам засаду...»

Проводник молча слушал, и потом сказал: «Да, действительно, в какую-то минуту, уж не знаю почему, мне вдруг пришло в голову поехать не по обычной дороге» (ср. «Жизнь...» XII, 2).

Августин не разволновался. Он похлопал по плечу монаха, с которым беседовал об осле и коне, и сказал ему, ничуть не утратив в этой ситуации чувство юмора: «Видишь, что за дивное животное осталось бы от тебя им в добычу? Прав Давид: конь не спасает!».

СИЛА МИРА

Августин перешагнул порог пятидесятилетия и вступил в период полной духовной зрелости и наибольшей творческой отдачи. Его могучее учение, распространившееся в Африке и за ее пределами, снискало ему признание и любовь. Не переставая, звучала его проповедь, нередко он участвовал в диспутах, много писал, откликаясь на многочисленные просьбы епископов и мыслителей, в том числе и заморских. Появлялись труды по различным вопросам веры и библейской экзегезы, писания эпистолярного жанра, выполняемые им по личному желанию кого-нибудь из друзей, и затем приобретающие широкую известность. Он был словно родник, к которому каждый хочет припасть.

В эту пору — в первые годы V века — он часто появляется в Карфагене. Епископ Аврелий, полный единомышленник Августина, постоянно приглашал его проповедовать в своем соборе.

Тем временем над империей сгустились черные тучи. В 405 году, как мы уже говорили, Радагазий с четырехсоттысячной ратью, собранной из многообразных варварских племен, вторгся в Италию, разорил северные равнины и дошел до Тосканы. Стилихон собрал войско в Павии, а Гонорий призвал под свои знамена добровольцев, заключив союз, в частности, с гуннами и готами.

Радагазий разделил своих воинов, которые были зверски голодны из-за недостатка пищевых припасов, на три армии. С одной из этих трех армий он осадил Флоренцию. Стилихон напал на него врасплох и вынудил отступить на фьезоланские холмы. Радагазий, пытаясь бежать, прорвал неприятельские позиции, но все же не избежал плена и был обезглавлен 23 августа 406 года.

Худшее ждало впереди. Аларих уже лелеял честолюбивые замыслы и тщательно разрабатывал свой стратегический план.

Африканские провинции, которым нашествие варваров пока не грозило, дышали ровнее, несмотря на брожение в обществе,

терроризм и отчаянные религиозные споры. В то время как наместники, присланные метрополией, часто сменяли друг друга, Августин выступал в качестве апостола христианского мира в мире религиозном и политическом; он воодушевлял, давал советы, увещевал со властью, старался поддерживать добрые отношения с правителями, чтобы можно было сообща держать под контролем сложную ситуацию. В общем, все на нем и держалось.

Власти и в самом деле благоволили кафоликам, и карательные законы, направленные против христиан-еретиков (особенно донатистов и манихеев) и язычников, были суровыми, — настолько, что порой начальствующих приходилось сдерживать, чтобы не добавлять к насилию насилие. Августин хорошо знал, что политическая власть стремится не к восстановлению христианского мира на единственно возможной основе — свободном приятии истины по убеждению, а совсем к другому — общественному порядку и государственной безопасности. Многократно довелось ему испрашивать прощение для преступников (представляющих противную сторону) и ходатайствовать об отмене карательных мер, таких, как тюремное заключение и штрафы, которые применялись против еретиков согласно эдикту Гонория от 404 года. За эти действия в защиту еретиков Августина критиковали, упрекая в безответственной и бесполезной слабости.

Епископу вменялось в обязанность также вершить правосудие, разбирая мелкие дела. Он был чем-то вроде «мирового судьи». При епископии работал суд, с секретарем, делопроизводителем, архивом дебатов и приговоров.

Однажды нарушителями закона оказались некие юноши, которые при зачитании приговора (скорее всего — пара-тройка ударов розгой по ладоням), вступили в спор с епископом-судьей: они заявили, что не должны быть подвергнуты наказанию, поскольку, по Евангелию, прощать нужно до «седмиды семидесяти раз».

Эта судебная деятельность, конечно, сильно осложняла жизнь Августину, у которого и без того забот было более чем достаточно. В основном ему приходилось иметь дело с разногласиями и раздорами из-за тех или иных материальных благ, и судебный приговор редко когда мог положить конец сваре. Тем не менее, как свидетельствует Поссидий, Августин «изучал дела

весьма усердно и вдумчиво, иногда по его воле прения с тяжущимися растягивались на целый день, без обеда. Епископ предпочитал разбирать тяжбы между незнакомыми ему лицами; в таких случаях, принимая беспристрастное решение, он мог приобрести друга; когда же перед ним, по разные стороны, стояли его друзья, он мог потерять одного из них, высказавшись в пользу другого» («Жизнь» XIX). Августин был из тех, кто, даже по отношению к власти придерживающим, руководствуется принципом: «Платон мне друг, но истина дороже».

Случалось, правда, и ему терять терпение: «Требуют, умоляют, шумят, вынуждают меня терять время, которое я мог бы занять делами Божьими... И после всего этого возмущаются разговором! («На псалом CXVIII»; Проповедь XXIV, 3).

Он должен был жить очень насыщенной и устойчивой внутренней жизнью и иметь дух мирный, чтобы не смущаться повседневными заботами, постоянными, нередко кровавыми столкновениями, затрагивающими его друзей, Церковь, общество. Будущее представляло неясным и тревожным. Он сражался за мир, о котором говорил как о «спокойствии порядка». Разумеется, в иерархии ценностей у него на первом месте стоял Бог, и в молитве он усваивал себе Его отношение к людям и событиям.

Не только донатисты устраивали засады и затевали стычки. Язычники, оставшиеся в меньшинстве (и как всякое меньшинство, оскорбленные и раздраженные), донатистам ничуть не уступали. В июне 408 г. Августину пришлось, бросив все, мчаться в Каламу, чтобы поддержать делом и словом епископа Посидия, против которого восстали язычники. Августин сам рассказывает об этих событиях.

В 391 году, по приказу императора, было разрушено великое языческое святилище, храм Сераписа Александрийского. 1 июня 408 года язычники отмечали в Каламе праздник Сераписа, и никто им не мешал. Ватага дерзких плясунов отправилась к церкви и принялась танцевать прямо перед входом. Такого не бывало даже во времена Юлиана Отступника. Когда клирики попытались воспрепятствовать буйству, в них и в церковь полетел град камней. Через неделю, после того, как епископ Каламский напомнил городским судебным властям о существующих законах, и те твердо вознамерились добиться их соблюдения, последовала вторая вылазка язычников, снова, как вызов, засвистели

камни. На следующий день камнепадом разразились небеса: градины размером с булыжник иссекли Каламу. Но стоило кончиться граду (наивные священники, быть может, решили, что их противники наконец утомятся, испугавшись, что Юпитер перешел на сторону кафоликов), как юнцы-язычники нанесли очередной удар, не пожалев камней. На сей раз они к тому же подожгли церковь. В начавшейся суматохе и сутолоке кого-то задавили насмерть. Священники, во главе с епископом, были вынуждены прятаться от возбужденной толпы. Поссидий забрался в какую-то конуру, откуда в ужасе внимал воплям одержимых, которые проходили мимо, ругаясь на все лады из-за того, что никак не могут его обнаружить и из-за того, что не расправились с ним прежде. Бунт продолжался с четырех дня до поздней ночи (ср. Письмо ХСІ, 8).

Излагая свой взгляд на данные происшествия в письме язычнику Нектарию, Августин ссылается на труд Цицерона «О государстве». Нектарий, должно быть, читал это произведение, почерпнув из него вежливый нрав, который отличает гражданина, терпимо относящегося к чужому образу мыслей. «Так не этим ли правилам учат в наших церквях», — заключает Августин, — всесветных истинных школах гражданских добродетелей для народов?» (*там же*).

Однажды его возмущение вылилось в речь, по ораторскому напору не уступающую «Катилине». В Суффетте кафолики разбили статую Геркулеса, а язычники в ответ предали жестокой смерти шестьдесят ни в чем не повинных христиан. Августин обращается к руководителям языческой общины, обвиняя их в том, что они «похоронили Римский закон». Это настоящая обвинительная речь: «Вы все твердите о своем Геркулесе? Мы вернем его вам. Металл есть, камня хватает, мрамора более чем достаточно, художники многочисленны. Вот: вашего бога можно изваять, выточить, украсить. Мы ему и щеки выкрасим в цвет плоти, чтобы были звонче ваши священные поцелуи. Но вы верните нам души, которые смело ваше насилие. Как мы возвращаем вам статую Геркулеса, вы верните нам жизни наших!» (Письмо L, 1).

Вместе с тем он никогда не призывал единомышленников к карательным мерам; никогда не говорил с противниками, не объясняя им, как сосуществовать мирно, на основе принципов взаимной терпимости.

Он никогда не приветствовал государственного вмешательства в религиозные споры, всегда сражался за сокращение срока наказания или за смягчение приговоров за преступления, направленные против общественного порядка. Перед лицом все более широкого распространения преступности, под давлением порицаний, исходящих от братьев, и обвинений чуть ли не в пособничестве злодеям, исходящих от правителей, он все же мирился с вмешательством сил правопорядка — для того, чтобы порядок был восстановлен и чтобы преступникам неповадно было творить беззакония. Мирился он с этим по двум причинам: во-первых, многие (епископы и целые общины схизматиков) не отделялись от донатистов исключительно из боязни репрессий со стороны разбойников-циркумцеллионов («Не давай страху победить себя...», писал Августин донатистскому епископу Максимино, которого весьма уважал); во-вторых, как он надеялся, суровые, справедливые меры могли убедить многих, что «путь насилия — ошибочный путь».

«Немного утрашения... в союзе с благотворным назиданием! — говорил он тогда. — Если бы мы только утрашали их, не наставляя, это имело бы вид безжалостного деспотизма. Сколь многие из числа самих циркумцеллионов, раскаявшись, стали нашими братьями, убежденными кафоликами! Теперь они осуждают вооруженную борьбу и злосчастное заблуждение, заставлявшее их полагать, что они могут творить во благо общества все те бесчинства, которые были ими допущены в их неугомонном безрассудстве» (Письмо ХСIII). Это письмо представляет собой необычайно актуальный документ, который бы следовало прочитать сегодняшним политикам и судьям. Проблема «терроризма и раскаяния» (но искреннего!) не нова.

Августин никогда не верил в утопию раеподобного человеческого общества. Как мы видели, для него даже Церковь, «мать святым и грешникам», не может быть царством абсолютного мира. Он реалист: людей нельзя улучшить и обратить, нельзя изменить их природу. Восстановление рая не здесь; оно на другом берегу, последнем.

Он никогда не мнил, что, стоит устранить манихеев, пелагиан, донатистов, циркумцеллионов, и все заживут, как большая мирная семья. Вспомним вновь его высказывание: «Враги (Церкви) — *внешние и внутренние*; внешних избежать легче;

внутренних терпеть труднее»... Впрочем, он бился с недругами оружием сердца: любовью и пониманием трудностей. Послушаем: «Пусть лютуют на вас не ведающие, сколькими и какими трудами обретается истина... Я же, которого так долго бросало от одного заблуждения к другому,— я никак не могу лютовать на вас» («Против послания манихея, которое называют основным» II, 3). И разве мало огорчали его братья-кафолики? Во многих из них не было духа христианского прощения, но с лихвой хватало инстинкта мести, безрассудного подстрекательства... Если донатистский епископ возвращался в кафолическую общину и принималось решение сохранить за ним сан и кафедру, фанатики из числа кафоликов вполне могли подвергнуть его остракизму. Подобные факты имели место. В таких случаях Августин в церкви обличал провинившихся необычайно сурово: «Говорю милосердию вашему: это происшествие стало настоящей пыткой для души моей. Повторяю: пыткой! Заявляю вам со всей откровенностью: такое усердие мне отвратительно!» (Проповедь CCCXVI, 11,12).

Часто поднималась смута, лилась кровь. Августин умолял: «Не связывайтесь в кровопролитие, мешайте убийствам, как можете. Знаю, одному не остановить разъяренную толпу. Но, каждый в своем доме,— отговори сына, слугу, друга, соседа, клиента. Творите дело убеждения. В этом городе есть семьи, в которых нет ни одного язычника, есть и такие, где нет христиан. Иные преступления не произошли бы, если бы христиане воспротивились им. Живите в добре, живите в мире, пребывайте в покое сердечном. Не прибивайтесь к злодеям...» (Проповедь CCCII, 18). Порой его упрекали за то, что он вовремя не усовестил кого-то из власть придержащих. Он мог ответить: «Нет, я это сделал! меня просто не послушали...» (*там же*).

Даже его монахи досаждали ему своей ребяческой несдержанностью. Например, ревнители строгой литургической формы и приверженцы благозвучных мелодий пререкались из-за того, когда и как следует петь хором. Со своей тяжбой они шли к Августину. «А есть ли у вас разум,— отвечал он,— или вы дрозды или говорящие попугаи? А сердце, которое должно говорить вам, когда и как петь хвалу Богу, сердце, которое должно вдохновлять вас, есть оно или нет его у вас в груди?» («На Псалом XIII б», 1).

И бесконечное злословие по поводу братьев. Августин сочинил двестише и распорядился повесить его в трапезной, где, между плотком-другим, сплетничать было особенно выгодно: *«Всякий, кто любит речами своими осуждать того, кого нет здесь / Знай, что сей стол накрыт не для него!»*.

Как-то раз, рассказывает Поссидий, во время обеда, когда гости монастыря развлекались злословием о почтенных монахах, Августин в возмущении поднялся со своего места и указал на собственное стихотворное уведомление: «Вы умеете читать? Или вы немедленно прекратите, или я уйду в свою комнату! Либо зачеркните надпись...» («Жизнь...» XXII, 7).

«Не могу больше терпеть весь этот сброд» — говорил ему некто — «уйду в монастырь и там обрету спокойную гавань!». Августин отвечал: «Прекрасное решение! Но ты уверен, что там — мир и радость, которых ты ищешь? Там — свои скорби. Да, монастырь может быть гаванью. Но ведь всякая гавань имеет выход в открытое море. А иначе — как заходили бы в нее корабли? И через этот выход прорываются штормовые ветры. Так что и там, где нет подводных скал, корабли, не хорошо расположенные и не хорошо укрепленные на якоре, бьются друг о друга с такой силой, что порой разлетаются в щепки. Где же тогда покой, если нет его и в гавани? Где же он? Здесь внизу — нигде. Только там — наверху!» («На Псалом LXXXIX, 11—12»).

У такого удивительного человека, как Августин, конечно, были смиренные последователи, которые им восхищались и понимали, что перед ними — человек глубокой духовности. Но были среди его прихожан и люди богатые, стремившиеся заручиться дружбой знаменитого епископа; зажиточные матроны надеялись добиться его особого расположения, подарив ему красивую шелковую тунику... Об этом он говорит в одной из проповедей: «Шелковое одеяние Августину? Но Августин беден, и рожден от бедных. Шелковая туника? А что мне с ней делать? Нет, она не для меня, я верну ее обратно или, если будут настаивать, чтобы не быть невежливым, продам ее, а вырученное отдам моим беднякам...» (Проповедь CCLXV, 13). Но Августин — не лицемерный педант, тонкость и человеколюбие присущи ему в высшей степени: когда однажды юная дева, оплакивая преждевременную кончину брата-священника, послала ему прекрасную тунику, сшитую собственными руками для покойного

родственника, он написал ей: «Я получил то, над чем ты трудилась чистыми своими руками и что пожелала преподнести мне: буду носить сшитую тобою для брата тунику; уже сейчас, когда пишу, она на мне...» (Письмо CCLXIII, 1). Какая мягкость и деликатность!

ГОРЕЧЬ НАСИЛИЯ

К концу первого десятилетия V века у Августина накопилась значительная физическая усталость, помешавшая ему принять участие в трех карфагенских поместных соборах. В эти годы он старался как можно реже отлучаться из Гиппона, постоянно быть в своей общине, с народом и клиром. Пишет он не так много, как прежде.

Впрочем, нам известно, что Августин ненадолго ездил в Милеву и по дороге останавливался в Цирте, чтобы побеседовать с верными, бывшими донатистами, а теперь — обращенными чадами католической Церкви. Он был очень рад этой встрече. Ныне, когда пришел конец раздорам, о которых мы читали в письме епископу Максиминому (Письмо XXIII), и восстановилось единство веры, многие утверждали, что обращение произошло благодаря Августину, но он эту заслугу отдавал одному Богу. В этой связи он напомнил слушателям забавную историю о философе Ксенократе (быть может, она и составила предмет их разговора), который, своей речью о преимуществах воздержания, в один миг отвратил от пристрастия к алкоголю некоего человека, на протяжении всего выступления смущавшего аудиторию пьяной икотой. У Ксенократа достало мудрости приписать внезапное превращение не собственному красноречию, а вмешательству богов. «Если блага телесные, — заключил Августин, — по признанию этого язычника, могут исходить лишь от Бога, сколь же более — блага душевные!» (Письмо CXLIII, 2).

В те дни гиппонские прихожане, к своей радости, все чаще видели его на улицах города: то он направлялся к какому-нибудь больному, чтобы совершить над ним таинство и возложить на него руки; то посещал бедных, сирот. По словам Поссидия, Августин входил в дом только к больным и бедным. Приглашения на обед не принимал.

Для любого небольшого города епископ — лицо значительное. Августин для Гиппона был лицом чрезвычайно значитель-

ным. Завидев его на улице, люди здоровались, матери целовали край плаща и протягивали ему для благословения своих детей. На епископском перстне Августина, которым он запечатывал письма, было изображено в профиль человеческое лицо (Письмо LIX, 2). Он никогда не носил этот перстень. Если ему приходилось проходить рядом с портом, он останавливался поговорить с многочисленными рыбаками и устремлял пристальный взгляд на пришвартованные лодки: «Любите друг друга, как ваши лодки. Видите, они качаются на волне и легонько сталкиваются — словно норовят поцеловаться...».

В епископском доме он общался с монахами и клириками с живой сердечностью. Августин никогда не покидал бы Гиппон еще по одной причине: здесь было удобно читать чужие произведения и сочинять свои, поскольку в его распоряжении находились две библиотеки, кафедральная и монастырская (Письмо CCXI, 7 и 13), собрание которых постоянно пополнялось новинками.

Особая атмосфера устанавливалась в обширной трапезной, когда монахи собирались за столом. По словам Поссидия, Августин предъявлял некоторые требования к оформлению трапезы; например, сосуды, в которых пищу приносили из кухни, были из глины, дерева или камня, а столовая посуда — серебряная. Трапеза сопровождалась чтением и беседой. Никогда не было недостатка в добром стакане вина, — из послушания апостолу Павлу, который наказывал Тимофею: «Пей не одну воду, но употребляй немного вина» (1 Тим. 5,23). Нарушивший во время разговора — по забывчивости — правило никогда не клясться, оставался без обеда (или без ужина) (ср. «Жизнь...» XXIV, XXV). За столом Августин предпочитал еще беседу, братское и семейное общение.

Все проблемы Африканской Церкви и общества в целом затрагивались в этих беседах, в которых, конечно, все прислушивались к мнению Августина.

Вот пример одного из таких разговоров. Кто-то из монахов недоумевал, как могло так получиться, что только предыдущим вечером Августин произнес несколько критических слов в адрес донатистов, и уже наутро донатистский епископ об этом знал и выступал с опровержением. Все задавались вопросом, каким образом главе донатистов удалось так быстро получить эти сведе-

ния. И тогда монах-ризничий внес ясность: «Да у них полно соглядатаев. Вот и вчера вечером я заметил, что два типа на задних скамьях ведут какие-то записи...».

В другой раз они обсуждали очень важную для Августина тему материальной независимости клира. По свидетельству Поссидия, Августин считал, что клир не должен ни получать материальную поддержку от государства, ни владеть недвижимостью; ему надлежало содержать себя на милосердные приношения верных (ср. «Жизнь...», XXIII). Среди монахов одни поддерживали его, другие с ним решительно не соглашались, и спор разгорелся не на шутку. Тогда Августин предложил им поразмыслить, сколь хлопотно управлять имуществом; с какими неприятностями можно столкнуться, принимая от кого-то наследство: нередко завещатель через некоторое время требовал его обратно — под давлением сына, угрожающего, в ином случае, объявить родителя недееспособным (ср. *там же*, XXIV).

«Так просто и прекрасно,— говорил Августин,— уповать на милость народа нашего, научать его быть орудием провидения! Вы и сами не так давно в этом убедились. Помните, я известил народ, что в церковном ящике совсем не осталось денег для попечения о бедных,— и народ откликнулся...»

«А если бы не откликнулся?» — ехидно поинтересовался кто-то.

«Тогда следовало бы уведомить прихожан, что придется разбить или отдать в переплавку священные сосуды. И могу вас заверить, что Амвросий, в своих словах и писаниях, призывал поступать именно так в случае крайней необходимости. Я собственными ушами слышал, как он в церкви предупреждал верных, что ему придется прибегнуть к этой мере, потому что они оставляют без внимания ящик для бедных и ящик ризницы, от которого питается алтарь...» (ср. *там же* XXIV).

О себе Августин говорил: «Я нищий из нищих. Но что мне до того? Лишь бы вы были в числе чад» (Проповедь LXVI, 5).

Иной раз разговор получался ученым, иной раз — шутливым, как в тот раз, когда один монах промолвил: «Как прекрасен рай, но сколь отвратительна смерть!». В ответ Августин рассказал историю из собственной жизни. Однажды он навещал умирающего. Это был святой епископ, совсем необразованный, но истинный человек Божий. Выпростав дрожащую руку из-под оде-

яла, не говоря ни слова, он показал жестом: «Пора мне перебираться...». Августин стал его утешать, убеждать, что он не должен так говорить, что ему надо еще пожить для блага Церкви. Тот же отвечал, еле слышным голосом: «Если бы было возможно не умирать никогда, я бы, пожалуй, согласился... Но если когда-то все равно придется умирать, то почему не сейчас?» («Жизнь...», XXVIII, 9).

И еще Августин пересказал историю, которую поведал мученик Киприан в послании «О смерти». Некий епископ желал умереть, чтобы не страдать от горестей земной жизни, но на смертном одре стал умолять Бога все же оставить его в живых. Тогда явился ему прекрасный юноша, и он возрадовался... Видел он юношу неясно, агония помутила его мысленный взор, а ему хотелось бы лицезреть дивного гостя отчетливо, в полноте света. И тут он услышал голос: «Страдать ты боишься; уходить из мира не хочешь: можно узнать, что Мне делать?» (*там же* XXVII, 11).

Беседа приобретала более серьезный и тревожный характер, когда речь заходила о религиозной ситуации. Все чаще поступали сведения о карательных вылазках циркумцеллионов, жертвами которых оказывались кафолические епископы или кто-то из мирян.

Поссидия, когда он объезжал свою епархию, подстерегли циркумцеллионы. Они напали на него и на всех сопровождающих, отобрали ослов и мулов, поклажу, осыпали их оскорблениями и крепкими тумакami. Судебный ходатай Каламской кафолической Церкви не пожелал оставить без огласки преступное деяние и заявил о нем в магистратуру. Криспина, донатистского епископа Каламы, согласно закону, обязали выплатить штраф. Но тот опротестовал решение суда и заявил перед проконсулом, что не является епископом-еретиком. Поссидию пришлось выступить с ответным опровержением. Если бы в результате недоразумения еретиком был признан кафолический епископ, это, конечно, стало бы соблазном для верных. Августин настоял на том, чтобы вопрос решался на очной ставке. Состоялись три диспута между епископами, отчет о которых направили проконсулу. Вся Африка ждала исхода дела. Криспин, по публичному приговору, был объявлен еретиком. Удовлетворившись таким решением, Поссидий сам обратился к судье с про-

сьбой не налагать на противную сторону штраф. Криспин же подал апелляцию императору, который не только оставил без изменения первый приговор, но и обязал Криспина, судью и весь суд заплатить каждого по десять фунтов золота за то, что они преступили закон, освободив еретика от штрафа. Понадобилось личное вмешательство Августина, чтобы императорский двор все же отменил свое постановление о денежном взыскании (*там же* XII, 2, 3; ср. также Письмо CV, 4; «Против Крескония» III, 50—52).

До Африки дошли сведения об убийстве великого Стилихона, который, в общем-то, своей мудростью варвара отдалил крах. Донатисты ликовали, потому что считали его главным вдохновителем императорских указов, направленных против раскола. Они надеялись, что теперь политика изменится, и от этого выказывали все большую дерзость. От них пошел по Африке слух, что скоро появится предписание о послаблениях схизматикам. Да и магистраты стали как-то поуступчивее, хотя одного из них, некоего Иоанна, в 409 году убили во время народных волнений, которые начались в результате ожесточенной борьбы между кафоликами и донатистами.

Августин испытывал страшное огорчение. У него появился комплекс вины. Он всегда был единственным последовательным противником неукоснительного исполнения законов против донатистов. Теперь епископ искал среди своих монахов человека, который бы помог ему избавиться от мысли, что именно он, со своим стремлением непременно разрешать все споры путем диалога, поставил под угрозу жизнь собратьев.

В одном из трактатов он отразил, пункт за пунктом, клеветническое нападение донатистского епископа Петилиана: «Следует спросить себя,— писал Августин,— разве не изобрели эти убийцы более жестокие пытки, чем те, до которых додумались варвары? Это они сыплют негашеную известь и брызжут уксус в глаза нашим священникам, терзают их тела, нанося удары и кровавые раны. Как раз вчера я узнал, что в одном месте под воздействием именно таких доводов сорок восемь человек вынуждены были принять донатистское крещение» (Письмо CXI, 1).

В беседах с клиром, похоже, у него иссякли аргументы, он чувствовал себя обвиняемым. Он признавался, что уже не знает, к какой партии примкнуть.

Каплей, переполнившей чашу, стали истязания, которым циркумцеллионы подвергли Максимиана, епископа Багаи. В то время как он служил в церкви, циркумцеллионы набросились на него и стали избивать палками и досками от разнесенного в ключья алтаря и колоть ножами; из ножевой раны в паху ручьями лилась кровь; они выволокли его из церкви и потащили по пыльной улице. Подоспели прихожане Максимиана и попытались отбить своего епископа, но озверевшие донатисты вырвали его у них и, подняв на башню, сбросили вниз еще живого. Случай распорядился так, что он упал на навозную кучу, где его и оставили, посчитав мертвым, но ночью, при свете фонаря, какие-то прохожие обнаружили епископа живым. Его укрыли в семье кафоликов. Здесь Максимиана усердно лечили, и постепенно к нему начали возвращаться силы, хотя еще не было повода надеяться на окончательное выздоровление. Все думали, что он умрет, но ему удалось встать на ноги и даже накопить сил для поездки в Италию, чтобы показаться императору. Последний, увидев изувеченного Максимиана, разгневался и решил покарать африканских донатистов по всей строгости закона (ср. Письмо CLXXXV, 27).

25 августа 410 года (на следующий день после падения Рима) Гонорий подписал эдикт, который ставил донатизм вне закона и отменял всякую терпимость в отношении последователей этого учения.

Решение императора придавало конкретные очертания плану, уже не раз выдвигавшемуся кафолическими епископами и отвергавшемуся донатистскими. Последние уже не отвечали на письма Августина, который предлагал устроить в Карфагене встречу с участием руководителей обоих исповеданий.

Император послал в Африку проконсулом Макробия, начальником войска — Ираклиана, и наблюдателем за религиозной ситуацией — трибуна Марцеллина, который и получил задание организовать встречу между кафоликами и донатистами.

Духовенство, не только в гиппонском монастыре, но и во всей епархии обсуждало эти решения и назначения. Опечаленный Августин призывал молиться о том, чтобы Бог призрел на Свою Церковь. Проповедуя народу, он продолжал отстаивать христианское единство: «Если у тебя искривится палец, не бежишь ли ты к ортопеду? Ибо телу хорошо, когда все члены его здоровы.

Если ты стрижешься, и, глядя на себя в зеркало, замечаешь, что цирюльник постриг тебя неровно, ты злишься. Из-за волос! Есть ли во всем теле что-нибудь менее важное, чем волосы? Ты почитаешь недостойным служить Богу в единстве членов Тела Христова и хочешь, чтобы в волосах твоих царило единство?» («О пользе веры» V, VI).

Он основывал свой тезис на естественной потребности народов в единстве и согласии: «Вселенная народов с уверенностью судит, что не благ отделяющийся от согласия народов...» («Против послания Пармениана», III, 3,24). Именно над этой фразой ночь напролет размышлял англиканец Дж. Г. Ньюмен перед тем, как обратиться в католичество*.

Томили его и другие невеселые предчувствия. Самые дальновидные жители Италии уже подыскивали в иных краях более безопасные условия жизни. Многие в поисках убежища приезжали в Африку. Наступали дни тяжких испытаний.

Аларих плел свою политическую паутину и нацеливался на Рим. Раздавить его и превратить в подножие беспримерной победы! Он мечтал завоевать Италию, ее теплый юг, дойти до Сицилии, до Африки! Африка завораживала этого искателя приключений.

* *Apologia pro vita sua*, in *Opere*, Valecchi, Firenze 1970, p. 109, примечание 508.

«РИМ РАСПЯТЫЙ»

24 августа 410 года произошло событие, которому в новейшей истории можно уподобить первый взрыв ядерной бомбы в Хиросиме. В этот день пал Рим, разграбленный варварами Алариха. И хотя город не был разрушен, он испытал унижение перед лицом истории, которая вознесла его над всеми народами. Мир, считавший Рим непобедимым по божественному определению, не верил своим глазам. Если бы этот город сровняли с землей, и унижение угасло вместе с его гибелью, народы ощутили бы не столь сильное потрясение.

Как оказалось, военно-политическое первенство Рима невечно. Сбылось пророчество Сципиона Эмилиана, который плакал над развалинами Карфагена, им же разрушенного: «Меня мучает страх и предчувствие, что однажды такая же участь постигнет мою родину»*.

И вот этот день пришел. Великая матрона подверглась насилию.

Новость в одно мгновение облетела все уголки империи. И Августин показал, как верующий, церковный человек, африканец, не римлянин по происхождению, всецело захваченный идеалом Града Небесного, может воспринимать судьбы явления совершенно земного — Римской Империи, у которой, вместе со множеством пороков, заблуждений и преступлений, было предназначение и призвание вселенского значения. В своих проповедях он говорил о ней столько, что его слушателям, в конце концов, это надоело: «Хоть бы раз он забыл упомянуть о Риме!».

Августин знал обо всех ужасах, которые происходили в ту среду 24 августа 410 года: насилие во всех видах, надругательства над женщинами, разрушение и поджог зданий, кражи, бегство многих, бросающих на произвол судьбы собственное добро... Огромное число римлян устремилось в Африку, которая пока

* B. H. Warmington, *Storia di Cartagine*, p. 308, Einaudi, Torino.

считалась местом безопасным. Августин был осведомлен и о том, что Аларих, арианин, а значит христианин, позволил своим наемникам все, кроме одного: они не смели трогать христианские храмы, и это спасло жизнь немалому числу укрывшихся в них людей. Августин сравнивает Рим с Иовом, израненным и сидящим в пепле: чем больше беда, тем ярче должна воссиять добродетель! Впавшим в соблазн из-за того, что Рим находится в руках у варваров, тот Рим, который хранит гробницу Петра, гробницу Павла, гробницу Лаврентия, Августин поясняет, что дело здесь не в географии, а в последовательности по отношению к этим святыням: «Да, они в Риме, но не в Риме языческом». В другой раз он сказал: «Прекрасен собор Св. Петра; но лучше его же Послание!».

В письме вдовствующей молодой римлянке по имени Италика он жалуется, что не получил достаточно подробных сведений о разорении Рима: «О сих тяжких испытаниях мне сообщили вещи неприятные и прискорбные, но далеко не столь настораживающие» (ср. Письмо СХСІХ, 1).

Он произнес большую речь: «О разорении Рима» («De urbis excidio»). «О вещах ужасающих сообщили нам: о резнях, поджогах, грабежах, пытках. Мы скорбели, немало пролили слез. Трудно найти утешение...» (Проповедь о разорении Рима, II, 3). Завершающие слова: «Рим сораспался Христу!».

И в другой день: «Миру суждено погибнуть, он стареет, задыхается от старости, кончается! Но не бойся, юность обновляется, подобно орлу. Вот — как говорят — Рим рушится и рушится во времена христиан! Но может быть, Рим не уходит в небытие; может быть, он только исхлестан бичом, но не уничтожен; наказан, но не сровнен с землей... Рим не погибнет, если не погибнут римляне. Рим не в стенах, а в душах римлян. Речь не о камнях и дереве, не о великолепных зданиях и широких стенах. Все это было построено, чтобы быть разрушенным. То, что человек построил, человек и разрушает. Гибнет Рим, основанный Ромулом? Но сам мир, который сотворил Бог, сгорит... Впрочем, и созданное человеком, и сотворенное Богом, может пасть только по воле Божией. И если не низвергается, без воли Божией, созданное человеком, как же может по человеческой воле пасть сотворенное Богом?» (Проповедь LXXXI, 8—9).

Перепополняющее душу Августина милосердие изливалось на беженцев; он делал все, от него зависящее, чтобы принять и приютить их. Иероним из Палестины, ужасаясь судьбе Рима, обвиняет военного наместника в Африке Ираклиана в жестоком обращении с беженцами и скаредности (ср. Письмо СXXX Деметриаду). Судя по всему, дело дошло до того, что выбранных по жребию римлянок продавали восточным купцам. Боль св. Иеронима от расправы с Римом особенно остра, потому что в столице империи у него было много близких друзей (ср. Письма СXXXVI, СXIII). Августину же, к своему изумлению, пришлось увещевать римских беженцев, которые, забыв о разорении родного города и жадно набросившись на развлечения, прежде всего в Карфагене, ежедневно валом валяли в театры, сходили с ума по комедиантам (ср. «О граде Божиим», I, 32)...

Аларих, отлутовав в Риме, приказал наемникам идти на юг, на Сицилию, чтобы затем приступить к захвату Африки. Он добрался до Мессинского пролива, где попал в шторм, разбросавший его корабли. Устрашенный, повернул к северу. Там хватало лакомых кусков — Галлия, Испания...

На пути туда он умер, и наемники, изменив русло реки Бузенто и похоронив его в богатой могиле, оставили в наследство потомкам головоломку, разгадавший которую обнаружит место захоронения Алариха.

Еще на двадцать лет Африка останется римской, — ровно столько остается жить Августину (ум. в 430). Все это время ей удавалось выстоять, несмотря на бьющую через край амбициозность местных правителей и хроническую слабость Гонория и его военачальников. В 413 году не кто иной, как Ираклиан пошел было походом на Рим, но и его ожидала бесславная гибель.

Изобилие обязанностей и непрестанные огорчения ухудшили состояние Августина. В конце 410 года он был вынужден ненадолго покинуть Гиппон, отправившись отдохнуть в деревню.

Его большой заботой стала подготовка встречи с донатистами, назначенной на следующий год. Он хотел непременно участвовать в этом событии, поскольку стремился содействовать диалогу и примирению. Ему удалось найти для такой работы замечательного помощника и союзника, трибуна Марцеллина, которого Гонорий направил в Африку как раз для разрешения донатистского вопроса. Августин и Марцеллин быстро подружились

и обнаружили полное духовное единомыслие, став, как отец и сын.

Марцеллин так болел за правую веру, так скорбел о выдвинутом против нее обвинении (причина падения Рима — христианство), что ему пришла счастливая мысль подсказать Августину идею создания колоссального труда, значительнейшего произведения великого писателя — «О граде Божием», над которым он будет работать многие годы. Еще в 399 году епископ приступил к другой, весьма немаловажной книге — трактату «О Троице», который был завершен только в 426 году. «О граде Божием» он закончит в 427.

Встреча с Марцеллином предоставляет нам возможность поговорить о значении дружбы в жизни Августина. Друзья оказывались соратниками на ниве апостолата, вместе способствовали улучшению общественной ситуации, и, разумеется, сердечно общались.

Августин вкладывал в понятие «дружба» глубокий смысл: как он говорил, «любить и быть любимым» было его потребностью. С давних пор, чтобы назвать кого-то другом, он должен был обнаружить в этом человеке, кроме душевного сродства, согласие в неких высших нравственных принципах. После обращения настоящая, глубокая дружба стала для него невозможной без единомыслия в вопросах веры. С Марцеллином его связывали именно такие узы, и мы еще увидим, сколь крепко. Но Августин старался поддерживать подобные отношения и с другими людьми, будь то деятели культуры или правительственные чиновники. Он уважал светскую власть, всегда был откровенен с ее представителями, пытался сделать все от него зависящее, чтобы их решения служили истине и добру. Он никогда не использовал эти дружеские связи в чьих-либо личных интересах. Не соглашался «составить протекцию» в кругах власть придержащих. Говорил: «Власть имущие, если просишь их об услуге, потом, в ответ, и на тебя в чем-то окажут давление». Но когда однажды ему пришлось просить о ком-то, руководствуясь милосердием и чувством справедливости, он сделал это столь умело и деликатно, что, по словам Поссидия, Викарий Африканский Македоний не удержался от похвалы: «Весьма восхищает меня твоя мудрость в послании, которое ты направил мне, прося о попавшем в беду» (ср. «Жизнь...», XX, 1, 2, 3).

Своей пастве Августин разъяснял: «Часто говорят о нас: *«За чем он идет к этому сановнику? Чего добивается епископ от этого важного лица?»* Но все вы знаете, это нужды ваши гонят нас туда, куда мы идти не хотели бы... Подстеречь подходящее мгновение, стоять у дверей, ждать, пока предвелят нас люди известные или незначительные, просить доложить, в конце концов быть принятым и переносить унижения, умолять, порой получая просимое, но чаще — уходя в плохом настроении... (Проповедь СССР, 17).

Он умел сохранять дружеские отношения и с людьми, приносившими ему огорчения и на некоторое время от него отходившими. Скорбел о друзьях, которые его предали и ожесточенно ему противодействовали, таких, как молодой пелагианский епископ Юлиан Экланский.

Думаю, следует подробнее поговорить о двух дружбах: безмятежной — с Павлином, епископом Нолы и его женой Тарасией, и трудной, не без шероховатостей — с Иеронимом.

Павлин родился в Бордо на год раньше Августина, в 353 году, в семье римлян. До своего обращения в правую веру он занимал высокие общественные должности; крестил его Дельфин. Он жил уединенно в Испании, а после рукоположения в священники в 394 году, переселился в Нолу с женой Тарасией. Затем стал епископом Нолы. С Августином он никогда не виделся: их дружба нашла выражение в многочисленных письмах. В одном из них епископ Гиппонский просит его позаботиться о своем давнем ученике Лицентии, который, очевидно, внушал ему беспокойство. Поскольку Павлин каждый год отправлялся с паломничеством к мощам апостолов в Рим, там он вполне мог встретиться с Лицентием.

В обильной переписке между двумя епископами есть некие умолчания, которые не позволяют нам с точностью ответить на вопрос, чем были вызваны недолгие периоды взаимного охлаждения. Впрочем, не будем забывать, что Павлин дружил с Пелагием и Юлианом Экланским, чего Августин не мог одобрить из-за предательского и еретического поведения этой четы. Как бы там ни было, все многочисленные письма, которыми обменивались епископы Гиппонский и Нольский, свидетельствуют о редкостно искренней и сердечной дружбе между ними. Духовно Павлин жил как бы под сенью Амвросия, жизнью которого вос-

хищался. Вместе с Августином он радуется тому, что у них общий духовный отец.

Интереснее складывались очень непростые, и все же дружеские, отношения между Иеронимом и Августином. Как мы уже знаем, Иероним долго жил в Риме, в папской курии, где состоял советником при Дамасе, отвечая, главным образом, за новый, научный перевод библейских текстов. После смерти Дамаса он удалился в Палестину, где основал монастыри. У Августина новый перевод Библии вызывал определенные опасения. Такое обновление текстов вынуждало, в те времена, когда доступ к книгам был ограничен, и многое просто забывалось, тратить много сил на чтение и литургическое псалмопение. Кроме того, у Августина была своя точка зрения на перевод некоторых отрывков: например, он полагал, что по вопросу об иудействующих Петр и Павел, действительно, расходились во мнениях, а Иероним утверждал, что это тактический прием.

Письма, в которых Августин просил Иеронима кое-что прояснить, по ошибке почты не попали прямо к вифлеемскому отшельнику, а оказались в Риме, где у Иеронима были враги. Решив, что молодой епископ сыграл с ним злую шутку, Иероним пришел в ярость. Он испытывал справедливую гордость за то, что глубочайшим образом изучил Библию: «В юности снедала меня необыкновенная жажда знаний. Никогда я не хотел быть самоучкой, подобно многим! В Антиохии усердно посещал лекции Аполлинария Лаодикийского... Побелела голова моя; сидины пристали более учителю, нежели ученику. Однако я пожелал отправиться в Александрию послушать Дидима. Люди могли подумать, что наконец Иероним перестал учиться, но вот я уже в Иерусалиме и в Вифлееме, и нет слов, чтобы рассказать вам, каких трудов мне стоило по ночам ходить на занятия к раввину Барабине...» (Письмо LXXXIV Паммахию и Океану).

Можно себе представить, какие чувства закипели в душе у Иеронима, когда его известили о самонадеянных критических замечаниях молодого епископа, этого новоиспеченного библеиста. На повторные письма Августина, который, узнав о своей невольной оплошности, выворачивался наизнанку, чтобы испросить себе прощение и унять гнев Иеронима, тот отвечал «душетом»: письмом СII от 402 года и письмом CV от 403. Тон посланий чрезвычайно раздраженный: «Ты бросаешь вызов старику, под-

зуживаешь человека, не желающего говорить! Похоже, ты хочешь выставить напоказ свои знания...».

Августин: «Если я обидел тебя, прости! И если я не могу сказать тебе о том, что, как мне кажется, следует исправить в твоих писаниях, а ты даже не собираешься разбирать мои, оставим все это. Нам все равно не достичь совершенного знания...! Главное — не нанести оскорбление любви...» (Письмо СХ).

Иероним (с сарказмом): «Прошу тебя! Я ветеран на отдыхе, не принуждай меня вновь браться за оружие и опять подвергать жизнь опасности. Тебе, тебе — молодому, с вершины епископского достоинства... учить народы и заполнять римские склады свежими африканскими плодами» (Письмо СХII из архива Августина).

Августин (умоляюще): «Покажем нашим зрителям, что можно, оставаясь друзьями, иметь разные воззрения...» (Письмо СХVI).

Иероним (неколебимо, но польщенно): «Ты посылаешь мне одно письмо за другим... Снова я должен сказать тебе, не обинуясь: ты бросаешь вызов старику! Но помни: у старого быка копыто поувесистей!» (Письма CV и СII).

В конце концов, Иероним не удержался и уступил этой безмерной кротости: «Я был в тревоге, ждал твоего письма. Даже не ждал, а домогался его... Хватит нам ссориться, станем писать друг другу не о спорных вопросах, а о дружбе...» (Письмо СХV).

И напоследок,— похвальное слово Иеронима своему «сопернику», как эпитафия, который остается только высечь на камне. Иероним словно бьет Августина по плечу: «Молодец! Ты известен всему свету, кафолики провозглашают тебя восстановителем древней веры, и, что еще важнее, еретики тебя терпеть не могут!» (Письмо СХСV из архива Августина). Великий отшельник как бы передает факел на пороге смерти — он окончит свои дни в 418 году.

В ТЕРМАХ ГАРГИЛЛИЯ

Карфагенская конференция открылась 1 июня 411 года в термах Гаргиллия. Гонорий назначил ее «Эдиктом об единстве», а его особый уполномоченный, трибун Марцеллин, созвал ее предписанием, доставленным всем кафолическим и донатистским епископам 19 января того же года.

Мы знаем, как настойчиво многие годы кафолический епископат призывал к проведению такой конференции, не раз направляя с этой просьбой делегации к императорскому двору в Равенну. Известно нам и как противились ей донатистские епископы. Предыдущие попытки честного диалога, способного прекратить смуту, которая все более напоминала «религиозную войну», окончились неудачей по причине все той же непримиримости. Ее глашатаем стал Приммиан, донатистский епископ Карфагена: «Недостойно чад мучеников соединяться с потомками традаторов» («К донатистам после прения», I, 1; «На Псалом XXXVI», 2, 18).

Тем временем бесчинства циркумцеллионов не только не прекращались, но исполнились какой-то безграничной дерзости, особенно после смерти Стилихона, поскольку, как мы упоминали, среди донатистов распространилось убеждение, что не императору, а генералиссимусу следует предъявить счет за репрессивные законы против их Церкви. Делегации кафолических епископов все чаще появлялись в Равенне. Членом одной из них, в августе 410 г., был епископ Каламский Поссидий; тем же летом ко двору, без всяких делегаций, прибыл страшно изувеченный епископ Багаи Максимиан. Посланцы африканских кафоликов выяснили нечто противоположное тому, что утверждали донатисты: инициатором этих законов был не столько Стилихон, сколько Гонорий, который хотел с их помощью добиться религиозного и социального мира. Когда Олимпий не получил еще официального назначения на место Стилихона и на должность *magister officiorum* (нечто вроде «генерального секретаря» с задача-

ми более политического, чем военного свойства), Августин направил ему два письма. В ответ епископ Гиппонский получил от Олимпия, кафолика по вероисповеданию, заверения в том, что свою власть он поставит на службу истине и примирению в Африке (ср. Письма истине и примирению в Африке (ср. Письма ХСVI и ХСVII). Из этих посланий Олимпий мог понять, что кафолические епископы употребили все усилия для восстановления порядка и что теперь оставалось одно средство — созвать конференцию. Письмом от 14 октября 410 г. Гонорий отрядил для этого Марцеллина.

Здесь уже, поскольку Марцеллин выступал как третья сторона (хотя и был кафоликом), пришлось и донатистам согласиться на участие во встрече, и они решили поразить всех, — в частности, внушительным числом участников.

Что, должно быть, творилось в Карфагене за несколько дней до начала совещания! Шестьсот митроносных архиереев, бородастых и безбородых, в торжественных пестрых облачениях, сжимающих в пухлых или сухощавых руках пастырские жезлы; организация размещения, устроение стоянок для повозок и стойл для верховых животных, более или менее богато убранных; бесконечное мелькание секретарей и прислуги, забота об удобствах для очень пожилых или немоществующих епископов, — все это обрушилось на столицу римской Африки. Последний римский историк, Аммиан Марцеллин, язычник, с известной симпатией относящийся к христианству, с легкой иронией описывает подобные сцены: «Епископы перепархивают из одной местности в другую на общественных повозках и верховых животных, перебегают с синода на синод (так они называют свои собрания) с необыкновенным рвением, выдающим тех, кто стремится всякий культ обратить в собственную религию, реквизируя для своего удобства все средства передвижения...» («История Рима» XXI, 16, 18).

Августин, едва оправившись от болезни, с душой принялся за устроение конференции. Зная, что ему придется на некоторое время осесть в Карфагене, он умоляет гиппонскую паству понять его: «Именем Христовым заклиная любовь вашу: не печальтесь о моем телесном отсутствии. Не должно быть у вас сомнений: никогда не смогу покинуть вас. Страдаю от того, что ныне не с вами, едва ли не больше, чем вы. Пусть знает ми-

лосердие ваше: никогда не отлучался я от вас по прихоти, всегда — по настоятельной необходимости...» (Письмо СХХII, 1).

Среда, 17 мая 411 года: Августин прибыл в Карфаген, прямо из загородного дома. Вспоминая две недели, предшествовавшие прениям, он писал позднее: «*occupatissimus fui*» — «я был чрезвычайно занят» («Краткое изложение прения с донатистами» ХХII, 46).

Он произнес перед карфагенскими верующими две речи: проповедь CCCLVII, в которой призвал местные семьи проявить щедрость и оказать гостеприимство столь многочисленным епископам, и проповедь CCCLVIII. Ее тема — *Мир и любовь*. В этой проповеди он постарался прояснить психологическое состояние донатистов, «снедаемых борьбой между любовью к миру и гордым нежеланием потерпеть поражение». Он обращался к чувству ответственности кафоликов: «О, если бы возобладала любовь, а не неприязнь! Истинный победитель тот, кто готов оказаться побежденным в любви, и только если победит истина; а победа истины есть любовь». Затем возвратился к далеким корням спора, Донату, Цецилиану... «Но кто такой Донат, кто такой Цецилиан? Люди! Какие бы они ни были, добрые или злые. А ты должен следовать за Христом!» Он цитировал апостола Павла, который приходил в ужас, когда слышал, что того или иного христианина причисляют к какой-то «партии»: «Я Павлов, а я — Петров...». «А я Христов!» — провозглашал апостол. «Разве можно разделить Христа?».

Для Августина суть спора состояла в *Единстве Крещения*, основополагающего таинства христианской веры. Отрицать действительность таинства, каково бы ни было достоинство священнослужителя, его преподающего, значит отрицать действительность самого Крещения. Не большая или меньшая святость духовного лица сообщает таинству действенность. Оно совершается как бы самим Христом — являясь Его таинством, и ему внутренне присуща возрождающая сила. При этом, в исключительных обстоятельствах место «штатного» священнослужителя может занять «внештатный» — мирянин, либо даже еретик, язычник или грешник, лишь бы он сумел сделать то, что должно быть сделано по воле Христа. Именно тогда было сформулировано учение, которое впоследствии теологи-схоласты обозначили формулой «*non ex operantis*, а «*ex opere operato*», т.е. действенность исходит не от *творящего*, а от *творимого*.

Августин воспретил мирянам-кафоликам заходить в здание, отведенное для Конференции, во время ее работы. Более того, он наказал им по возможности не появляться даже в окрестностях этого здания, чтобы не натолкнуться на какого-нибудь любителя повздорничать, чтобы не провоцировать и не поддаваться на провокации. «Мы будем для вас вести прения, вы же для нас молитесь, поститесь, щедрее раздавайте милостыню...»

С учетом придирчивости донатистов, регламент и повестка дня Конференции были расписаны обеими сторонами в мельчайших подробностях.

Прежде чем говорить о самом совещании, попробуем взглянуть на то здание, в котором оно происходило. От терм Гаргиллия в Карфагене сейчас не осталось и следа. По словам Августина здание находилось в центре города и было просторным, хорошо освещенным и прохладным (ср. «К донатистам после прения», 25, 43, 35, 58). Таким образом, в соответствии с замыслом Марцеллина, встреча состоялась не в базилике, принадлежащей той или другой конфессии, а в светском помещении.

Председательствовал делегат от императорского двора. Он возглавлял коллегия чиновников, которые, вероятно, прибыли из Равенны и по вероисповеданию, вполне возможно, были не кафоликами, а, например, арианами.

Решили для ведения прений назначить комиссию из четырнадцати епископов, по семь с каждой стороны, и наделили их правом брать слово от имени других. Им в помощь отряжалось такое же число епископов в качестве экспертов и советников. Четырем донатистским и четырем кафолическим епископам предстояло наблюдать за протоколами, во избежание жалоб на ошибки или фальсификации. И наконец, каждая из сторон выделяла по два стенографа. Место двоих из них должны были время от времени занимать помощники судьи, чтобы потом не поступали жалобы на недостоверность записей. И последняя предосторожность: епископам вменялось в обязанность своими личными подписями удостоверить, вместе с судьей, подлинность каждого текста, чтобы исключить возможность любых последующих изменений.

Все это мы узнаем из письма Августина, которое он, с другими епископами, написал донатистам 14 июня 412 года (ср. Письмо CXLI, 2). В письме есть также уведомление, что «эти

протоколы преданы публичной огласке во всех местах, где по справедливости их следовало огласить» и что «поскольку еще живы подписавшие их, то потомкам достанется достоверно подтвержденная истина».

Донатистские епископы торжественной процессией прошествовали по улицам Карфагена. Их было 279. Кафолики предпочли не создавать излишней шумихи вокруг своего появления, и шли на первое заседание разрозненными группами. Их было 286. 120 епископов отсутствовали, 64 кафедры вдовствовали: таким образом, всего Африканская Церковь насчитывала 470 епископов.

Донатистские епископы незамедлительно заняли пресловутую обструкционистскую позицию (столь знакомую нам по заседаниям нынешних парламентов), саботируя обсуждение вопросов, стоящих в повестке дня. Они ударились в процедурные тонкости, пожелали проверить подлинность подписи каждого делегата, а также произвести перекличку. Явка кафолического епископа должна была удостоверяться его соседом-донатистом. Один из донатистских епископов, по имени Феликс, наверно, чтобы разрядить обстановку, представился как епископ Рима. Кафолические епископы, ограничившись заявлением, что право Иннокентия, тогдашнего папы, на эту кафедру по-прежнему неоспоримо, отсмеявшись, вновь занялись делом. Наступил вечер, и было решено продолжить работу на следующий день. Донатисты потребовали отсрочки, и второе заседание перенесли на 8 июня. Если предположить, что учение о переселении душ соответствует действительности, души наших сегодняшних парламентариев, вполне могли бы в предыдущей жизни обитать в телах донатистских епископов, собравшихся тогда в Карфагене.

8 июня Конференция возобновилась. Донатистские епископы не захотели сесть, потому что в тот день с утра они читали псалом, в котором говорится: «Блажен муж, который... не сидит в собрании развратителей». Именно это они, конечно, и имели в виду, оставшись на ногах... Августин, в тон процитированному ими псалму, иронически заметил: «Раз уж вы вошли, можете и сесть...». Но они продолжали стоять. И тогда вынуждены были встать и кафолики, и Марцеллин,— из уважения к епископам.

По настоянию Августина кафолики выступили с весьма великодушными предложениями. Если будет доказано, что правда на их стороне, они соглашаются на то, чтобы донатисты удер-

жали и свой сан, и свои кафедры; в случае же, если донатисты докажут, что истинная Церковь существует только у них, все кафолические епископы откажутся от своих кафедр в пользу донатистов.

Августин, один из епископов, уполномоченных кафоликами на ведение прений, пошел в наступление, вооружившись любовью: «Будьте нашими братьями в любви милосердной. Да не расточим, ревнуя о чести нашей, мир Христов. Какую честь обретем мы в мире небесном, если ныне защищаем честь нашу земными раздорами?» (ср. Проповедь CCCLIII). Он говорил, исполнившись страстного стремления к единству в любви, но без напыщенности и риторики. Опроверг исторические причины раскола; у людей могут быть слабости, но эти слабости не должны бросать тень на Церковь, за которую ручается сам Христос; воздал хвалу Киприану, к чьему авторитету постоянно прибегали донатисты, воздал хвалу Петру, но признал и призвал всех признать, что в личном, практическом плане и святые способны заблуждаться, и что, конечно, они одолели бы эти заблуждения силой смирения, если бы мученичество, героическое свидетельство о Христе (случай Киприана) не изгладили их прежде. Сказал он и о том, что даже определения архиерейского собора могут быть исправлены собором поместным, когда нужно исследовать поглубже истину, которая не была прояснена в достаточной степени, и понять, что она, действительно, понята не до конца. И все это — без высокомерного фанатизма, злобной зависти, «со святым смирением, с соборным миром, с христианской любовью!» (ср. «О крещении» II, 3). О теологии и духовном значении Крещения он прочитал и написал столько, так любил это таинство (к которому припал, как к изначальному источнику христианской жизни еще 24 года назад, когда в Милане принял его из рук Амвросия), что спорить с ним на эту тему было чрезвычайно трудно.

Напрасно надеялся прервать его своим многословием Петтиан; напрасно сыпались оскорбления из уст Емерита. Многие донатистские епископы в глубине сердца сочувствовали Августину, не один пытался скрыть подступившие к горлу рыдания... Когда Марцеллин спросил донатистских епископов, есть ли у них замечания или возражения, они «потщились начать все сначала, повторяя вещи уже сказанные и опровергнутые кафоликами»; но, поскольку предмет диспута был исчерпан, глубокой ночью, пос-

ле нескольких часов заседания, Марцеллин заявил о полной победе Кафолической Церкви. Произошло это 8 июня 411 года.

От конференции остались официальные акты, очень и очень пространные из-за многословных выступлений донатистских епископов. Августин составил замечательное краткое изложение этих актов. Другие сведения о конференции можно найти в его письме CXLI.

После совещания он проповедовал в Карфагене: «Трудно достигается согласие даже между братьями. А почему трудно? Потому что они хотят быть «землею», а значит, ссорятся из-за любви к земле. Человек, в начале, услышал слово: «Ты земля, и в землю возвратишься». Но христианину было сказано иное: «Ты — небо и на небо пойдешь!» (Проповедь CCCLIX, 1).

Конференция подорвала основы донатистской догмы. Многие епископы и миряне вернулись в кафолическое общение, и Августин следил за тем, чтобы их принимали, как братьев, и негодовал на недостаточно великодушных.

Впрочем, было бы наивно полагать, что этот вулкан ненависти и насилия потух в один миг. В сентябре, в Гиппоне, одного священника, Иннокентия, тяжело ранили, а другого, Реститута, — убили. Сотворившие это, сказал Августин, — «люди неистовые, потерявшие разум... Тем более необходима любовь. И их нужно любить!» (Проповедь CCCLVIII, 8). И написал Марцеллину и проконсулу Апрингю, чтобы они были строги с преступниками, но не прибегали к смертной казни.

Марцеллину: «Мы могли бы снять с себя всякую ответственность за смертную казнь, которой могут подвергнуться виновные, поскольку их предали суду не по нашему обвинению... Исполни же, судья христианский, долг любящего отца, накажи нечестие, но не забывай о человеколюбии» (Письмо CXXXIII, 1 и 2).

Апрингю: «Я боюсь, как бы возглавляемая тобою судебная власть не приговорила совершивших убийство к смерти. Да не будет этого! Как христианин прошу судью, и как епископ увещаю христианина... Они кошунственным мечом пролили кровь христиан; ты же, из любви ко Христу, удали от их крови меч правосудия. Они, убивая служителя Церкви, насильно отняли у него жизнь; ты же продли живым недругам Церкви время для покаяния...» (Письмо CXXXIV, 1 и 4).

Находясь в Карфагене по делам конференции, епископ Гиппонский однажды стоял в небольшой толпе священнослужителей и мирян, которые почтительно приветствовали его. И вдруг он вздрогнул, сам не зная, отчего; через мгновение перед ним предстал незнакомый монах, по виду аскет, но с каким-то неуловимым взглядом, который протиснулся сквозь кольцо почитателей, чтобы поздравить Августина с победой и поцеловать ему руку. После епископ Гиппонский напишет: «Я видел его тогда совсем близко, не помню только, раз или два...» («Изречения Пелагия» XXII, 46).

Имя этого монаха было Пелагий. Варварский смерч, обрушившийся на Рим, занес эту змею в Африку, куда Пелагий бежал, завидев вестготов Алариха. Августин никак не мог предположить, что, одолев донатистов, ему придется еще шесть лет тяжело трудиться, чтобы избавить Африку от новоявленной ядовитейшей змеи!

«Я ОСТАНУСЬ С ВАМИ»

Он вернулся в Гиппон в начале октября 411 года. Как только копыта мулов зацокали по булыжнику монастырского двора, кто-то из монахов заметил Августина первым и громко возгласил: «Епископ вернулся!». Они тут же окружили его, и каждый поцеловал ему руку.

Да, встретили Августина радушно, и все же он заметил в их поведении плохо скрытую досаду. Его не было с мая! За их негодованием стояла любовь, не желающая слышать никаких оправданий. Они скучали по нему, как дети по уехавшей матери. Нелегко было им понять, что их отец — как полководец, ведущий тяжелую битву; что он не по своей воле отлучается из дома. Он уже написал издалека письмо своим священникам и жителям Гиппона, в котором не в первый раз повторял, что никогда не покидает город по собственной прихоти.

Карфагенская конференция, готовившаяся многие годы, стала значительным событием в жизни Африканской Церкви: именно на ней состоялся диалог между разделенными братьями по вере. Даже если полное и окончательное примирение не было достигнуто, во всяком случае, это был акт доброй воли, смягчивший трения и взаимную резкость, умеривший агрессивность.

Только любовь, размышлял Августин, может просочиться сквозь частую сеть устрашения. Если кто-то, представляющий одну из сторон, будет неотступно искать диалога, возможно, ему удастся вовлечь в него и другую сторону, и заставить и тех, и других высказать свои доводы открыто и прямо. Это могло стать первым шагом на пути (быть может, долгом) к миру среди христиан. Впрочем не бывает только религиозного мира: если он есть, то распространяется на весь человеческий миропорядок.

Все знали, какую роль сыграл Августин в деле примирения. Но на сей раз единомышленники не встретили его как триумфатора. Да он и сам ни в коем случае не хотел себе славы глав-

ного действующего лица. Его смирение и величие души ставили преграду такому умонастроению.

И вот, сойдя с мула и прижимая к груди тех, кого особенно любил (потому что они были единомышленники из единомышленников), он ощутил эту их досаду. Человек, действительно богатый духовно, никогда не обманывается в своем отношении к обычным людям. Он должен давать, всегда давать, а после того, как отдал, понимать и сострадать. Дожив до пятидесяти пяти лет, он не мог не заметить, что как бы излучает надежность, и что другие вбирают в себя это излучение. Он был одним из тех людей, которые наполняют собой других, а когда отлучаются из какого-то места, даже если уверены в возвращении, постоянно помнят, что некому заполнить образовавшуюся пустоту.

В своей просторной, просто обставленной комнате Августин принял иеромонаха Ираклия. Ираклию было лет сорок. Августин очень ценил его и, уезжая из Гиппона, всегда поручал именно ему вести все дела по управлению епархией. Все любили его, и спустя несколько лет епископ назвал Ираклия своим преемником.

Будущий преемник вошел к нему с большим пакетом под мышкой. Ираклий должен был ознакомить Августина с поступившей корреспонденцией, с положением священников, монахов, населения. Зайдя, Ираклий не стал приветствовать епископа вслух, а только улыбнулся. И Августин ответил улыбкой, но не только; он произнес имя вошедшего: «Ираклий». И вложил в это слово всю свою любовь.

«Я рад, что ты вернулся, Отец! Все наши братья рады. Ты устал?»

«Немного, Ираклий... Но если любишь,— или не устаешь, или научаешься любить саму усталость... Ну как здесь, есть что-нибудь новое?»

В это время из коридора донесся чей-то кашель, потом в надрывном кашле зашлось еще несколько человек.

Августин, забеспокоившись, заметил: «Какой у кого-то сильный кашель...».

«Ах, Отец! В эти дни в тишине тебе побыть не дадут. По городу ходит грипп. Пол-Гиппона не встает с постели, но врачи утверждают, что ничего серьезного нет...»

«Следи хорошенько, Ираклий, за здоровьем братии...».

Ираклий перешел к отчету о поступивших письмах. Одно из них было от знатной Мелании, жительницы Тагаста.

«Склоки?»

«Все тот же обмен колкостями между монахом Сперанцием и священником Бонифацием...»

«Так они все еще не успокоились? — удивился Августин, в задумчивости барабанив пальцами по столу.— Этих двоих,— продолжал он,— придется мне отослать к Павлину, в Нолу...»

«В Нолу?»,— спросил Ираклий.

«В Нолу,— подтвердил епископ,— к усыпальнице святомученика Феликса; говорят, Феликс прекрасно помогает определять, кто прав, кто виноват; без него мне не довести до конца это дело...»

«Соломоново решение?»

«Соломоново решение! Но нужно сделать все, чтобы эта ссора между монахом и священником не стала для кого-то соблазном. У меня, между прочим, есть для передачи Павлину письма и еще — рукописи...» (ср. Письмо LXXVIII, 3).

Августин замолчал, и довольно надолго: видимо, эта распря не на шутку его встревожила; Ираклий тоже не раскрывал рта. Наконец епископ продолжил: «Только бы люди не соблазнились из-за этого! Народ уважает наших монахов, любит их и, при случае, защищает. Помнишь, что было, когда Петилиан закричал: «Молчи, ты, отец таких монахов!», не уточняя, имеет ли он в виду наших, или бродячих, которые не стригут волос и потому очень похожи на циркумцеллионов? Я только сказал народу: «Они сравнивают ваших монахов со своими циркумцеллионами. Смотрите сами, удачно ли это сравнение...»,— и раздались рукоплескания.

Ираклий сообщал: «Есть еще письмо от донатиста Панкария из Германиции, который требует, чтобы священника Секондина незамедлительно перевели в другое место, и присовокупляет к просьбе угрозы. Он хочет завладеть участком земли, на котором расположена церковь Секондина. Надо бы его призвать к порядку...».

Августин взял лист и набросал письмо. Потом прочитал его вслух и отдал Ираклию: «Уважаемый господин Панкарий,— говорилось в письме,— до того, как на землю Германиции ступила твоя драгоценнейшая нога, священник Секондин совершен-

но устраивал жителей селения; право, не знаю, как могло так получиться, что теперь, по твоим словам, они готовы обвинить его во всех смертных грехах... Последи лучше за тем, чтобы не были разграблены и разорены дом и церковь вышеупомянутого священника...» (Письмо CCLI).

Ираклий рассказал и о священнике Аббонданции, который находился в подчинении у благочинного Нумидии, но отдыхать предпочитал на территории Гиппонской епархии. Некоторую сумму, полученную от благочестивого крестьянина в качестве приношения на храм, он употребил для каких-то иных нужд, и не сумел объяснить, для каких именно. Накануне Рождества, распрощавшись с приходским священником села Джиппи из-за того, что на обед у него были исключительно постные блюда, и сделав вид, что отправляется обратно в свою церковь, Аббонданций остался в Джиппи на обед, на ужин и на ночлег — в доме непотребной женщины. Августин проверил факты и не согласился поставить его на сельский приход, которого он добивался. Затем епископ Гиппонский написал епископу Нумидийскому, чтобы тот принял меры. В конце этого письма Августин замечает: «Что до меня, то я боюсь поручать какую бы то ни было общину верующих подобного рода священникам, не пользующимся доброй славой. Боюсь делать это, ибо, если потом случится какое-то вопиющее безобразие, с болью принужден буду обвинить в том самого себя» (Письмо LXV, 1 и 2).

Расправившись с самыми неотложными делами и остановив Ираклия уже на пороге, Августин сообщил ему, что впредь постарается как можно больше находиться в Гиппоне и не отлучаться без крайней необходимости, а также — что в следующее воскресенье он намерен обратиться к народу с важной проповедью на тему о монахах и священниках.

Ираклий со своей кипой документов дошел до конца коридора, но вдруг развернулся, быстро зашагал обратно и проговорил, зайдя к Августину: «Забыл сказать, Отец, что, когда ты набирался сил в деревне, в Гиппоне появился некий монах по имени Пелагий. У него такое вытянутое красноватое лицо, рыжие волосы... Он мне сразу же заявил: «Я знаю, что вашего епископа нет на месте, известно ли вам, когда он вернется?» Еще этот Пелагий рассказал, что пришел из Рима, что бежал оттуда во время готских бесчинств. Вид у него сугубо аскетический, но

взгляд какой-то ускользающий, и это производит странное впечатление...».

Августин посмотрел на Ираклия, но не сказал, что имел с Пелагием короткую встречу в Карфагене и что у него поползли мурашки по спине, когда он увидел глаза этого человека.

Приступы бронхиального кашля снова и снова разрывали тишину в коридоре.

В следующее воскресенье Августин вышел к народу в базилике Мира. Он возник из-за колонн, облаченный в торжественные архиерейские одежды. Выглядел немного усталым, похудел, но лицо его озаряла улыбка, которой он словно просил о прощении за свое долгое отсутствие. Завидев епископа, прихожане громко приветствовали его, раздались рукоплескания... Он же, проходя сквозь радостную толпу, благословлял и гладил по головке детей, попадающихся ему во время этого неспешного шествия. Потом начал великое молитвословие.

Перед тем, как сказать слово, Августин помедлил. Дольше, чем обычно, смотрел на собравшихся, а точнее, выхватывал взглядом каждого. «Я ваш епископ,— наконец заговорил он.— «Уже столько лет я епископ Гиппонский. Ничто на свете не разлучит меня с вами...». Народ отозвался бурными рукоплесканиями. Кто-то выкрикнул: «Ты наш отец, ты должен остаться с нами...». «Я останусь с вами и не буду епископом никакого другого города; когда Богу будет угодно, умру в Гиппоне, умру среди вас...» и, повысив голос, отчеканил: «Если нужно, умру с вами. Не мыслю спастись без вас!».

Оглушительные рукоплескания эхом прокатились по храму. Затем все обратилось в слух, и в глубокой тишине Августин продолжал: «Я, ваш епископ, молодым пришел сюда, в Гиппон. Искал место для нового монастыря. Отвергнув всякую мирскую надежду, не старался быть тем, чем мог бы стать в миру, не искал и епископства. Даже избегал появляться в тех местах, где епископские кафедры вдовствовали. И спокойно приехал в Гиппон, потому что здесь епископ был...».

Его прервали: «Это нам всем уже известно, никто этого не отрицает...».

«Так вот, слушайте дальше. Я хочу, чтобы жизнь епископа, священников, монахов всегда была у вас перед глазами...». Слушатели замерли, гадая, к чему клонит Августин. «Достигло ушей моих...

(а достаточно дуновения ветра, чтобы что-то вошло в уши мои... и я не собираюсь здесь называть имена: мол, такой-то сказал то-то, такой-то злословил так-то, ибо убежден, что не всегда обо всех сообщают правду... есть и такие, которые намеренно ищут дурные примеры и измышляют их, чтобы самим жить распушенно; клеветают, чтобы хоть ненадолго поставить рядом с собой добрых людей). В общем, с первых дней своего епископства начал я собирать вокруг себя братьев, задавшихся одной со мною целью: ничем не обладал я, ничем не должны были обладать они».

Снова прервали его: «И об этом мы знаем... Нам нравится это твоё начинание, мы одобряем его...».

«А знаете ли вы и о том, что, если прежде я обязывал всех своих клириков жить в общегитии и в бедности, то теперь изменил мнение? Не хочу никого принуждать, не хочу быть окруженным лицемерами! Тем, которым Бога недостаточно, недостаточно и Церкви; те, кому не обойтись без собственности... пусть уходят, свободно, я не лишу их духовного звания. Если бы я лишил их достоинства священнослужителей, не сомневаюсь, они нашли бы себе защитников, здесь и на других епископских кафедрах. Нам бы сказали: «Что плохого сделал этот клирик? Ему не по душе жить с тобой, он хочет жить вне епископии, может жить на свои деньги: почему же он должен терять духовное звание?» И вот я говорю: пусть делает, что хочет! Если он готов пребывать на содержании у Господа через посредство Церкви Его и отказаться от владения собственными средствами, или раздавая их нищим, или отдавая в общее пользование, пусть остается со мной; не готовые пусть получают назад свою свободу. Но мне не нужны нарушающие клятву, те, которые дают обет Богу, а потом не держат слова!»

Новые рукоплескания, крики: «И нам не нужны! Но что же произошло?».

«Простите мне, дорогие, мою болтливость! Это старость. Видите, я только начинаю стареть, но по слабости здоровья стар уже давно...»

Народ понял, отчего вдруг во всем облике Августина проглянуло изнеможение, понял, что кто-то из клириков глубоко огорчил его своей вопиющей недисциплинированностью. В знак любви и поддержки люди закричали: «Августин, мы с тобой! Августин, мы с тобой!».

«Зложелателей хватает,— продолжал он,— как хватает и друзей. Но если друг начинает хвалить наш образ жизни и говорит, что монашеская община Августина живет по Деяниям Апостольским, лукавый зложелатель (я же просил вас не подсказывать мне имена...) с издевкой перебивает его: «А, значит по-твоему вот так живут в епископском монастыре у Августина, именно так? Как ты говоришь?». И, качая головой, осклабясь, добавляет: «Зачем же ты лжешь? Зачем ложной хвалой славословить людей недостойных? Разве не в этом монастыре был некий священник, который нарушил обет бедности и составил завещание?» И что же друг? Стоит, как воды в рот набрал. А когда все же раскрывает уста, в жестоком разочаровании обрушивает проклятия на голову оказавшегося наивным епископа, или на голову священника-завещателя. Вот что, дорогие мои, вынудило меня обратиться к вам с этим словом...».

Бездонное безмолвие встретило последние слова Августина.

Он хотел, чтобы Гиппонская Церковь была кристально чистой в глазах народа, потому что народ это и есть Церковь. Как священник он ощущал огромную потребность в искренности и хотел, чтобы его священники были искренни с народом Божиим. Чтобы были, насколько возможно,— святыми, но если не святыми, то хотя бы чистосердечными. По его словам, у лицемерного священника среди народа — одна роль: та же, что у пугала для птиц на поле пшеницы.

Один из его священников, некий Геннарий (чей поступок послужил причиной соблазна и дал повод для приведенного выше выступления Августина), имел двух детей, сына-монаха и несовершеннолетнюю дочь, тоже монахиню. Геннарий оставил все Церкви, за исключением некоторой части, предназначенной для дочери, которой надлежало, по достижении совершеннолетия, распорядиться этой частью по своему усмотрению. Незадолго до смерти, не считаясь с правами дочери, он составил новое завещание, которое положило начало бесконечной тяжбе из-за наследства между детьми — братом и сестрой. Скорбь для Августина, соблазн для народа. Епископ отказался от всего, что Геннарий оставил Церкви. И пояснил, что делает это по двум причинам: потому, что сам поступок Геннария вызывает у него отвращение и потому, что это объединение монахов устроено по

его замыслу, и ему хотелось бы, чтобы оно и было таким, каким он его задумал.

Продолжая беседу с прихожанами, Августин воспользовался случаем, чтобы назидательно напомнить им, как они упрекали своего епископа за чрезмерную щепетильность: «Вы рукоплещете мне, когда я пою, но не слышите напева. Вы говорите (и я об этом знаю): «Вот почему никто больше не оставляет наследство Гиппонской Церкви — потому что епископ, по доброте душевной, от наследств отказывается!» Наследства тихие, чистые я принимаю, но такие, за которыми стоит уловка, ущерб детям, не принимаю, и не собираюсь! И знайте, о вы, порицающие меня, что не пожелал я принять и наследство судовладельца Бонифация. Церковь Христова не может обладать верфями, не должна быть владелицей и строительницей кораблей! Эти корабли были бы обречены на верную гибель! Церковь — не банк, не ссудная лавка. Епископ поставлен не только деньгами помогать нищим, но и страдать и молиться вместе с ними. И повторю, Церковь, проворачивающая дела,— верный путь к погибели. Лучше пусть остается, как есть; а я, по совести, намерен и дальше вести себя также. Каждый день кто-то стучится в нашу дверь, плачет, кладет к ногам нашим свою нищету. У нас сжимается сердце оттого, что не можем подать всем, оттого, что многих приходится опечаливать и отсылать ни с чем. Но лучше так! Иначе у нас бы не было и этого малого для немногих; мы встали бы перед лицом полного крушения...».

Он говорил так горячо и убедительно, что каждый из предстоящих почувствовал, что укор обращен именно к нему. Рассуждая чисто по-человечески, они полагали: чем богаче Церковь, тем лучше она может позаботиться о нас — бедных. У Августина же была другая точка отсчета — Евангелие. И в то воскресенье, встав на защиту других священников, диаконов и причетников, на которых несправедливо распространяли обвинения в причастности к растратам, и неопровержимыми доказательствами убедив всех в их абсолютной порядочности, он «запечатал» проповедь: «Что же до принявших обет бедности и не соблюдающих его, если застану таких с поличным, не только не позволю составлять завещание, но и искореню из духовного сословия. И пусть прибегают хоть к тысяче Соборов, пусть плывут куда хотят, ища поддержки против меня... С помощью Божией,

где я епископ, им уже не быть клириками. Вы слышали, слышали и они» (ср. Проповеди CCCLV и CCCLVI).

Кто-то робко захлопал в ладоши. Августин тотчас прервал его движением руки. «Я не хочу ваших рукоплесканий, дайте мне ваши слезы».

Было такое впечатление, что его мыслям, тем, что он только что изложил, тесно в этом голосе и в этих словах, которых ему не хватало: за всем этим стояло чистосердечное усилие создать и воссоздать замысел о Церкви в основанной на любви взаимозависимости разных сторон — клира и мирян — равных в достоинстве и ответственности. «У Церкви есть недруги внутренние и внешние; внешних избежать легче, внутренних терпеть труднее». Августин был действительно опечален, но его огорчение не вырождалось в насилие.

Вечером за ужином в трапезной царило спокойное, безмятежное настроение; впрочем, после положенного чтения разговоров в монашеской общине было больше, чем обычно. Обсуждали поступок Августина, который, перед тем как приступить к проповеди, выхватил из рук у чтеца книгу Деяний Апостольских, чтобы самому прочесть отрывок, где описывается совместная жизнь первых христиан. Поступок для него необычный, он словно действовал по какому-то внезапному побуждению. «Хочу сам прочесть...», — сказал он решительно (Проповедь CCCLVI, 1)... Говорили и о том, как епископ защищал монахов (исключая случай с Геннарием); как он перебрал их поименно, доказывая невинность каждого, — дьяконов Валента, Фаустина, того же Ираклия и Патриция, собственного племянника; пресвитера Лепория. «Я нахожу, что они именно такие, какими бы мне хотелось их видеть! И пусть никто больше не говорит о них дурно! У этих монахов один дом — мой, епископский. И нигде больше ничего у них нет; ничего, кроме Бога!» (Проповедь CCCLVI, 10).

В завершение дня он вновь пожелал взять слово, уже за столом: «Вчера я ответил на письмо трибуна Марцеллина. Он человек праведный, ревностный кафолик, добрый друг. Он настаивает, чтобы теперь, после разорения Рима, я взялся за труд на о «Граде Божиим». Это большая и тяжкая работа. Я совершу ее, если Богу будет угодно. Но прежде этот «Град Божий» я хочу построить с вами, братья мои дорогие. В своем письме Марцел-

лину я привел отрывок из сатиры Ювенала: «На нас обрушилась роскошь, что неумолимее оружия, мстительница за мир, побежденный нами. Каких только нет у нас преступлений, каких нет злодеяний с тех пор, как исчезла бедность Рима». Бедность, братья, оберегает чистоту. В бедности мы свободны. Бедность берет начало в том кресте, утвержденном во плоти Христовой, за который мы хватаемся, чтобы иметь опору в мире, что рушится ныне. Бедность приносит нам согласие в Граде земном и любовь, помогающую попасть в Град небесный... К сожалению, дошли до меня от Марцеллина и невеселые вести: Ираклиан собирает рать, чтобы поднять восстание против Рима. Новые дни насилия и скорби ждут Африку и Империю. Мы же будем строить своей бедностью, материальной и духовной,— Град Божий» (ср. Письмо CXXXVIII, 16 и 17).

«О ГРАДЕ БОЖИЕМ»

Три заботы не оставляли Августина в начале двадцатых годов: многотрудное сочинение книги «О граде Божиим»; злосчастное восстание Ираклиана, поднявшего наемные войска в Африке против центрального Правительства империи, чтобы создать в независимом государстве заморские провинции; коварное вовлечение в этот заговор драгоценного друга, трибуна Марцеллина, которому грозила тюрьма, а может быть, и смерть. Он укрывал в своем сердце эти заботы, первую — заряженную высоким религиозным напряжением, и две другие, мучительные.

Твердо решив не обманывать ожиданий паствы, он почти не покидал Гиппон. В ноябре 411 г. не принял участия в Кафагенском поместном Соборе, посвященном учению Пелагия, хотя появление новой ереси стало для него еще одним серьезным поводом для беспокойства. Он отлучался только ненадолго: заглянул в Фуссалу, на рукоположение нового епископа Антонина; возможно, но неточно, присутствовал в Зерте на архиерейском соборе; на короткое время наведывался с проповедями в Утику и Карфаген. А пребывая в Гиппоне, писал письма — содержательные, как большие трактаты.

К книге «О граде Божиим», «многотрудному деянию», по собственному определению Августина, он приступил летом 412 года, и для него это было то же самое, что для Тита Ливия его «История», для Фомы Аквинского — его «Сумма», для Данте — его «Комедия»; а может быть, и нечто большее. Неспешно подвигал он вперед другое свое исполинское, чисто теологическое произведение — «О Троице», начатое много лет назад. Нет меры изумлению, охватывающему нас, когда мы вдумываемся, какие же чудеса мог творить ум этого человека. Если взять только эти два труда, «О Троице» и «О граде Божиим», его можно сравнить с дирижером, который одновременно дирижирует двумя оркестрами по двум грандиозным партитурам.

В своих «Поправках» Августин рассказывает о причинах, побудивших его написать двадцать две книги, составившие «О граде Божием»: «Между тем готы Алариха разорили Рим, тяжкое бедствие обрушилось на город. Поклоняющиеся богам и именуемые обыкновенно язычниками потщились обратить разорение это против христианской религии, хуля истинного Бога с ожесточением необычайным. Посему, воспламенясь ревностью о Доме Божием, положил я написать книги «О граде Божием», против их хулы и заблуждений. Труд этот занял у меня несколько лет, ибо я перемежал его многими другими делами, которые не мог отложить и которые требовали скорейшего разрешения...» («Поправки» II, 43).

Антихристианский тезис, по которому причиной падения Римской империи стало отступничество от древнего культа богов, кому-то мог показаться вполне правдоподобным.

Нередко могучие правящие режимы черпают энергию сплоченности и экспансии в далеких от праведности идеалах, опьяняющих народы и возбуждающих массовый фанатизм. Этот опыт повторяется в современную эпоху: теократические идеалы, классовый мессианизм, теории расового превосходства — все это брали на вооружение диктатуры, казавшиеся незыблемыми.

Миф об Энее, основавшем Рим по воле богов, был воспет Вергилием. Серьезные историки, которые повествуют о росте политической и военной мощи Рима, например, Тит Ливий, имели полное право счесть эти мифы не более чем сказками. Но идея о божественном фатуме, по чьей воле римский народ становится «князем земли», лежит в основе всей исторической концепции Тита Ливия: «Если какому-нибудь народу позволительно освящать свое происхождение и возводить его к богам, то военная слава римского народа такова, что, назови он самого Марса своим предком и отцом своего Родонаачальника, племена людские и это снесут, с тем же покорством, с каким сносят власть Рима» («Предисловие» 7).

Победившие диктатуры навязывают не только свое господство, но и свою теологию.

Впрочем, мифы, пустившие корни глубже, чем догмы (благодаря тому, что проходят через иррациональный и сентиментальный фидеизм), принесли этому в высшей степени религиозному народу не только политическую и военную мощь, но и культуру.

Эта культура («благосклонность богов»), в которой смешивалось человеческое и божественное, пороки и добродетели, порождала реакцию широких консервативных и ностальгирующих кругов. Они и не предполагали выяснять, кто истиннее, Марс или Христос; они взвешивали, кто сильнее: Марс был богом войны, Христос — мира. А римляне, как известно, находились в состоянии войны, даже пребывая в мире («*Si vis pacem, para bellum*» — «Если хочешь мира, готовься к войне»).

Разорение Рима, устроенное Аларихом, подорвало престиж Вечного Города как непобедимой силы. Будущее его представляло в мрачном свете.

Реакцией на утрату былого могущества объяснялись и попытка языческой реставрации, предпринятая Юлианом, который отрекся от христианства после того, как Константин провозгласил христианство государственной религией, и сопротивление интеллектуальных кругов уничтожению алтаря Виктории в курии Сената во времена Симмаха (восьмидесятые годы IV века).

Сочиняя свой шедевр «О граде Божием», Августин решал прежде всего теологические задачи, но также — нравственные и гражданские.

Он признает добродетельность героев Древнего Рима, истинных протагонистов на грандиозной политической сцене, которой, без сомнения, небеса предназначили великую историческую участь.

И он не боится обратиться к лучшей части римской души («*in-
doles romana laudabilis*»*) призыв вспомнить эту древнюю суровую добродетельность: «Вот к чему должна стремиться ты, о достохвальная римская душа, наследница Регулов, Сцевола, Сципионов, Фабрициев!» («О граде Божием» II, 29,1).

Иными словами, он хотел сказать, что это не вопрос веры — разве что в том смысле, что вера есть вдохновительница добрых нравов; что это именно вопрос нравов, от которых зависит и устройство политической жизни народа.

А нравы римлян, ныне обличающих христианство, уже далеки от нравов римлян — основателей родины. Тех, что своими необычайными добродетелями, как утверждал еще Саллюстий, совершили чудо.

* «достохвального римского нрава» (лат.).

Из пролога ко «Граду Божию» мы узнаём, что эта книга посвящена Марцеллину («моему дорогому сыну»), который когда-то попросил Августина написать ее, но успел прочитать только первые две части: казнь прервала его жизнь.

Это грандиозное обозрение человеческой истории в свете Бога Библии и Евангелия; не столько философия, сколько теология истории. Град Божий в здешнем мире «смешан» с Градом земным — до тех пор, пока не преобразуется окончательно в Град небесный. Это Церковь Христова, сердце истории, в муках рождающая своих детей, добрых и злых; старающаяся вернуть в свое лоно злых и уберечь от развращения добрых; наконец, достигающая своего апофеоза, со Христом-победителем, в последний день нашей истории.

Безусловно, непосредственным поводом для создания книги послужило разорение Рима и влияние на сознание современников его идеологических последствий, более опасных, чем политические. Но замысел «Града Божия» вызревал у Августина долгие годы. Его формировало чтение Библии, Псалмов, Евангелия, Посланий апостола Павла, произведений донатистского епископа Тикония, человека открытого, отнюдь не запальчивого; длительный опыт прений с донатистами о схизматической «Церкви чистых». В письме CXXXVIII Марцеллину, написанном в 412 году, уже намечены главные идеи великого труда.

Можно сказать, что в «Граде Божиим» Августин распространяет на всю мировую историю то исследование, которое в «Исповеди» он предпринял применительно к личному опыту отдельного человека, взяв за основу собственную жизнь. Как личная жизнь человека обусловлена двумя реальностями — благодатью и грехом, так историю всего человечества определяют Добро и Зло.

В то время как Августин, укрывшись от посторонних глаз в своей монашеской келье, накапливал идеи для осуществления грандиозного замысла, Ираклиан, военный наместник Африки, командир воинского гарнизона, наращивал наемные войска, чтобы идти с ними на Рим. Ужасы войны вновь нависли над прекрасными уделами Африки, ставшей уже более христианской, чем римской. Восстание началось весной 413 года.

Августин достаточно внимательно следил за развитием этих событий, направляемых сильными мира сего, но больше его заботили интересы истины, и поэтому еще пристальнее наблюдал

он за наползающей пелагианской ересью. Откликаясь на писание ирландского монаха о человеческой природе, в котором тот доказывал, что она не нуждается в помощи Бога, Августин дополнил уже начатые творения новым — «О природе и благодати», завершенным в 415 г.

Что же толкнуло Ираклиана на эту авантюру, которая стоила ему жизни? Империя была слаба, но, в конце концов, после того, как Аларих растоптал Рим, у кого-то появились основания заявить: «Словно ничего не произошло!». Августин и сам говорил об этом: «Быть может, Рим еще не разрушен, но только подвергся испытанию». Но Ираклиан (так говорит о нем Иероним) был жадным и жестоким. Согласно источникам, в 413 году он добился консолата, от чего немисливо возгордился; но, вместе с тем, оказанная честь навела его на подозрения: а вдруг, Двор кинул ему подачку, чтобы от него избавиться, «*promoveatur ut amoveatur*»^{*}? Рядом с ним находился его зять, Сабин, предприимчивый и хитрый, дурной советчик.

Начал Ираклиан с обычной тактики предводителей африканских мятежников — с «эмбарго» на поставки зерна. Он высадился на полуострове, чтобы сразиться с войсками Гонория, реквизируя все торговые суда большого водоизмещения, принадлежащие различным судовладельцам. Положившись на многочисленное, но разношерстное войско, он двинулся на Рим. Столкновение с императорской армией произошло в Отриколи, к северу от столицы. Воинов Ираклиана сразу же охватила паника, и они бросились врассыпную при первой же атаке противника. Если верить источникам, в этой битве погибло до пятидесяти тысяч бунтовщиков.

Ираклиан повел себя, как скрывающийся от правосудия трус, в одиночку добрался до гавани и уплыл обратно в Африку. Наемные убийцы Гонория настигли его в Карфагене, в некоем здании, которое названо в одном из источников «*aedes memoriae*»^{**}.

Итак, восстание произошло в 413 году. Во главе ратей Гонория стоял Марин, который, в награду за одержанную победу, тотчас был назначен новым наместником африканских провинций и по совместительству — помощником претора Цецилиана

^{*} «Пусть получит повышение, дабы быть смещенным» (лат.).

^{**} «Памятное здание» (лат.).

в должности уполномоченного по реорганизации имперской власти в Африке.

В этой ситуации оказались под угрозой итоги Карфагенской конференции: донатисты получили хороший шанс на их пересмотр, выступив против предыдущих властей и кафоликов, которым, как доносили донатисты, эти власти благоволили. В любом случае следует назвать двусмысленным поведение Цецилиана: Марин стал его ближайшим другом и полностью подчинил себе его волю.

Для Августина настали трагические дни. Донатисты задались целью уничтожить двух главных врагов, трибуна Марцеллина и его брата Апрингия. Первый был председателем на памятной Конференции, второй — проконсулом в 411 году. Марин распространил свою неприязнь к Ираклиану и на Марцеллина.

Еще в 412 году, когда мятежник только приступил к антиимперским действиям, Равенна объявила Ираклиана «врагом общества», и всем и каждому было дано право доносить на его «сателлитов». Обоих братьев задержали и бросили в тюрьму; недруги требовали предать их смертной казни за измену.

Епископ Гиппонский пустил в ход все свое влияние и авторитет, чтобы спасти их. Он сам поехал в Карфаген умолять Цецилиана о немедленном освобождении братьев из-под стражи. Цецилиан обещал свое содействие и посоветовал Августину обратиться за поддержкой ко Двору. В Равенну были направлены епископ и диакон.

Поскольку на Марцеллина возводили всяческую напраслину, причем клевета коснулась и его личной жизни и нравственности (говорили, что он изменил жене с другой женщиной), Августин, который ни капельки не верил этим наговорам, решил посетить его в темнице, где рассчитывал получить из первых рук верные сведения и принести узнику утешение. Трогательный рассказ об этой встрече еще больше возвышает Августина как священнослужителя и друга. «Так как подобные прегрешения обычны между людьми, меня это беспокоило; говоря об этом с глазу на глаз с Марцеллином, пребывающим в узах, я спросил его, нет ли за ним какого-нибудь греха, для искупления которого в очах Божиих потребовалось бы сугубое, особое покаяние. Тогда он, человек стыдливости необычайной, покраснел, выслушав переданное мне подозрение мое, хоть и было оно ложным.

Все же он принял мое увещание с крайней благодарностью. Затем, с улыбкой, важной и кроткой, взял мою правую руку в ладони свои и сказал: «Клянусь таинствами, которые преподавала мне рука эта, что никогда не соединялся я ни с одной женщиной, кроме жены моей, ни до, ни после заключения брака» (Письмо СLI, 9). Опять же по словам Августина, когда Апрингий, человек мира сего, стал утверждать, что сам-то он, возможно, заслужил это испытание, но не понимает, за что терпит его Марцеллин, всегда отличавшийся примерным поведением, последний ответил такими прекрасными словами: «Если истинно доброе свидетельство твое о моей жизни, неужели, по-твоему, Господь не благоволит мне? Бог привел вынести эти страдания с тем, чтобы, даже если доведется мне пролить всю мою кровь, я мог здесь, на земле, искупить грехи мои, дабы не остались они на мне на грядущий суд» (там же).

Меж тем как происходили эти события, пришло известие о помиловании, которое равеннский Двор даровал братьям по ходатайству посланцев кафолического епископата. От этого известия, предвосхитившего возвращение двух доставщиков императорского указа, возликовало сердце Августина. Но радостная новость обернулась жестокой насмешкой. Весть о неожиданном исполнении приговора в отношении Марцеллина накануне праздника св. Киприана, 13 сентября 413 г., была приправлена особой горечью из-за совсем недавней, мимолетной радости о его освобождении. Да, Марин предупредил прибытие документа о помиловании и, после поспешного суда, велел казнить братьев. Донатисты ликовали. Не стоит сбрасывать со счетов разъяснения историка Горозия, который утверждает, что Марин был ими подкуплен.

Августин отреагировал бурно, протестуя, дал резкую отповедь Марину, на котором, по его мнению, лежала ответственность за самое настоящее преступление. Его недвусмысленное «я обвиняю» свидетельствует о том, с какой внутренней свободой он обличал могущественных попирателей справедливости.

Он сразу же отбыл из Карфагена, чтобы ненароком не встретиться с преступником, и вернулся в Гиппон, где, в скорбном безмолвии, предался молитвам, чтению и писанию.

Наверно, беспокойно было на совести у Цецилиана, тем более, что его связывали дружеские отношения с Августином, явно обманувшемся в своем доверии претору.

Цецилиан написал Августину, жалуясь на его холодность и на то, что больше не получает от него писем. Августин ответил длинным посланием, перечнем печальных событий, который стал развернутым доказательством нравственной чистоты Марцеллина, как человека и магистрата, и приговором поступку Марина. Пока ситуация не подошла к развязке, Августин, чтобы не вызвать противоположную реакцию, действовал осторожно, вел себя с властями, как умоляющий проситель; но теперь он выкладывает все карты на стол, с уверенностью, основанной на знании, говорит о лицемерии и рассчитанных ходах. Он не лишает Цецилиана своей дружбы — но при условии, что тот оборвет дружеские отношения с Марином или убедит его покаяться за свое низкое злодеяние. Марин нанес Церкви рану в самое сердце, — той Церкви, которая столько раз выступала в защиту своих недругов, добиваясь для них отмены смертной казни. И вот теперь, заступаясь за своего безвинного сына, она, как оказалось, не заслужила, чтобы ее выслушали. Августин вменяет в обязанность Марину преклонять колени всякий раз, когда ему доведется упоминать о Марцеллине. Цецилию же епископ Гиппонский напоминает, что его дружба с Марином, их долгие разговоры наедине, его неоспоримая осведомленность о закулисных интригах, заверения в том, что обращения Августина к Марину непременно принесут пользу, а также намеки на то, что он, Цецилий, в состоянии, в случае чего, изменить в положительную сторону решение Марина, — все это побуждает многих подозревать его в пособничестве преступнику. И пусть теперь он найдет способ эти подозрения рассеять (ср. Письмо CLI).

Пришло время горевать и Марину: он был отстранен от должности и отозван из Африки императорским эдиктом от 20 мая 414 г., после чего удалился от общественной деятельности. Разумеется, его поступок не вызвал одобрения при Дворе.

Марцеллина, увы посмертно, публично реабилитировали. Церковь чтит его святость и мученичество.

АСКЕТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ

Времена года сменяли друг друга в изобильных провинциях римской Африки, которые все еще оставались твердой опорой зашатавшейся Империи: долгие, опаленные солнцем лета, короткие, залитые ливнями зимы; им сопутствовали политические столкновения, пока не переходящие в военные, религиозные споры, старые и новые, и — радость в дни праздников, религиозных и светских, труд на плодородных полях, где золотятся спелые колосья, хоровое псалмопение в многочисленных монастырях.

К мужским монастырям добавились женские. За их организацию взялся Августин. В одном из них, гиппонском, настоятельницей была его сестра-вдова, по преданию носившая имя Перпетуя; в том же монастыре спасалась его племянница. Аскетический идеал был тот же, что и в мужских монастырях: умственные занятия, созерцание и физический труд.

До нас дошло весьма знаменательное письмо ССХІ Августина монахиням. Чтобы лишний раз убедиться, что некоторые особенности человеческого поведения вечны (даже если эти люди — монахини) и что этот основатель киновий отличался удивительным человеколюбием, следует узнать о причине, побудившей его направить монахиням письмо: в одной обители из-за выборов новой настоятельницы разразилась большая ссора, которая переросла в бунт. В начале послания Августин разъясняет, почему предпочел не встречаться с монахинями в монастыре, несмотря на их настоятельные просьбы о личном вмешательстве епископа. В их монастыре он не появился им в наказание: «Как же мог я оставить безнаказанным столь опасный бунт, который стал бы еще опаснее, окажись я между вами?».

Августин показывает себя хорошим знатоком психологии женщин (даже если они монахини), когда те затевают свару. Размышляя о том, сколько добрых дел может совершить женский монастырь («малая мера закваски») и приходя к печальному

выводу, что в данных обстоятельствах «закваска» не евангельская, а настоящий источник брожения, т.е. беспорядка и раздоров, он признается, что их поведение лишает его «того малого отдохновения, которому мог я предаться посреди всевозможных бурь, сотрясающих мое сердце».

«Привык я радоваться о вас, утешаться, думая о вашей многочисленной общине, о вашей целомудренной любви, о святой вашей жизни: кто только вас околдовал?»

«Что за бедствие! Радуюсь о донатистах, возвращающихся в лоно единой Церкви, принуждены мы горевать о расколах внутри монастыря!»

Августин напоминает им о добрых делах настоятельницы Фелициты: за долгие годы ее правления насельницы возросли и в духе, и в числе. Видимо, настоятельница находилась в почтенном возрасте: Августин замечает, что все нынешние затворницы, поступая в монастырь, обнаруживали ее уже там — или как ученицу «святой игуменьи, сестры моей» или как приступившую к своим обязанностям настоятельницу. Епископ относится к ней с большим уважением.

Конечно, кто-то натравливал монахинь на матушку. Кто же? Не кто иной, как священник, призванный духовно окормлять их. Звали его Рустик, и, судя по тому, что пишет Августин, таким он и был по сути*. Августин определил, что именно этот Рустик, замысливший внести в жизнь монастыря известные нововведения, стал причиной разногласий. Свое служение при обители он начал недавно: «Он здесь новичок, и уже настраивает вас против матушки вашей! Не попросить ли вам лучше его самого перемениться?» Но Рустик клялся, что он совершенно не при чем и что готов отказаться от этого служения, чтобы не давать повода для сплетен.

Одно из предыдущих писем, СХ, Августин адресовал обоим — и Фелиците (настоятельнице), и Рустiku — призывая их к терпению и братскому примирению.

Письмо СХI, к которому прилагается монашеский Устав Августина, задавало немало работы исследователям: им надлежало определить, предназначалось ли это правило монахиням и лишь впоследствии было воспринято монахами, или наоборот. Боль-

* «Rusticus» по-латыни «грубый, неотесанный» (прим. перев.).

шинство специалистов в наши дни полагает, что Августин написал первую редакцию Устава для монахов, а затем отдал его для ознакомления монахиням*.

Хотя выше мы говорили о женских обителях в связи с весьма «приземленным» эпизодом, на который Августин откликнулся двумя письмами, следует сказать, что это духовное направление получило развитие во времени (такие популярнейшие святыне, как Рита да Каша и Кьяра да Монтефалько были августинскими монахинями) и уже в нашу эпоху, кроме традиционной монастырской, обрело форму женских конгрегаций, ведущих деятельную и миссионерскую жизнь.

Августинские затворницы: в монастырях Каша и Монтефалько в Умбрии; в обители Леччето близ Сиены, где стены пятнадцатого века, укрывшиеся в густом лесу, дышат аскезой; в первохристианском монастыре Четырех Святых в Риме, похожем на крепость; в другом римском монастыре, Св. Люции в Сельчи; немало их и в иных обителях, рассеянных по Италии и другим странам; новые побеги пускают корни в Африке, в миссионерских землях.

Восьмидесяти-девятистолетние монахини, словно лампы, долго не угасающие, прежде чем раствориться в ином свете..., и невесты Христовы, пришедшие последними, юные и красивые; в их добровольном затворничестве любви ради есть что-то от юродства или чуда; они деятельны, современны, играют на гитаре, пишут, рисуют веселые комиксы — только бы найти общий язык с людьми нецерковными и рассказать им о той любви, которая вдохновляла Августина и которая соединяет с Христом.

Волна воодушевления набегае на эти суровые стены, за которыми нет места злополучному падению числа постриженниц.

«Пой и иди», — напутствует Августин.

Переписка Августина свидетельствует о том, что он поддерживал духовную связь и с глубоко религиозными женщинами, живущими в миру. Некоторых из них выгнал из Рима в Африку смерч, поднятый Аларихом.

Аниции, семейство сенаторов и магистратов, имели обширные владения в Африке. Аниция Флатония Проба, после разорения

* Cp. A. Trapé, Sant'Agostino. La regola, Ancora, Milano 1971.

Рима, прибыла в Карфаген с невесткой, Юлианой, вдовой старшего сына Пробы Голибрия, и с внучкой Деметриадой. От Иеронима мы знаем, что Ираклиан наложил дань на беженцев, причем особенно дорого обходилось пребывание в Африке женщинам. Проба заплатила за всех попугчиков. Ей Августин направил письмо СХХХ о молитве; молодой вдове Юлиане посвятил книгу о благе вдовства, которая, вместе с двумя произведениями о благе супружества и о девстве, образует замечательную трилогию. В коротком, но чудесном письме СL Августин благодарит Пробу и Юлиану за известие о том, что Деметриада, соответственно внучка и дочь благочестивых женщин, посвятила свое девство Богу и стала постриженницей епископа Карфагенского Аврелия: «Великое и славное дело — оставить след в веках благодаря достоинству своего имени, но сколь же значительнее и благороднее — провести жизнь в чистоте сердца и тела! И несравнимо славнее, что от семьи вашей Христос избрал Себе девственных жен, чем если бы Он награждал мужчин ваших консулатом!».

В Тагасте, также после разграбления Рима, поселилась знатная Альбина, с дочерью Меланией и ее мужем Пинианом. Они упрашивали Августина хотя бы недолго погостить у них. Тагаст не слишком далеко от Гиппона.

Стояла зима, холодная и дождливая. В письме СХХIV Августин с сожалением отвечает, что не может насладиться этой радостью, несмотря на все свое желание. Холод вреден ему, из-за хрупкого телосложения и слабого здоровья. Нет, он никак не может приехать. Есть и другая причина. Он только недавно вернулся в Гиппон из пастырских поездок. По возвращении увидел, что все весьма недовольны его отлучкой. Жители Гиппона (нам в точности неизвестно, по какой причине, — возможно, потому, что опасались нападения варваров или из-за столкновений в городе между кафоликами и донатистами) переживают тяжелые времена. К тому же, многие лежат дома в горячке и напоминают своему епископу слова апостола Павла: «Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал?». Да еще донатисты пытаются отвратить от Августина и тех, кто, как он полагает, относится к нему с любовью. Действительно, время непростое. Если бы оно скоро миновало... А может быть, они сами — Альбина, Пиниан и Мелания — пожелают почтить Гиппон своим присутствием? Но достоин ли этого Гиппон? (ср. Письмо СХХIV).

Августин хорошо сделал, что не поехал! Потому что эта самая Альбина оказалась изрядной болтуньей и доставила ему неприятности. Пиниан был богат и довольно щедро благотворил бедным. Гиппонские бедняки выбрали его себе в священники (вполне может показаться, что гиппонцы не совсем бескорыстны...). Августин объяснил, что не может назначать кого бы то ни было священником против его воли, а Плиниан предупреждал епископа, что покинет Африку, если только ему навяжут священство в Гиппоне. И вот Альбина стала распространять слух, что гиппонцы хотят украсть у нее зятя, чтобы присвоить себе его денежки. Августину пришлось вмешаться. Прежде всего он заверил всех, что гиппонская Церковь не нацеливается на кошелек Плиниана, а затем объяснил епископу Тагастскому Алипию, что в действительности Пиниан поклялся без принуждения и в письменном виде, что хочет остаться в Гиппоне, хотя впоследствии покинул его. И, чтобы закрыть уста многоречивой Альбине, Августин отправил Алипию подлинную копию письменного заявления Пиниана (ср. Письмо CXXVI).

Только подумай, дорогой читатель, в какие мелкие дразги приходилось вникать столь великому уму, столь авторитетному епископу, автору «Града Божия»!

Времена года сменяли друг друга, стремительно бежали дни. В Африке, полной проблем. В Африке, укутанной в жаркое безмолвие пустынь, дремлющих под неустанное пение цикад и сверчков...

ОТВЕТ ИННОКЕНТИЯ

В карфагенском правительственном дворце появился новый имперский уполномоченный с многообещающим именем — Дульциций*. Епископа Гиппонского, который много имел дел с проконсулами, уполномоченными, начальниками военных гарнизонов, и обладал известной склонностью к распознаванию знаков, это имя обнадежило.

Каждый новый представитель Империи, получивший назначение в Африку, будь то кафолик, арианин или полуварвар, спешил познакомиться с Августином, придавая исключительное значение этой встрече, словно для того, чтобы официально вступить в должность, ему надлежало представить епископу Гиппонскому свои верительные грамоты. Очевидно, не стал исключением и Дульциций. И между ними возникли сердечные отношения. Ему Августин посвящает трактат «О восьми вопросах Дульцицию», а для его брата Роберта пишет «Энхиридион», трактат о «Вере, надежде и любви».

Донатистов стало меньше; убавилось у них и спеси. Некоторые сделали то, на что прежде не решались, опасаясь мести со стороны бывших единомышленников — вернулись в единую Церковь. Но циркумцеллионы, которым разбой был милее, чем вера, вновь заявляли о себе, напоследок нанося мощные удары. Все еще действовали имперские законы, благоприятствующие религиозному единству, с которым связывался общественный порядок. Они чем-то напоминают наши теперешние законы, направленные против терроризма, против мафии... Нет ничего нового под солнцем.

Эти законы не очень нравились Августину. Он твердо полагал, что человека должно приводить к вере убеждение, а не принуждение.

* *Dulcitas* (лат.) — нежность, кротость.

Скорее даже неточно, чем несправедливо утверждать, что «государственная полиция» стала использоваться для подавления ереси или язычества по инициативе Августина, будто это он придумал прибегать к помощи светской власти в подобных случаях. Много раз Августин пытался найти взаимопонимание с донатистами (они не отвечали на его письма и выбрасывали их, не читая), но с каждым днем все больше преступлений совершали циркумцеллионы, все острее критиковали епископа Гиппонского за податливость братья и представители государства. Только после всего этого он неохотно согласился присоединиться к требованиям применить закон. Он выступал не за репрессии, а за порядок и за неприкосновенность жизни граждан, за свободу самих донатистов, многие из которых примыкали к схизматикам только из страха. Был против преступности. А когда, в результате справедливого применения закона выносился приговор, Августин выступал категорически против смертной казни и пытки и всегда стремился смягчить любое наказание. Целью же наказания считал исправление виновного. Он говорил: «Церковь не отнимает у вас свободу, наоборот, она дает вам всякую свободу, в том числе, если вам это будет угодно, свободу вести себя дурно». Он считал чем-то само собой разумеющимся, что государство должно создавать для граждан условия, при которых они чувствуют себя в безопасности и, если понадобится, — обескураживать злоумышленников угрозой справедливого наказания и склонять, насколько возможно, к приятию того, что справедливо, истинно, благо, но вместе с тем утверждал, что, в конечном счете, не гражданского и временного наказания должно бояться совести человеческой, а Божьего и вечного. Тот, кто «пропустил через сито» пять с половиной миллионов слов, употребленных Августином для изложения своих основных взглядов, извлекает из «просеянного», в частности, такие выводы: поиск истины — долг человека; отношения между одним и другим человеком должны основываться на терпимости, любви, прощении; сам Августин проводил в жизнь и религиозную терпимость, не гнушаясь дружбой с язычниками и еретиками; наконец, если бы он жил в наше время и принял участие во II Ватиканском соборе, то голосовал бы за эдикт о «религиозной свободе», конечно, без разбоя.

Первое, что сказал он имперскому уполномоченному Дульцицию: «Никакой закон не дает тебе власти над жизнью и

смертью, ни один императорский эдикт не предписывает отправлять схизматика на казнь» (Письмо CCIV, 3). Один из видных схизматиков, епископ города Тамугади, оплота донатистского сопротивления, пригрозил предать себя смерти в знак протеста, в ответ на что Дульций написал ему: «Знайте, что смерть, которую вы примете, будет вами заслужена». Августин обратил его внимание на двусмысленность этого выражения: «По их толкованию, оно означает, что ты угрожаешь им взятием под стражу и убийством, а вовсе не говоришь о смерти, которой они сами хотят себя предать» (там же).

Вот подлинная мысль Августина: «Никогда не дозволено убивать другого, даже если он хочет этого и просит об этом и даже если не в состоянии больше жить...; или такого, который, повиснув между жизнью и смертью, умоляет, чтобы ему помогли освободить душу, жаждущую отделиться от тела, рвущуюся из его уз» (там же). Разве не кажется, что эти слова извлечены из какой-нибудь сегодняшней дискуссии об эвтаназии?

Несколькими годами раньше, в письме Македонию, другому африканскому управителю, Августин размышлял о ролях соответственно гражданского судьи и кафолического епископа: «Ваша строгость приносит пользу; от нее поддержка и нашему спокойствию; но не менее полезно и наше ходатайство, смягчающее суровость вашу» (Письмо CLIII, 19). Послание Македонию вполне могло бы стать «открытым письмом» Августина нынешнему работнику суда.

Милосердие как позиция неотъемлемо от нашего епископа и глубоко проникло в его образ мыслей. Еще в 408 г., в письме проконсулу Донату, он пригрозил подвергнуть бойкоту государственное правосудие: «Разбирая тяжбы, касающиеся дел Церкви, помни, что никто, кроме лиц духовных, не правомочен выступать с обвинениями. И если вы решите за подобные вины приговаривать к смертной казни, это отвратит меня от предания виновных вашему суду; тогда принуждены мы будем скорее погибнуть от рук их, чем предавать их судам вашим и подстрекать к казням!» (Письмо C, 2). Знаете, чем ответило государство на этот ультиматум? Законом, который появился в следующем же, 409 году! Этот закон благословлял бесконтрольное доносительство, соглядатайство для государства якобы в интересах религии: «Не только духовные лица, но и кто угодно может обличать пре-

ступные насильственные действия, причиняющие ущерб официальной религии» (январь 409 г.). Вот что получается, когда правящий режим принимает слишком близко к сердцу религиозные проблемы!

Достаточно одного этого факта, чтобы понять, с какими трудностями столкнулся Августин и до сих пор сталкивается Церковь, когда государство вмешивается в дела религии, но не из любви к ней, а для того, чтобы использовать ее в своих интересах. Оно обзаводится доносчиками, соглядатаями, осведомителями; главное — держать под наблюдением все, что может угрожать его безопасности.

Однажды, в 415 году из Сиракузы в Гиппонскую епископию пришло письмо для Августина. Отправил его Иларий, не епископ, не священник, не диакон — мирянин, который искренне любил кафолическое учение. «Верно ли, как утверждают некоторые христиане здесь в Сиракузе, что человек может быть без греха и может без труда соблюдать заповеди Божьи, только своим хотением?» (Письмо CLVI). Таково было учение Пелагия, ирландского монаха, который своим аскетизмом уже «катехизировал» нескольких влиятельных римских прелатов (и в частности, будущего папу) и который, покинув столицу после ее разорения, теперь странствовал по миру и основывал там и сям свои общины новоначальных.

Августин, встревоженный не на шутку, заметил, как непомерно далеко высунулась змея из своего логова, и подверг анализу составляющие ее яда.

Как мы помним, он мельком видел Пелагия в Карфагене, в 411 году, ближе к концу Конференции. «Я услышал это имя, когда он еще пребывал в Риме», — говорит Августин. — «Его много хвалили. Потом явился слух, что сей выдвигает доводы против божественной Благодати. Это весьма огорчало меня (а я не мог не верить передававшим мне это), но я хотел иметь какое-нибудь свидетельство от него лично, или какое-нибудь его сочинение... Затем прибыл он в Африку, приплыл в Гиппон во время моего отсутствия, и, как сообщили мне, не делал никаких заявлений подобного рода, и в какой-то немыслимой спешке покинул город. Уже в Карфагене, насколько помню, я видел его раз или два...» («О публичном изложении мнений Пелагием» XXIII).

Вначале Пелагий и Августин обменялись письмами. Пелагий расточал собеседнику безудержные хвалы. Августин, ознакомившись с этими комплиментами, в своем ответе уже полемизирует с некоторыми положениями из письма монаха: «Лучше, прошу тебя, помолись обо мне, чтобы Господь сделал меня (Своею благодатью) таким, каким я, как ты полагаешь, уже стал». Августин любезен, он называет Пелагия «желаннейшим братом». Очевидно, это дало Пелагию повод щегольнуть перед Отцами Диоспольского Собора (20 декабря 415 г.) коротенькой запиской (ср. Письмо CXLVI), призванной засвидетельствовать чистоту его веры: «Я знаком с Августином», — сообщал он, — «и Августин меня ценит».

Когда впоследствии это обращение «желаннейший брат» поставили в упрек Августину, он отвечал так: «И в самом деле, если бы вы знали, сколь желанным был он для меня! Мне так хотелось поговорить с ним с глазу на глаз, чтобы все ему высказать...» (ср. издание аббата Миня, Письмо CXLVI, примечание).

Августин хорошо знал, что в римских гостиных Пелагий весьма нелестно отзывался о его «Исповеди» и высмеивал молитву, которую он, как вопль, возносил к Господу: «Дай нам то, что Ты повелеваешь, и повелевай нам то, что ты хочешь». Об этом рассказывает сам Августин в своем сочинении «О даре постоянства в добре» (XX, 53).

Но в чем же, собственно, состояло учение Пелагия? Главное в нем — отрицание первородного греха и его последствий. Пелагий утверждал, что нет нужды в Благодати, т.е. в помощи, которую Бог по любви к человеку постоянно подает ему, побуждая его к добру и давая силу устоять в добре. Кроме того, он говорил, что в понятии Благодати можно различить естественные свойства человека, такие, как ум и воля. Грех Адама был его личной виной; этот грех не привел к отсутствию у потомков каких бы то ни было естественных и сверхъестественных даров; предлагалось считать, что это не более чем дурной пример, поданный нам не слишком осмотнительным прародителем. Соответственно, и искупление Христово — не более чем «добрый пример», попытка растолкать разленившуюся человеческую природу, которая, впрочем, способна пробудиться и спастись своим «волюнтаризмом», без всякого божественного вмешательства. В общем, Пелагий — предшественник Руссо: человеческая природа есть нечто нетронутое, берегись общества, разрушающего ее!

В самом деле, оба они превозносят природу, говорят, что достаточно одной природы, и никакой помощи от Бога не нужно, ибо человек здоров...

Реакцией на оптимизм Руссо стал садизм, термин, которому дал имя маркиз де Сад, решивший любыми способами продемонстрировать, какое удовольствие доставляет похоть мучать себе подобных. Сад и Ницше, подвергающие осмеянию все и всяческие этические принципы, стоят у истоков известных издевательств над человеком, которые совершались сверхчеловеками, — во имя все той же общей природы, глянувшей звериным ликом из-за отказа от Бога.

В общем, нечто похуже донатизма; груда противоречий с учением Библии, Евангелия, апостола Павла. Недаром Августин говорил об этой ереси: «Только возникла и уже — лес густой!» («Изречения Пелагия»).

Близким сотрудником Пелагия был блестящий юрист Целестий, своим живым словом околдовывавший епископов и священников. Даже Павлин из Нолы, святой человек, несмотря на крепкую кафолическую закваску, обретенную в общении с Амвросием, весьма дорожил дружбой с Пелагием и не мог разглядеть его заблуждения (ср. Письмо CLXXXVI, 1, 2—3).

Августин, вступая в борьбу с той или иной ересью, всегда стремился прежде всего хорошо с ней познакомиться. Два весьма разумных юноши, Тимазий и Иаков, послали ему книгу Пелагия «О природе». Ограничься Пелагий рассмотрением вопросов экологии, его бы сейчас считали благодетелем. Но это не был экологический трактат! Августин ответил сочинением «О природе и благодати» и приступил к изготовлению оружия для решительной битвы с сочинениями Пелагия.

О каком аскетизме могла идти речь применительно к Пелагию, хоть он и выставлял себя аскетом? Благодать Божия была ему не нужна; еще меньше нуждался он в молитве, чтобы снискать ее, ибо, коль скоро в благодати нет нужды, зачем просить о ней? Откуда взяться вожделению чувств, если оно проистекает из первородного греха, а это происшествие — сугубо личное дело Адама? Что же это за аскетизм? Может быть, небольшая доза йоги для сосредоточения воли? Этого ему вполне бы хватило. Однако внешность Пелагия действовала безотказно...

И вот монах-еретик оказался в Иерусалиме вместе с епископом Иоанном. Но рядом с Иерусалимом был Вифлеем, а в Вифлееме — Иероним, далматинский лев, рыкающий на Пелагия.

Тем временем в Гиппон, к Августину, приехал из Испании редкого ума молодой монах по имени Горозий. С первого взгляда Августин понял, из какого он сделан теста, дал ему необходимые наставления и послал в Иерусалим в качестве своего официального представителя. Сначала Горозий встретился с Иеронимом, затем пошел к епископу Иоанну и вкратце напомнил ему азбучные истины христианства. Иоанн был вынужден созвать собрание иерусалимского клира в июле 415 года. Горозий сообщил на нем о решениях карфагенской Конференции 411 г. и изложил учение Августина. Услышав это имя, Пелагий резко вскочил со своего места: «Августин? Что у меня общего с Августином?». Неосторожное, как оказалось, высказывание, поскольку собрание отреагировало весьма бурно. Иоанн взял на себя ответственность за слишком смелую фразу, выкрикнув: «Я Августин!». Горозий не растерялся: «Если ты берешься быть Августином, следуй его учению!». Неразберихой и всеобщим смущением завершилась эта встреча.

Тем временем два епископа из Галлии, Эрос и Лазарь, прибывшие в Палестину, как паломники, и также принимающие близко к сердцу проблему правоверия, составили перечень наиболее опасных положений Пелагиева учения и передали его уже не епископу Иоанну, который явно находился под влиянием ирландского монаха, а митрополиту Евлогию Кесарийскому. Последний созвал синод из четырнадцати епископов в Диосполе. К несчастью, в отсутствие Горозия, который вернулся в Африку, чтобы рассказать Августину об итогах поездки, в отсутствие двух галльских епископов (один из них заболел, а другой его выхаживал), Пелагий легко вывернулся, применив всяческие уловки. Он положил перед отцами синода документы, свидетельствующие о высокой оценке его персоны целым рядом епископов, включая Августина; ловко отмежевался от учения Целестия и, торопливо исповедовав правоверие, не только избежал наказания, но и получил подтверждение своей принадлежности к кафолической общине 20 декабря 415 г.

Между тем, африканские епископы, встревоженные известиями, которые привез с Востока Горозий, поспешили подкрепить

решения синода 411 года двумя новыми соборами: один прошел в Карфагене летом 416 г. при участии шестидесяти девяти епископов, другой состоялся через некоторое время в Милеве при участии шестидесяти одного епископа. Первый из них направил папе Иннокентию I письмо с изложением ошибок Пелагия и соответствующие акты; второй послал по тому же адресу другое письмо, составленное Августином. Но из опасений, что Пелагий может обратиться за поддержкой к многочисленным римским друзьям и с их помощью избежать окончательного осуждения, было передано папе третье письмо, подписанное епископами Аврелием, Августином, Алипием, Эводиєм и Поссидием. «Добросердечие ваше простит нас за это письмо, быть может, более пространное, чем желало бы Ваше Святейшество. Мы не рассчитываем своим тлеющим огнем пополнить источник ваших светильников. Но в эти дни искушения, от которых мы молим избавить нас Того, Кому говорим: «Не введи нас во искушение», мы хотели лишь узнать суждение ваше: исходит ли пламя в наших светильниках от того же источника, от которого вам подается в таком изобилии? Все, чего мы желаем — ваше одобрение и утешительный для нас ответ: что нас объединяет приобщение к одной и той же Благодати» (Письмо CLXXXVII, 19).

В своем ответе Иннокентий дал ясно понять, что берет сторону Августина и его единомышленников против Пелагия и Целестия. Папу обрадовало, что епископы признают первенство Апостольского Престола, «...что в вопросах сомнительных вы спрашиваете, каким путем следовать...» (Письмо CLXXXII, 2).

Иннокентий написал отдельное письмо пяти авторам частного послания и другое — Аврелию и Августину. Узы братского общения между Римом и христианской Африкой были крепкими и любвеобильными.

Августин внимательно прочитал послания первосвященника и возвеселился. Но, помня об изощренной изворотливости Пелагия, он не мог избавиться от беспокойства. 23 сентября 416 года в Карфагене, у гробницы св. Киприана, Августин произнес проповедь о пелагианской ереси: «Спасает нас Благодать, она — дар Божий, и не от нас исходит!». Радостно объявил: «В связи с этим делом были направлены Святому Престолу решения двух соборов. Теперь оттуда прибыли окончательные суж-

дения. Дело закончено! Дай Бог, чтобы кончилось и заблуждение» (Проповедь СXXXI, 6).

Формула Августина, слегка видоизмененная, осталась, как аксиома, в юридическом жаргоне: «*Roma locuta, causa finita est!*» («Рим высказался, дело закончено»).

Но неожиданно ситуация как будто вновь стала неопределенной. В 417 г. умирает Иннокентий, и его преемником становится Зосима. Пелагий посылает ему яростные протестующие письма, Целестий у ног папы молит о снисхождении, находя доводы в свою защиту. Зосима колеблется, отправляет африканским епископам укоряющее послание. Они действовали чересчур поспешно и теперь должны в течение двух месяцев явиться в Рим, чтобы обосновать обвинения, выдвинутые против Пелагия. По мнению нового папы, спешка и чрезмерная решительность в осуждении Пелагия свидетельствовали о невоздержанности обвинителей.

Впрочем, даже такая, нечеткая, позиция папы вызывает у Августина только уважение и никак не возмущение. В конце концов и Зосима, лучше рассмотрев дело, увидит, на чьей стороне правда и присоединится к приговору, вынесенному его предшественником Иннокентием. И тогда пелагиане набросятся уже и на папу, и на Августина.

Трудная задача примирить две свободы — человеческую и Божью. Но как может существовать человеческая свобода без Божьего почина, от которого берет начало всякое благо? Вопрос, действительно, сложный, на грани тайны, а пелагиане хотели упростить его и упростили до ереси. Августин нащупывает истину об этой богословской головоломке в длинных рассуждениях, а иногда — в сжатых фразах, которые подобны стрелам, летящим в самую цель. Не всегда он поражает ее с первого раза, ему приходится поправлять себя. Нельзя понять по одной фразе, что он хочет сказать, нужно попытаться прочесть его мысль с самого ее зарождения, с того мига, когда стрела срывается в полет, и уяснить, что на самом деле ему открывается и что он имеет в виду. У него — свой личный опыт: он грешил в своей свободе и избавился от греха только Благодатью, которая возвратила ему свободу блага*.

* Cp. E. Gilson, *Introduzione allo studio di S. Agostino*, p.183.

В спор с епископом Гиппонским вступил и блестящий апулийский епископ Юлиан Экланский. Этого молодого человека, выросшего в семье кафоликов, друзей Августина, епископ Гиппонский очень любил. Приняв учение Пелагия, Юлиан осыпает Августина оскорблениями: «Ты убогий негр, сын пьянчужки!». Тот отвечает: «Не цвет кожи, а благие доводы разума помогают в решении запутанных вопросов...».

Это будет продолжаться до 428 года. Потом в Галлии появились сторонники «среднего пути», лупелагиане». А потом... потом... великая проблема никуда не исчезает и даже разрастается, выходя за пределы теологии, проникая в души, в философские системы, в «почему» человеческих драм — и так до сего дня; не исчезнет она и завтра — тайна Благодати и Свободы. Августин не задавался целью объяснять тайны. И его раздумья перельются в опыт Екатерины Сиенской, Иоанна Креста и Терезы Авилльской, изучавшей Августина и благоговевшей перед ним; в философию современных мыслителей, таких, как Паскаль и Кьеркегор.

Теологи и философы (Цицерон уверял, что «нет на свете такой чуши, которую бы не сказал философ»; но и теологи не отстают...); люди Церкви и светские мыслители, еретики, создатели новых теорий, — все пустились наперегонки, истолковывая, часто весьма субъективно, его мысль. И естественно, ближе всех подошло к ее пониманию Церковное Предание.

Присутствие и влияние Августина ощутимы в культуре каждой эпохи, вплоть до нашей, настолько, что, перифразируя Евангелие, его можно сравнить с добрым солнцем и добрым дождем, которыми Отец небесный одаряет и праведных, и неправедных.

В своей недавней книге «Тьма и благодать» Симона Вайль вновь выводит на передний план, в обнаженной и увлекательной форме, исполненной напряжения и лирической силы, эти драматические размышления над крайностями удела человеческого, отношениями между Богом и человеком, между добром и злом, между *грузом телесного* (la pesanteur, силой, влекущей прочь от Бога) и Благодатью.

Бог и человек: два языка, одна грамматика. Перевод с одного языка на другой вполне возможен. Связь, соединяющая их, это *тайна*; она не только не затемняет *очевидность*, но изливает свет, который увенчивает эту очевидность дивным сиянием.

Проблема становится менее неразрешимой, если принимать со смирением тайну, точнее — любовь. С таким смирением мы принимаем слово Иоанна: «БОГ ПРЕЖДЕ ВОЗЛЮБИЛ НАС!».

«Бог... всегда любит нас первым», — в этом все дело. А как же свобода человека? Ну конечно! Эта любовь и создает ее, говорит Августин. «Вот груз, который влечет за собой, вот наш закон тяготения!»

СТЕНКА НА СТЕНКУ

Возможно, Зосиму мучала совесть после того, как он устроил взбучку Августину; может быть, Папа понял, что допустил оплошность, и в ту ночь не спал. Не спал и думал, как исправить положение. Не собирался ли он произвести Августина в кардиналы? Правда, не исключено, что кардиналов тогда вообще еще не было, хотя св. Иеронима изображали в красной кардинальской шапочке. А к тому же, Августин не согласился бы на это предложение. Он ведь поклялся гиппонцам: «Ничто на свете не уведет меня от вас!».

И вот Зосима решил поручить ему особую миссию — отправиться в качестве папского легата в Кесарию Мавританскую. Какое конкретное поручение должен был выполнить Августин? Мы не знаем. Эпизоды поездки, о которых рассказывает сам епископ Гиппонский, нам весьма интересны, но они вряд ли имеют отношение к полученному заданию. Какое-то поручение Зосима, конечно, выдумал, но истинный повод для почетной «командировки» (желание в дипломатичной форме попросить прощения у великого епископа Божия) он оставил при себе.

Это было долгое путешествие, как обычно — на мулах, под нещадным июльским солнцем. 418 лет Христу, 64 — Августину. Его сопровождали Алипий, Поссидий и другие епископы.

«Катерва»*!

Кесарийская «катерва» была трагической, но чуть ли не священной игрой. Все жители высыпали на площадь, главную городскую площадь. Выстраивались в две противостоящие шеренги и начинали кидаться камнями — друзья, родственники, братья, отцы, дети, причем вставали как попало, кто куда попадет...

«Катерва» представляла собой ежегодное праздничное действо, такое, как, например, «палио» в Сиене: фольклор и приман-

* Обычное значение этого латинского слова (*caterva*) — «толпа», «отряд», «полчище» (прим. перев.).

ка для туристов. Каждый год она проводилась в определенный день и продолжалась несколько дней без перерыва. Племенной обряд, унаследованный от далеких предков.

«*Dulce et decorum est pro patria mori!*», говорили римляне: «сладостно и почетно умереть за родину». Но для кесарийцев сладостнее и почетнее было умереть в игре. Судя по всему, после таких игр население города и в самом деле намного сокращалось.

Увидев это вооруженное противостояние, Августин содрогнулся. Кровавые зрелища, да еще под видом игры, никогда ему не нравились. И в молодости театры он посещал, амфитеатров сторонился.

Он встал у входа в собор, на верхней ступени лестницы, и прежде чем прозвучал сигнал к нападению, закричал что было сил: «Остановитесь хоть на миг!».

Половина лиц повернулась направо, половина налево — в зависимости от того, где располагались шеренги: все устремили взгляд на этого епископа. «При чем здесь священник?», — сказал кто-то. Представим себе, что на корриде в Толедо какой-то епископ-любитель животных, которому не нравится бой быков, вдруг появляется над туннелем для выхода быков на арену и мановением руки, выкриком останавливает мероприятие... Августин сделал нечто подобное. И обратился к болельщикам: «Кесария мавританская, друзья мои дорогие, — красивейший город империи... Вашими зданиями вы гордитесь, плодородием и прелестным видом ваших земель хвалитесь вы...».

Он сам рассказывает, что пустил в ход все свое красноречие, достигнув тех вершин, о которых мечтал в юности; чувствовал себя Цезарем, говорящим с легионерами, Цицероном, выступающим в Сенате. Каждое слово звучало торжественно, как и должно быть, когда оратору внимают площадь. В церкви, изъясняя Евангелие, он совсем по-другому беседовал со своими прихожанами...

«Но ныне я вижу, — продолжал Августин, — как портит этот ваш прекрасный город свирепость лиц ваших. Вы хотите поиграть и обращаетесь в зверей! Но что же вы хотите делать, друзья мои? Оставьте это варварам, которые уже подступают к границам империи. Вы-то ведь не варвары, вы — люди культурнейшие».

Ему заплодировали, и, чтобы ничто не мешало аплодировать, выпустили из рук камни. Он усилил натиск. Он словно вернулся на сорок лет назад, в Карфаген, вновь став тогдашним Август-

тином, князем форума. Старое, давно побежденное тщеславие, вдруг вышло у него из повиновения и брало реванш. А он и не заметил этого, а может быть, решил, что и тщеславие можно поставить на службу Богу. Не рукоплесканий хотел он, а слез. Ибо лучший оратор не тот, который срывает аплодисменты, а тот, который вызывает слезы.

Итак, он усилил натиск: «Вы играете в эту игру. Вообще в играх ничего плохого нет, я это знаю, в юности мне нравилось играть! Но вот что: вы уже играли, уже играли прежде! Видите, мать поднимает с земли сына, в крови с головы до пят. Вот она там, я ее вижу! Видите, юноша подбирает умирающего отца? Он сам и попал в него камнем, он просто был с другой стороны, потому что это игра, а игра есть игра, у нее свои правила, а у этой игры такие правила, что каждый встает где придется, и совсем не для того, чтобы помочь победить собственному отцу или помочь победить собственному сыну, или защитить его. Тут играют в катерву, а не в любовь! Вот поиграем, тогда любовь вернется. И тогда вновь откроются глаза наши, но что узрят они?! Раненых, мертвых! Наших мертвых, братья!».

Они плакали! Все, кафолики, донатисты, язычники протискивались к нему — поцеловать руки. С него ручьями лил пот... Он пришел в себя, вбежал в церковь, оплакать этот миг ораторского тщеславия. Толпа устремилась за ним; но он уже ушел — в молитву.

Тщеславие или любовь? Для самого Августина этот случай — пример действенности ораторского искусства: «Прошло уже восемь лет, а может быть, больше: с тех пор в катерву в Кесарии не играли ни разу» («О христианской науке» IV, 24).

Потом ему часто вспоминалась кесарийская «катерва». С той ему удалось справиться. Да и с другими; лишь с некоторыми — только отчасти. Его собственную, личную, давнюю, с самим собой, (ибо и когда человек один, в нем всегда двое), эту его «внутреннюю схватку», которая разразилась ровно тридцать два года назад в Милане, одолела Благодать Божья. Он пребывал в мире с самим собой, он пребывал в мире с Богом.

Но сколько других «катерв»! Братоубийственные войны в империи, в его родной Африке... Мятеж Гильдона, Ираклиана... Сколько крови!

А религиозные войны? Всегда политический мир использует их в своих целях: религия как орудие власти... Он думал о тех

из них, которые были у него перед глазами. Язычники против христиан. Донатисты против кафоликов. Настоящие войны с кровопролитием, с ранеными и погибшими... На чьей же стороне правда? Да, мир использует эти столкновения в своих целях, это стало законом, и по этому закону, где бы ни началось религиозное противостояние (особенно если в него вовлечены люди одной веры и если в нем присутствует элемент нищеты и несправедливости), всегда находится нечто, его провоцирующее... Не было бы никаких циркумцеллионов без спровоцировавшей их появление социальной несправедливости...

Все эти братоубийственные войны — те же «катервы»... Августин размышлял, размышлял... И когда одни события приходили на смену другим, и когда он молился в одиночестве, и когда писал в своей комнате... Он давно задался целью одолеть эти войны, и что-то сумел сделать, с помощью Божьей. Но примирения, перемирия, решения легче находили себе место на архивных пергаменах, чем в сердцах. Мир — дело трудное. А в будущем? Сколько еще неминуемых «катерв»! Что станет с Римом, с его Африкой, со всем миром? Природа дала ему гениальное историческое чутье! Понять историю... истолковать... и даже предвосхитить!

Какая же тяжелая работа у него на руках — «О граде Божием»! Но он сильно продвинулся... Несколько книг уже вышли в свет, разлетелись по миру... «Если бы мне пришлось начать все сначала!» И он хватался за голову... История! Сколько «катерв»!

Впрочем, работа над этим творением обострила его природное историческое чутье. В некотором смысле, раздумывал он, писатель-историк — тот, кто обретает мир со всей историей.

В «Граде Божием» есть Библия, история Рима, древняя философия, классическая литература, физика, химия, искусство... Космический экуменизм! В истинном смысле слова: Августин хотел объять все и всех. Это своего рода «Страшный Суд», где воздается каждому свое по молитве Божьей. Августин не обидел даже язычество: он прославил природные добродетели древних римлян, а в некоторых философах, поэтах, писателях видел «светских пророков»...

Он создавал, что пишет великое произведение, которое бросит вызов векам, будет полезно грядущим поколениям. Если прочитают... Он верил в прогресс!

И еще просил Бога, чтобы Он избавил его от искушения человеческим самодовольством.

26 сентября 426 г. в базилике Мира происходило торжественное событие: назначение священника Ираклия преемником Августина, будущим епископом Гиппонским. Рассказ об этом событии мы находим в Церковных Актах епархии. Составлен он в виде письма, которое теперь известно под номером ССХІІІ.

Днем раньше Августин объявил о решении обзавестись помощником и пригласил народ на соответствующую церемонию.

Людей пришло очень много, и это порадовало епископа. В зачине проповеди он сказал, что в этот день не имеет смысла затрагивать какие-то другие вопросы, кроме главного: у всех вызывало интерес или любопытство только одно — назначение преемника.

Вот-вот должна была начаться торжественная церемония — нечто вроде теперешней «номинации».

Произнес Августин лишь следующее: «Всем приходится умирать, и всякий возраст для этого хорош. И все же, в детстве мы надеемся на отрочество, в отрочестве — на юность, в юности — на возраст возмужания, в возрасте возмужания — на зрелость; за зрелостью приходит старость. Если за всеми другими возрастaми следует другой, за старостью нет иного срока, какой бы длинной она ни была». Потом возгласил: «Желаю иметь своим преемником священника Ираклия!». Читаем в Актах: «Народ прокричал двадцать три раза: «Благодарение Богу! Слава Христу!». Затем шестнадцать раз: «Христос, услышь нас! Да здравствует Августин!». И затем, еще восемь раз: «Тебя — Отцом, Тебя — Епископом!».

Писец передает потомкам: «Когда установилась тишина, вновь взял слово епископ Августин: «Нет нужды мне воздавать ему хвалы. Я восхищаюсь его мудростью и уважаю его смиренность. Скажу только: чего желаю я, того же желаете и вы... Как видите, писцы записывают и за нами, и за вами. Не пропадут ни мои слова, ни ваши возгласы». Тогда верные прокричали тридцать шесть раз: «Благодарение Богу! Слава Христу! Христос, услышь нас! Да здравствует Августин!». Последний возглас, без прочих, они повторили одиннадцать раз».

Епископ, духовенство, народ приняли участие в составлении канонических протоколов. «Когда вновь установилась тишина,

епископ Августин сказал: «Я желал бы, чтобы моя воля и ваша была подтверждена этими церковными протоколами. Что же касается сокрытой воли Всемогущего, помолимся все вместе, чтобы Господь дал постоянство тому, что совершил посреди нас». Верные провозгласили шестнадцать раз: «Благодарим тебя за решение твое. Да будет так!» Шестнадцать раз, а затем — шесть раз: «Тебя — отцом! Ираклия — епископом нашим!». Затем Августин объявил, что Ираклий, хотя отныне юридически имеет такое право, не будет тотчас рукоположен в епископы, поскольку это запрещено канонами: «Он станет епископом, когда Богу будет угодно!». Далее Августин сказал, что решение, принятое сообща с народом, позволит ему углубиться в изучение Священного Писания. Предыдущие договоренности подобного рода не соблюдались. Теперь никто не должен лишать его этого свободного времени. Он закончил такими словами: «Теперь совершим Дело Божие на алтаре жертвы. Умоляю любовь вашу забыть ныне обо всех своих заботах и вопросах. Молите Господа об этой Церкви, обо мне, о священнике Ираклии» (Письмо ССХІІ).

В третьем десятилетии века, как в год обильного урожая, он сумел завершить значительные, важные произведения, некоторые из которых начал много лет назад: это был труд для Церкви будущего.

Августин — автор, сочиняющий и медленно, и быстро. Дело здесь не в плодovitости, и не во вдохновении. Дело здесь в том, более или менее срочно необходима книга, которую он должен написать или пишет, для разрешения общественно значимой ситуации, для вопрошающего, для народа. Стало быть, иногда сочинение одного творения может быть прервано ради написания другого, неотложного.

В любом случае, самоотдача — полная, а сроки ему диктует сердце. Он действительно был бескорыстным работником в Божьем винограднике.

От начала до завершения некоторых произведений прошли десятилетия: «О Троице» Августин писал с 399 по 426 год, «О христианской науке» — с 397 по 427, «О граде Божием» — примерно с 412 по 427.

Эти его творения — словно породистые скаковые лошади, взявшие старт в разное время; возможно, они настигали и обгоняли друг друга, прежде чем всем придти к финишу. И компо-

зиция каждого из творений не становилась от этого менее гармоничной.

Как-то раз, в 426 году, Августин пригласил в Гиппон Алипия, Поссидия, Эводия и некоторых других учеников-епископов, чтобы вместе с ними и со своими монахами отпраздновать долгожданное окончание трактата «О Троице».

Это известное творение вызвало к жизни весьма знаменательную народную легенду — о мальчике на морском берегу, который пытается, зачерпывая раковиной воду из моря, перелить ее в ямку, вырытую в песке. Августин, разгадывая великую тайну, в задумчивости прогуливается по берегу, и в конце концов останавливается около мальчика и спрашивает его, зачем он занимается таким странным делом. Тот отвечает просто и уверенно: все море должно оказаться в этой ямке. Великий теолог, усмехнувшись, объясняет ему, что это невозможно. И получает от мальчугана упрек в самонадеянности: «А как же ты можешь уместить в своей маленькой голове необъятную тайну Господню?». На тирренском побережье, между Чивитавеккья и Орбетелло, есть полоска песка, которую называют «Берегом св. Августина».

Легенда, в свою очередь, вдохновила многих художников на замечательные произведения. Великолепна картина Рубенса из Пражской национальной галереи. А на одной из фресок Беноццо Гоццолли в Сан Джиминьяно под видом находчивого мальчика изображен сам Младенец Иисус.

Это великое богословское сочинение, трактующее исключительно вопросы веры (но такой веры, которая, в соответствии с представлениями св. Августина, не противоречит человеческому разуму), имеет весьма язвительный зачин: «Пусть знает читатель этого нашего сочинения о Троице, что перо наше намерено подстергать ложные утверждения тех, которые гнушаются исходить от веры и которых вводит в обман столь же детская, сколь и уводящая в сторону любовь к разуму» («О Троице» I, 1).

Любопытная деталь: первые двенадцать книг (всего их пятнадцать) были украдены у Августина и изданы подпольно — возможно, кому-то не терпелось их поскорей прочитать. Августин воспринял это как серьезную неприятность, и даже вышел из себя; это настолько досадило ему, что он хотел вообще отречься от своего творения, написать новое, заявить о краже в органы правопорядка... Но потом осознал, что похитить Бога

Единобожие в Святой Троице совсем не то, что украсть денежного божка; первая кража есть не более чем понятное и даже достойное похвалы присвоение. И оставил все, как есть. Неизвестные воры без сомнения были из числа друзей.

Еретиками, заблуждавшимися в своих воззрениях на Св. Троицу, были ариане, с некоторыми из которых Августин вступил в полемику ближе к концу жизни. Но «О Троице» — сочинение мистико-теологическое, а не полемическое.

Мы можем не сомневаться, что, по завершении этого труда, легендарный мальчик с морского берега не преминул бы поздравить своего собеседника. Августин совсем близко подошел к нестерпимо сияющей тайне, но она не ослепила его: «Господь и Бог мой, единое упование мое! Пред Тобою сила моя и немощь моя. Сохрани силу, исцели немощь. Пред Тобою знание мое и невежество мое: там, где Ты открыл мне, прими меня, когда вхожу; там, где Ты закрыл от меня, открой, когда стучу. Да помню я о Тебе, да понимаю Тебя, да люблю Тебя! Когда мы достигнем света лица Твоего, умолкнут эти слова многие: говорим их, ибо еще не пришли к Тебе. Ты же пребудешь, Один, *всем во всех!* И без конца будем говорить *одно слово*: Сущий! Едиными устами воспоем, сделавшись *едино в Тебе*, Господа, Единого Бога, Бога-Троицу!» («О Троице» XV, 28,51).

Он писал, писал... Пришла старость, ему перевалило за семьдесят...

Какой благодарностью наполнялось его сердце, когда он мог остаться один в своей комнате и сосредоточиться! В такие счастливые моменты он был словно спелеолог, исследующий сверкающую, удивительную пещеру. Его острый ум играл с Богом, как ребенок — со своей любимой игрушкой!

Из гавани до него доносились голоса моряков и рыбаков; вокруг царила атмосфера прибрежного городка... Кто-то стучался в дверь... «Не беспокойте епископа, он очень занят, пишет! И к тому же, ему нездоровится...», — говорил проходящим его келейник. Но от этого он не стал меньше ездить: в свои последние годы навещался в Карфаген, в Фуссалу, в Узалис, в Тубурнэ... «В Тубурнэ тебя ждет Бонифаций, будущий управитель африканских провинций!».

Он писал, писал...

Неистовый молодой епископ Юлиан из Апулии выпускал в него свои отравленные стрелы. «Эти восемьдесят породистых нумидийских кобылиц, которых твой Алипий предназначил для покупки имперских чиновников...» («Неоконченное творение против Юлиана» I, 38). Не отвечай — настаивали смирение и любовь. Тем более, этот юноша когда-то был ему так дорог... Но теперь он мог причинить много зла; надлежало отвечать.

И вот Августин вернул на полку последние пергаменты «О Троице» или «О граде Божием» и опять взялся за перо, чтобы терпеливо, заботливо, а местами и резко ответить на нападение Юлиана, отразив фразу за фразой... «Твоим родителям, кафоликам, стыдно за тебя...». Но Августин не хотел уничтожить оппонента и не собирался подражать исступленным игрокам в «катерву», хотя Юлиан бросался камнями...

«Неоконченное творение против Юлиана»! Закончить это полемическое сочинение Августину помешала смерть; но «неоконченным» оно осталось не только потому, что он не успел его завершить, но и потому, что удержался от того, чтобы сказать все, что мог бы.

Воздержимся и мы от более полного рассказа об этом при- скорбном эпистолярном столкновении с епископом-пелагианином. Наверно, в раю Юлиана приговорили попросить у Августина прощения.

«Ненавидеть заблуждение, всегда любить заблуждающегося». Заблудившихся в мире. Но не только: и тех, что в монастырях, и в Церкви Божией. Августин говорил: »Некоторые принимают безоглядно хвалить Церковь: «Великие люди, эти христиане, великие люди! И только они, христиане, только они! Они, все, сколько ни есть, друг друга любят, отдают свое имущество в общее пользование, молятся, постятся, поют гимны по всему лицу земли... Этим и живут!» Те, которым неизвестно, что и в Церкви добро и зло перемешано, знакомятся потом с недостойными ее членами и начинают уже ненавидеть всех христиан: «Каковы они, эти христиане? А я тебе скажу. Скупердяи, лихоимцы, пьяницы, обжоры... И друг друга ненавидят. Ты меня слушай, ведь я-то им сначала тоже верил...» (На Псалом LXXXIX, 12).

Впрочем Августин, оставив на волю Провидения драматичное настоящее, усердно строил фундамент нового мира, чтобы человечество не было опрокинуто «катервами» грядущих веков.

А что же испытал он в ту ночь 427 года, когда поставил последнюю точку в «Граде Божиим»? Наверно, положил перо на стол, потянулся, уронил усталые руки. Он был стар. Он был доволен. Сказал: «Вот это труд!».

Для него «Град Божий» был уже не тем преходящим градом, который лежит посреди земных «катерв». Перед ним вставал уже «Град Небесный»: «Там мы отдохнем и воззрим; воззрим и возлюбим; возлюбим и восхвалим. Вот что будет в конце, без конца» («О граде Божиим» XXII, 5).

«ДАЙ МНЕ, ГОСПОДЬ, ОТДЫХ МИРНЫЙ...»

Бонифацию довелось завершить римскую эпоху в истории Африки. Он был хорошим человеком и хорошим солдатом. Сначала он верно служил равеннскому двору, но затем взбунтовался против него из-за каких-то расхождений с императрицей Галлой Плацидией. Когда на него напали имперские войска (придворные интриганы заподозрили его в измене), он призвал на помощь вандалов. Но когда те, придя из Испании, повели себя не как союзники, а как захватчики и хозяева, Бонифаций растерялся, пожалел о своей просьбе (в частности — прислушавшись к советам Августина), и попытался — без успеха — прогнать вандалов обратно (тем временем он успел помириться с Галлой Плацидией). Поздно! Он наблюдал за агонией римской Африки из Гиппона, откуда, под защитой сильного воинского гарнизона, руководил боевыми действиями. Он избрал этот город в качестве штаб-квартиры не столько по каким-то стратегическим соображениям, сколько для того, чтобы пережить рядом со старым и великим епископом исторический момент, трагический для него, Бонифация, и еще более трагический для империи. Вандалы расположились, как хозяева, в прекрасных африканских провинциях, которые впоследствии не раз переходили из рук в руки, опустошались, пока все это не кончилось исламским вторжением.

В тридцатые годы V века умерла цветущая Африканская Церковь, которая даровала столько свидетельств и такую крепость учения всему христианскому миру, что перед этим меркнут ее внутренние нестроения.

Столь исключительной личности, как Августин, наверно, подобало встретить свой смертный час только в столь апокалиптических обстоятельствах. Как нам кажется, судьба для того и поместила его в переломную историческую эпоху, чтобы он засвидетельствовал, что человек выживет; старый епископ, наследник уходящего мира, оставляет завещание миру нарождающемуся — во имя вечной культуры и конечно, во имя христианской идеи.

После этого краткого исторического обзора обратимся вновь к хронике.

Бонифаций появился в Африке в 417 году, в качестве простого трибуна. О его приезде мы узнаем от Августина, нашего неизменно надежного источника, позволяющего нам — даже по самым беглым упоминаниям — восстанавливать исторические события (ср. Письма CLXXXV и CLXXXIX).

Ему было поручено надзирать за африканскими провинциями и держать под наблюдением варваров. С этой задачей он справился великолепно, «побеждая» и «заставив себя уважать» (ср. Письмо CCXX).

Нам известно, что в 422 г. он находился в Испании, где помогал наместнику Кастину воевать с вандалами. Но, не вынеся никчемности и спеси своего соратника, Бонифаций покинул его и перебрался обратно в Италию. Кастин потерпел поражение, и иберийский полуостров оказался окончательно потерянным для империи. Таким образом, пал аванпост обороны африканского побережья. Африка и Испания оборонялись вместе.

Император Гонорий умер 15 августа 423 года в возрасте тридцати девяти лет. Разойдясь во взглядах с сестрой Галлой Плацидией, он отправил ее в ссылку, и в этих обстоятельствах Бонифаций сохранил Галле верность и предоставил ей всяческую помощь и защиту.

Как бы там ни было, в 424 г. Бонифаций несомненно пребывал в Африке, на сей раз — уже не как чиновник по особым поручениям, а как глава правительства этих заморских провинций. Поскольку с 424 по 427 г. в африканской истории не отмечено никаких значительных событий, это наводит на мысль, что Бонифаций был сильным и мудрым правителем, сумевшим обеспечить период спокойствия.

Зима 427-428 годов выдалась суровой даже в Африке. Августину шел семьдесят пятый год. По тем временам — весьма почтенный возраст.

Когда епископ Нобилий пригласил его освятить свой новый собор, Августин ответил отказом, написав совсем короткое письмо, сердечное, но почти официальное, и нам кажется, что его содержание красноречиво свидетельствует о физическом состоянии отправителя: «Воля убедила бы мое слабое тело приехать, когда бы не удерживало меня нездоровье. Я мог бы приехать,

если бы не зима, я мог бы пренебречь зимой, когда бы был молодым. Зимнюю дорогу мне не перенести — в этом студенном возрасте, который я на себе ношу...» (Письмо CCLXIX).

Но был ли это только возраст? И был ли это только холод? (Несмотря на свое хрупкое телосложение, Августин обладал хорошей выносливостью и подошел к концу жизни, не переболев тяжелыми недугами: «Не был поврежден ни один член тела его, зрение и слух оставались чистыми», — так описывает Поссидий Августина в старости, которую называет «бодрой» («Жизнь...» XXXI, 4). Не было ли это предчувствием неминуемого ухода из мира, приближение которого он ощущал, благодаря своей «ревности», да и «мужеству», а также «ясности и силе разума»?

Рассказ о смерти Августина Поссидий предваряет длинной главой о советах, полученных от епископа Гиппонского епископом Тиабы Гоноратом. Гонорат спрашивал, может ли, под угрозой варварского нашествия, епископ, священник или любой человек Церкви бежать для спасения жизни. Паника перед лицом надвигающегося или уже начавшегося бедствия охватила многих людей, не миновав и клириков.

Ответ Августина Гонорату четок, мудр и предусматривает разное развитие событий. «Священническое служение столь необходимо, что, если в каком-то месте остается хотя бы малая часть народа Божия, она не должна лишаться доброго пастыря. И тогда мы можем лишь сказать Господу: Ты Сам будь Богом нашим, Защитником нашим, Спасением нашим!» (Письмо CCXXVII, 1).

Далее в этом письме, датированном 429 годом, Августин сосредоточивается на подробностях. В пору испытаний слово его всегда одно и то же: Бог это единственное спасение! Страдание, не само по себе, а ради идеала, который дает для него силы, становится свидетельством любви к Богу, мученичеством, не остающимся без награды у Бога.

Говоря о фанатиках, из протеста накладывающих на себя руки, он подчеркивал: «Истинным мучеником делает не страдание, которое человек переносит, или которое сам себе причиняет, а *вдохновляющая основа*, которая побуждает его вынести страдание».

Небо Африки темнеет и наконец разражается буря. Интриги при равеннском Дворе: главные действующие лица — императрица Галла Плацидия, мать Валентиниана III и ее полководец Эций, соперник Бонифация. Бонифаций далек, но доблестен. К

тому же, в трудную минуту он оказал поддержку Галле Плацидии. Значит, нужно разорвать эту связь между ними, основанную на монаршей признательности. Эций решает каким-то образом вызвать Бонифация в Рим, полагая, что тот, конечно, не придет и таким образом превратится в мятежника, пытающегося превратить Африку в свое независимое царство. И вот, Эций сам направляет Бонифацию тайное письмо, в котором «по-дружески» советует ему не ехать в Рим: там-де его собираются отстранить от должности. Такова канва детектива.

Бонифаций заглатывает наживку: не подчиняется и отказывается приехать.

«Значит это правда! Эций прав!». Без промедления войско выступает в поход против Бонифация.

Африканский правитель зовет на помощь вандалов: разделим между собой римские провинции; от империи остался один остов! Вандалы только этого и ждали.

Разрывом между властями Африки и властями империи воспользовались вечно неспокойные туземные племена юга, кочующие между пустыней и отдаленными границами римских территорий. С новой силой возгорается пожар насилия и беспорядка в сельских районах.

В дело вмешивается Августин. Для него ошибка, даже политическая, всегда связана с чем-то еще. Он врач, ставящий глубокий диагноз. Корень зла не всегда следует искать там, где зло проявляется. Несмотря на дружеское чувство к Бонифацию, Августин увещевает его достаточно резко: овдовев (и не вняв совету пребывать в этом состоянии), он женился вторично — на арианке; когда от этого брака родилась дочь, ее крестил священник-арианин. И теперь, в то время как африканские варвары предаются безудержному разбою и не видно никого, кто мог бы навести порядок, отдать нужные распоряжения, он, Бонифаций, который столь доблестно сражался с преступниками, сидит, как трус, сложа руки... Что, его обидели имперские власти? Пусть все забудет и примется за восстановление порядка!... (ср. Письмо ССХХ).

Должно быть, трудно было такому мудрому человеку, как Августин, объяснить себе глупое поведение политических деятелей: в тот момент — Бонифация, Эция, Галлы Плацидии; понять эту непреходящую глупость людей, которые претендуют на

то, чтобы управлять миром, а потом загоняют его в огонь и железо из-за своего столь же неутолимого, сколь и неразумного честолюбия, устраивая бесполезные бои.

При посредничестве Дария, магистрата, специально прибывшего в Африку из Галлии, произошло примирение между Империей и Бонифацием. С Дарием Августин обменялся сердечными письмами и поблагодарил его за присланные лекарства и книги для библиотеки (ср. Письмо ССXXX, 6; и Письмо ССXXXI, 7).

К сожалению, из-за зимних холодов Августин не сумел встретиться в Карфагене с этим человеком, «истинным христианином по мере милосердия своего», однако пожелал послать ему подарок — красиво переписанный и тонко переплетенный, небольшого формата экземпляр «Исповеди», с таким посвящением: «Прими же, Дарий, сын мой, славный мой господин, христианин не по внешности, но по любви творимой,— прими книгу исповеди моей, которую хотел ты иметь...» (Письмо ССXXXI, 6). Если бы можно было хотя бы одним глазком взглянуть на этот экземпляр, роскошное издание!...

Таково было влияние этого епископа, который, не забывая о своем долге священнослужителя, умел благотворно воздействовать и на дела, находящиеся в компетенции гражданских властей.

Мы не можем с точностью восстановить хронологию событий; нам неизвестно, вступили ли вандалы Гейзериха на африканскую землю, пока Августин и Дарий мирили Бонифация с Равенной. В любом случае, все говорило о том, что окончательное крушение неминуемо.

Вне всякого сомнения, в мае 427 года вандалы вскачь неслись по этим пескам, чтобы присвоить все, что здесь создал Рим и истребить. Это напоминало нашествие саранчи. Посыпались измены со стороны представителей империи. Во главе войск, посланных против Бонифация, стояли три командующих — Маворций, Галлион и Санеций. Первые двое погибли из-за предательства Санеция, который, впрочем, вскоре был разоблачен Бонифацием и тоже убит.

После посредничества Дария прошли переговоры между Бонифацием и Сигисвультom, возглавившим вторую военную экспедицию из Италии. Но вандалы надвигались неотвратимо, как

девятый вал, который сдерживали только их короткие останки в пути — для грабежа и бесчинств. Зверствовали они неслышанно: оскверняли и грабили церкви, монастыри, кладбища; охотились на епископов, священников, высокопоставленных чиновников; садистски измывались над стариками, женщинами, детьми; жгли, уродовали, разрушали прекрасные здания. От римской цивилизации не должно было остаться и следа.

Когда орды переходили из одной области в другую, к безмолвию Сахары присоединялось безмолвие человеческой опустошенности и горя.

Бонифаций, потерпевший поражение в открытом бою, заперся в Гиппоне, который был осажден в июне 430 г.

Гиппон не сдавался. Дом Августина, его монастырь-епископия, стал подобен сердцу — дрожащему, но бьющемуся молитвой и любовью.

Поссидий находился там, рядом со святым Старцем. И нам следует расценить, как знак свыше, что благодаря этому Поссидий смог собрать свидетельства о последних днях Августина. И вот, кроме духовных и земных дел этого человека, кроме слов сказанных или написанных, которые дошли до нас через шестнадцать веков, как чудом сохранившееся наследство, пришел к нам и рассказ, простой и живой, об ужасной моральной и физической агонии, обрушившейся на него. А мы сейчас вновь переживем эти дни вместе с Поссидием («Жизнь...» XXVIII, XXIX, XXXI).

«Случилось, что сильное войско, при оружии всякого рода и закаленное в войнах, состоящее из вандалов и аланов, перемещенных с племенем готским и с людьми самых разных народов, из заморских областей Испании вторглось стремительно в Африку.» Далее Поссидий описывает зверства захватчиков, о которых мы уже вкратце поведали. И продолжает: «Пред этим зрелищем дикого разорения, человек Божий мыслил не так, как другие. Рассматривая события в их самом глубоком значении, он предвидел опасности и гибель душ. Слезы были хлебом его день и ночь. В печали и трауре влачил он старость свою, достигнув уже края жизни. Видел он разрушение городов и истребление жителей; дома по деревням, лежащие в развалинах и бедных людей, убитых или обращенных в бегство и изгнанных из родных мест; церкви, лишённые священников; загубленных дев

святых; тех погибших под пытками, этих мечом усеченных, других взятых в плен. Потеряна была чистота души и тела и сама вера! Многих ожидало горестное рабство. Замокли в церквях гимны и славословия. Прекратились жертвы, заброшены были таинства. Некоторым, укрывшимся в лесах или горных пещерах или подземельях, лишенным всякого пропитания, не было никакой возможности помочь».

«Из бесчисленных церквей только три остались невредимыми: карфагенская, циртская и гиппонская, поскольку эти города не сдавались, хранимые Богом и людьми...» (там же).

Августин призывал относиться к ужасному испытанию как к части Божьего Промысла и напоминал слова мудреца: «Не будет назван великим почитающий величайшим несчастьем, что падают деревья и камни и люди умирают».

Вспоминая осады миланских церквей во времена Амвросия, и его бестрепетную веру, с какой он защищал своих прихожан пением, Августин подражал ему, и в гиппонской Церкви народ тоже славил Бога песнопениями. Песнь разносилась далеко над равниной, и варвары шикали друг на друга: «Тихо, они там опять запели...» и останавливаясь, слушали.

Трагедия людей, опрокинутых войной и осажденных в те времена была не меньше, чем трагедия народов, воюющих ныне, для которых нищета стала уже обычным состоянием, отягощенным жестокостью сражений и притеснений.

Августин имел все основания бояться за человеческие души. Когда свирепствует зло, можно потерять веру.

Его труды в осажденном Гиппоне (впрочем, он всегда трудился для всего человечества) были направлены главным образом на то, чтобы утешить и успокоить жителей города. Но не чисто человеческими — паллиативными — средствами. Он предлагал нечто основополагающее для жизни каждого: Бога как награду, Его красоту, Его радость, Град Небесный. И умел рассказывать об этой «родине», опираясь на собственные дерзкие мистические прорывы в мир любви и красоты и для аналогии не отрываясь от чувственного опыта: «Что же любя Тебя, люблю я? Не телесную красоту, не временную прелесть, не сияние вот этого света, столь милого для глаз, не сладкие мелодии всяких песен, не благоухание цветов..., не члены, приятные земным объятиям,— не это люблю я, любя Бога моего. И однако, я люблю некий свет и некий голос,

некий аромат и некую пищу и некие объятия — когда люблю Бога моего; это свет, голос, аромат, пища, объятия внутреннего моего человека...» («Исповедь» X, 6, 8). Об этих вещах он писал, о них же проповедовал; но главное — он все это ощущал.

Апостол Павел, будучи восхищен на небеса, слышал нечто такое, что невозможно повторить; сам Августин, в Остии, пребывая в восторге, уловил в вечном блаженстве нечто невыразимое: это вынуждало его, в поисках доступного языка, прибегать к чувственному опыту.

Страдающим он говорил о Боге любви и красоты как о реальности, к которой каждый может прикоснуться уже здесь, на земле.

После одной из этих проповедей кто-то из прихожан воскликнул: «Ты сильнее Гейзериха!».

Но когда у Августина появлялась возможность остаться одному и в одиночестве предаться размышлениям, он оплакивал горячими слезами огромное несчастье.

Однажды в те дни, сидя за столом в крайне подавленном состоянии, он выговорил затаенное: «Боже, да будет угодно Тебе избавить город от окруживших его врагов, или дай рабам Твоим силу исполнить волю Твою, или заведи меня из мира сего и возьми к Себе!» («Жизнь...», *там же*).

Люди понимали его, зная, что нет никого, кто бы страдал больше, чем он, и хотели как-то помочь ему в этом страшном диалоге с Богом. Все старались быть поближе к нему, не только потому, что находились в паническом настроении, но и потому, что в любви отца надеялись найти спасительный выход. «Ты наш епископ, ты наш отец...» — кричали ему.

Чем острее скорбь, тем крепче вера, помогающая приподнять черное покрывало, которым Господь укрыл Свой лик. Они смотрели на него и видели человека с грустной улыбкой, согнувшегося под грузом лет. Они видели, что человек Божий с ними. «Всюду, где есть толика народа Божьего, должен быть и священник». Все словно оказались в тюрьме. Царственный Гиппон, второй город Африки, стал вдруг маленьким, с деревенскую церквушку, выстроенную прямо на воде в море, во время бури. И море будто подступало все ближе... и уже проглатывало ее...

Рыбаки больше не выходили к своим лодкам... И пришвартованные лодки уже не толкались бортами так, словно тянулись

друг к другу для поцелуя (этот образ епископ часто использовал в своих проповедях)...

«Августин, Августин...»: это было любимое имя, которое матери повторяли детям, а взрослые дарили друзьям как залог стойкости. Они были, как израильтяне, которые, сражаясь, смотрели на Моисея, подъявшего руки.

В этом светопреставлении они смогли разглядеть нечто великое, нечто даже прекрасное — этого Человека. В жестокую бурю стояли мы вокруг него, а он — посреди нас...

Однажды, на третий месяц осады, Августин не вышел из своей комнаты. И тогда в базилике Мира и ее окрестностях началось действие библейского толка, напоминающее повествования о смерти патриархов.

Августин слег в лихорадке, и это была последняя его болезнь. Новость передавалась из уст в уста и вызывала ужас. Могло показаться, что вандалы ушли, и наступило настоящее горе... «Если Августин умрет, если Августин оставит нас... В такое время!...» Гиппонцы больше не видели его на епископской скамье в соборе, где он сиживал молча, погружившись в свой печальный разговор с Богом, а они прерывали свою молитву и в глубоком безмолвии созерцали эту молитвенную беседу. Он больше не выходил к народу... Словно вообще забыл о них. Но они понимали...

На амвоне появился заплаканный Поссидий. Но Поссидий не был Августином.

Он проговорил: «Августин велел мне никого не впускать в свою комнату... Он хочет помолиться... хочет помолиться... И еще сказал — что любит вас».

В другой день Поссидий сообщал: «Сегодня он позвал библиотекаря и велел ему спрятать в безопасное место древние рукописи и позаботиться о книгах, написанных им самим. В моих писаниях, говорит он, есть все вы; их написали и вы вместе со мною. Эти слова он говорил вам много лет, а вы им внимали. И еще он сказал: «для потомков»...».

Новая запись Поссидия: «Отцу нашему хуже. Он вызвал пресвитера-попечителя о бедных. Никакого завещания, все — Церкви, все — бедным...».

Поссидия просили: «поцелуй ему за меня руки», «скажи, чтобы он помолился о грехах моих», «скажи, что мы его будем любить всегда». И слезы, слезы... Поссидий отвечал: «Он любит вас!» И

добавлял: «Он отдает Богу свою жизнь за вас, за Церковь, которая состоит из вас, которую он всегда любил, но хочет, чтобы Церковь об этом знала. Августин объят жадой любви, света... И покаяния. По его просьбе монах-переписчик переписал для него покаянные псалмы на больших пергаментях; теперь они висят на стенах, и он со своего ложа на них смотрит. У него огромные сияющие глаза. С молитвой он размышляет над этими листами... Молит Бога о милости. И время от времени повторяет такие слова: «Ты — милость, я — нищета...». Просит прощения у Бога, за всех..., за Церковь святых и грешников, за мир... И молится о манихеях, донатистах, пелагианах, арианах. И о тех, кто сеет страх и смерть...».

Было 28 августа 430 года.

Маленькое тело, истонченное годами, трудами, святыми стремлениями, с трудом удерживало осиянную ярким светом душу, осознающую уже не столько себя, сколько некое невыразимое Присутствие, исполненное любви.

Он чувствовал испепеляющую потребность в любви и защите. Ощутил, как невидимая рука погладила его по голове, напомнив что-то давно знакомое, уже испытанное... Легонько повел головой.

Неуловимый трепет губ выдал внутреннюю одышку: «Поздно полюбил я Тебя, Красота, такая древняя и такая юная, поздно полюбил я Тебя...

«Ты позвал, крикнул и прорвал глухоту мою...

Ты сверкнул, засиял и прогнал слепоту мою...

Ты разлил благоухание свое, я вдохнул и задыхаюсь без Тебя...

Я отведал Тебя и Тебя алчу и жажду...

Ты коснулся меня, и я загорелся о мире Твоем...»

(«Исповедь» X, 27, 38).

В тот день не было слышно человеческих голосов в окрестностях Гиппона. Только стрекот насекомых прорезал скорбную тишину.

И вандалы, обступившие город со всех сторон, в тот день уподобились немногословным монахам. Ни один стальной меч не звенел, встретившись с чужой сталью.

Небо было ясным, а море — тишайшим. От него поднимался запах соли; слышалось мягкое шуршание волн о скалы, те, что

рядом с молом. Две лодки, но только две, брошенные, легонько сталкивались бортами.

Словно тянулись друг к другу для поцелуя...

«Берегите библиотеку с моими записанными речами: в них вы найдете меня живого».

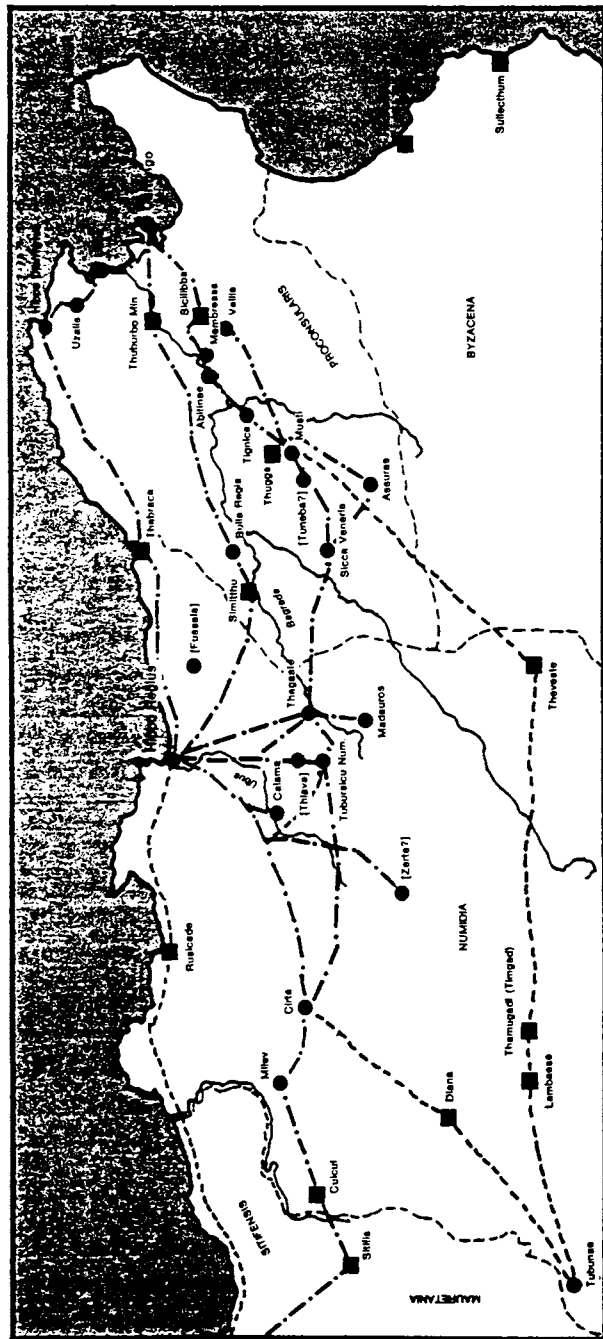
Свернутые в трубку пергаменты — как негромкие трубы органа. Кодексы — как арфы, страницы — как вибрирующие струны: все во имя гармонии всякого знания, Разума и Веры.

Он оставил человеку столь нужное нам всем послание: «Crede ut intellegas, intellige ut credas» — «Верь, чтобы понимать; понимай, чтобы верить» (Проповедь XLIII, 9).

Вандалы продержали Гиппон в осаде четырнадцать месяцев, перекрыв выход к морю.

Умирала эпоха. Рождалась новая.

Это великое сердце наконец упокоилось в Господе!



ПОЕЗДКИ АВГУСТИНА ПО
НУМИДИИ И ПО
ПРОКОНСУЛЬСКОЙ АФРИКЕ

- Установленные места пребывания Августина
[] Неопознанные места
— Вероятные маршруты
- - - Возможные маршруты
- - - Границы церковных провинций

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Предисловие</i> кард. Карло Мария Мартини	5
Ночь в Гиппоне	9
Беспокойный ум	16
Через море	29
Рим: паломничество к истине	40
Разочарование в манихействе	45
Кризис призвания	52
Милан, его Дамаск	62
Аллегория бури	71
Свет Плотина	77
Рассказ Симплициана	85
Встреча с Амвросием	94
Глас ребенка	98
Путь веры	112
Сельская идиллия в Кассициаке	117
В Баптистерии Св. Иоанна <i>ad Fontes</i>	127
«Когда узрю лик Твой?»	133
Могила Моники	138
Возвращение в Африканскую землю	142
Монашеское братство в Тагасте	152
От монаха к священнику	162
Путешествие в неизведанное: апостолат	169
Епископ Гиппона	176
Труды пастырские	187
«Целокупный Христос»	196
Африканская Церковь	207
Сила мира	216
Горечь насилия	224
«Рим распятый»	231
В термах Гаргиллия	238
«Я останусь с вами»	246

«О граде Божием»	256
Аскетический идеал	264
Ответ Иннокентия	269
Стенка на стенку	279
«Дай мне, Господь, отдых мирный»	290

Община «Дочери Св. Павла» распространяет Евангелие Христово, следуя миссионерскому завету Апостола. Она издает духовные книги и журналы, выпускает учебные фильмы для катехизации и христианского просвещения. Желающие получить более полную информацию о духе общины «Дочери Св. Павла» и ее миссионерской деятельности могут обратиться по адресу:

Россия, 103062, МОСКВА,
ул. Жуковского, 2, кв. 2,
Тел. и факс: 095/ 924.66.29

Апостольская реальность
Дочерей Апостола Павла
во всем мире обозначается знаком,
символизирующим
как их идентичность
так и особенности их призвания.

Этот знак выражает:

- **Вселенность.**

Мир как «общая деревня»
– это нива где сёстры
проповедуют Христа через средства
массовой информации.
Евангельская весть
распространяется среди
всех народов, всех культур,
религий и родов,
и её границы – это границы мира.

- **Апостол Павел,**
вдохновитель, духовник
и наставник всех Дочерей Ап. Павла.
Следуя за Ним, Дочери Св. Павла
посвящают свою жизнь к
служению Слову Божию, чтобы
передать современным людям
спасительный Благовест
божественной любви.



ДОЧЕРИ СВ. ПАВЛА